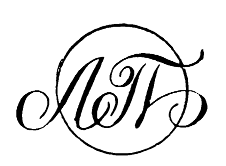
Ф. М. Решетников

•

СТАВЛЕННИК



Ф. М. Решетников

Ф. М. Решетников

•

СТАВЛЕННИК

Пермское
книжное издательство
1991

ББК 84 Р7—4
Р 47

Оформление
Е. И. НЕСТЕРОВА

Р $\frac{4702010101-55}{М152(03)-91}$ Без объявл.

ISBN 5-7625-0097-7

ТРЕЗВАЯ ПРАВДА

Федор Михайлович Решетников стремительно вошел в русскую литературу, получил признание и занял в ней свое место. Он приехал в столицу с берегов Камы, из Перми, в 1863 году и был тепло принят Н. Некрасовым, его журналом «Современник». Свои страницы ему охотно предоставляли известные демократические журналы «Русское слово», «Искра», а позднее «Дело» и «Отечественные записки».

В статье М. Салтыкова-Щедрина «Напрасные опасения» (1868) имя Решетникова было названо первым среди тех, кто, по основательному мнению писателя, открывал новый этап в художественном познании России, правдиво воспроизведя бытие народа, обнаруживал «трагическую истину русской жизни».

И. Тургенев, признанный всей читающей Россией одним из самых крупных художников эпохи, заметил: после Решетникова «правда дальше идти не может». Он же в воспоминаниях о В. Г. Белинском (1869) писал, что великий литературный критик, доживи он до этого времени, порадовался бы «поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова-Щедрина, трезвой правде Решетникова». Было это не после дебюта, а вслед за публикацией многих произведений, вполне определивших лицо писателя, имевшее столь «необщее выражение».

Знаменитый мастер слова, знаток русской души Н. Лесков тоже ставил Ф. Решетникова рядом с Л. Толстым, Ф. Достоевским, И. Гончаровым, находя порой его преимущества перед эти-

ми корифеями. Пусть и было сказано это в полемическом азарте и запальчивости, но важно, что в творчестве уральского литератора обнаруживал Лесков важные открытия, не ставшие достоянием других.

Известны скорбные и веские слова Г. Успенского, прозвучавшие в его некрологе Решетникову, скончавшемуся в 1871 году: «Вечная память ему и вечное спасибо за глубокую правду о простом русском человеке».

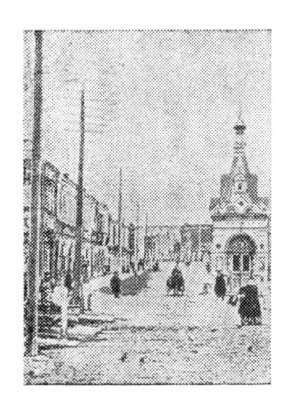
В статье «Санкт-Петербургских ведомостей» по поводу смерти Ф. М. Решетникова говорилось: «...Покойный писатель должен быть признан самым выдающимся представителем той «молодой» литературы, которая получила развитие в последнее десятилетие и в которой таятся зародыши будущих, быть может, весьма значительных трудов». В конце, сравнивая Решетникова и писателей прежней формации, развивших свое дарование в иных условиях, автор утверждает, что он «в лучших своих произведениях, или по крайней мере в лучших страницах этих произведений, является не только равным упомянутым художникам, но порой выше их, если не по художественному творчеству, то по силе и глубине постановки важных сторон народного существования».

Как видно, он был признан не только лагерем «Современника» или «Русского слова», представляющих радикальное крыло общественного движения, но людьми разных философских, политических и литературных ориентаций.

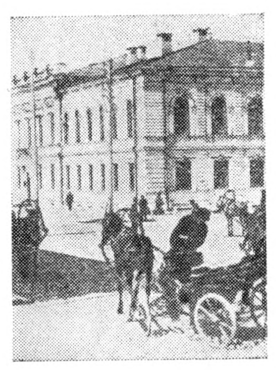
Новые попытки осмыслить его место в истории русской литературы возникли — и не случайно — на рубеже веков. В 1901 году тридцатилетие со дня смерти Ф. Решетникова было отмечено в столице и провинции многими органами печати.

Но постепенно оказалось, что читатели, даже уважительно относясь к имени этого писателя, перестали воспринимать его как открывателя каких-то правд и истин, которые были бы нужны всем и каждому.

В наши дни настойчиво напоминает о долге



Пермь. Черный рынок



Пермь. Казенная палата и казначейство

по отношению к Решетникову известный писатель С. Залыгин. Творчество Решетникова показало, пишет он, что «Россия оказалась свободной мыслить и бесстрашно посмотреть в свои собственные трагедии». Он называет писателя одним из зачинателей народной и «страдальческой» литературы.

Но почему же все-таки имя Федора Михайловича Решетникова остается для нас, как говорят, «не на слуху»? Не привыкли ли мы удовлетворяться слишком общим знанием нашего прошлого? Не потеряли ли способность видеть различие путей, которыми шли люди, понимать многообразие задач, которые они решали, ощущать многозначность трепетных исканий, как жить дальше? Откуда у нас недоверие к высоким оценкам творчества писателя корифеями русской литературы? Мы как будто готовы отмахнуться от них. А может, полезнее задуматься?

Духовное возвышение, проявляющееся сегодня во многом, вызывает в нас крепнущее чувство

причастности к истории. Прежде всего причастности к поискам ответов на решающие вопросы бытия. Опыт прошлого всегда не только история, но и современность наша. Этот опыт — наш опыт. Духовные открытия другого времени живут и продолжают жить. Отнесемся же внимательно к творчеству Ф. Решетникова, которое выстрадано всей его короткой жизнью, к его открытиям, его опыту.

Он родился 5 (17) сентября 1841 года в Екатеринбурге. В далеких корнях род Решетникова вел начало от мастера плющильного цеха Екатеринбургского завода, выходца из крестьян Тимофея Решетникова. Сын его, Иван, получивший образование в тогдашней школе, поднялся как чиновник до должности уездного казначея в Перми, но рано умер, и сын его Василий уже с четырнадцати лет стал писцом в суде, а затем вступил в почтовое ведомство, что освобождало от податей и военной обязанности. С 1816 года он с семьей обосновался в Нижнем Тагиле, в центре Демидовских заводов. Здесь и родился Михаил — отец писателя. Из-за ранней смерти матери и беспутной жизни отца, почтальона уездной конторы, воспитывался будущий писатель дядей, Василием Васильевичем Решетниковым, тоже служившим по почтовому ведомству.

Детские и отроческие годы Федора Решетникова прошли в Перми, где он учился в приходской школе и затем в уездном училище. В семье по-своему заботились о ребенке и даже любили его, что прежде всего выражалось в желании воспитать покорного человека, послушного не только родителям, но всякому старшему. Ему напоминали о его полусиротстве, тоже с благой целью, чтобы привык ценить «благодетелей». Только это в дальнейшем сулило бы успех по службе. Воспитатели пеклись и об образовании, но только в той мере, в какой оно дает право на чин, должность, лучшие доходы. Такова была педагогическая азбука.

Но характер будущего писателя складывался

Пермь. Духовная семинария

своеобразно. Чем круче были испытания, тем сильнее возникало желание идти другими дорогами. Большую школу прошел он вне семьи, встречаясь на берегу Камы с крестьянами, пришедшими на заработки. На почте он выполнял их просьбы составить и написать письмо на родину. В беседах с ними открывались новые грани жизни, шли поиски словесных форм. Острая впечатлительность, унаследованная от матери, цепкая художественная память, удивлявшая его дядю, упрямое нежелание подчиниться чужой воле и обстоятельствам — все формировало сложную творческую личность.

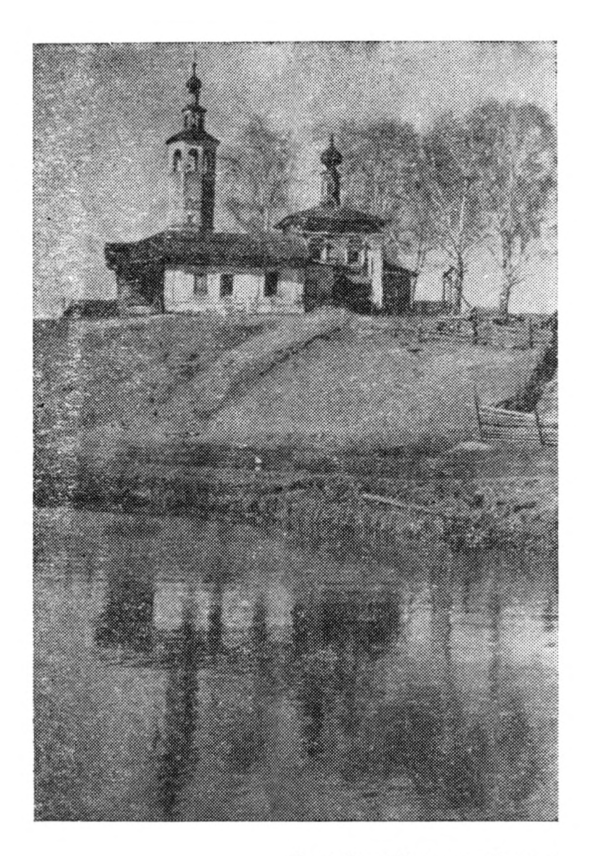
После окончания училища Ф. Решетников служил в Екатеринбургском уездном суде. Отсюда он послал одну из своих статей в губернскую газету, а затем в знаменитый «Пермский сборник». Но этот писательский опыт не был признан.

Ему удалось перейти в Пермскую губернскую

казенную палату. В Перми он рассчитывал быть ближе к людям, сведущим в литературе. В 1862 году Решетников решился предложить журналу Ф. М. Достоевского «Эпоха» драму «Раскольник» и повесть «Скрипач», но получил отказ. Ему довелось напечатать только две статьи в «Пермских губернских ведомостях»: «Библиотека для чтения чиновников Пермской казенной палаты» и «Святки в Перми». Последняя была очень интересна по проникновению в характер быта и воззрения городских низов.

Однако он ставил перед собой значительные задачи. Ему надо было войти в большую литературу не ради успеха, возвышения, самоутверждения. Решетников хотел литературной деятельностью «хоть сколько-нибудь помочь бедным труженикам». Он решил перебраться в столицу. При помощи крупного чиновника Брилевича, ревизовавшего казенную палату в Перми, ему удалось перейти на работу канцеляристом в департамент внешней торговли Министерства финансов. Это было в начале августа 1863 года. Очерки Ф. Решетникова стали появляться в газете «Северная пчела». Однако он стремился к «Современнику», который сосредоточил вокруг себя цвет русской литературы.

Этнографические очерки «Подлиповцы», по существу большая повесть, были напечатаны Н. Некрасовым в марте — мае 1864 года. С «Подлиповцами» к их автору пришла известность. В нашем сознании имя Решетникова и «Подлиповцы» нераздельны. Это действительно наиболее известное произведение писателя, в нем обозначились едва ли не все основные грани его таланта. В простом рассказе о трагической жизни выходящих в широкий мир обитателей деревни на прикамском Севере было дано заостренное выражение процесса, который спустя десятилетия сделается массовым. Двинутся по России сотни тысяч людей, которым нет места в деревне, голодной и замордованной. Будут эти люди пополнять артели бурлаков, строите-



Село Верх-Боровая. Воздвиженская церковь (1678 г.)

лей дорог и больших городов, рабочих боен и кожевенных предприятий, ткачей и шахтеров. Вот этот-то момент перехода крестьян из одного социального состояния в другое и был запечатлен в «Подлиповцах». Образы Пилы и Сысойки, их трагическая судьба знаменовали не только нерешенность основных вопросов крестьянской жизни России, но и возникновение новой проблемы — проблемы пролетариата. Дети бежавших от голодной смерти крестьян, во временной бурлацкой работе ищущих спасение, как сыновья Пилы, становятся кадровыми рабочими. В «Подлиповцах» была сконцентрирована громадной значимости художественная мысль об общем процессе развития народной России.

На отдельное издание «Подлиповцев» откликнулся рецензией М. Е. Салтыков-Щедрин. Он писал: «Решетников так понял суть существования мужика, так сумел проникнуться его вечным непрестанным горем-гореваньем, так понял его несчастия и несложные радости, что лица, выводимые им, встают перед читателем как живые. Вся тайна значения Решетникова в этом понимании, обусловливаемом глубоким сочувствием и любовью к народу и его представителям, кто бы они ни были...»

«Шинель» Н. В. Гоголя и «Бедные люди» Ф. М. Достоевского — своеобразные вершины напряженной гуманистической мысли русской литературы. «Подлиповцы» Ф. М. Решетникова знаменовали новый ее этап на пути непрерывных исканий. Здесь было не просто сочувствие «маленькому человеку», не только признание за ним права на амбицию, не упрек за его гибельное положение «ликующим, праздноболтающим» (Некрасов). Здесь слышится голос самого труженика, еще плохо осознающего, почему же «не все богаты», но уже не согласного с разделением людей на бедных и богатых. Оригинальность идеи, лежащей в основании творчества Решетникова, М. Е. Салтыков-Щедрин видел в том, что у него «борьба за существование, составлявшая

сущность народной жизни, впервые объясняет все стороны ее, а также характеры, создаваемые этой действительностью».

В мае 1864 года «Современник» закончил публикацию «Подлиповцев». Читателям повести казалось, что сила писателя в органической слитности с самыми «наинижайшими низами», в том, что пути и судьбы их не только известны автору, но вошли в его душу и сердце. Казалось, такая непосредственность отчета о жизни — основа правды. Представлялось, что и впредь молодой писатель будет рассказывать о знакомом ему мире «подлипных».

Но Решетников смело переходит в новый круг социальных обстоятельств, рассматривает характеры и проблемы духовного сословия, вникает в судьбы людей другого склада и уровня. Введение нового материала несколько озадачивало. Одно дело, если перед нами безыскусственный рассказ о народной жизни, как говорил А. М. Скабичевский в одной из ранних статей о «Подлиповцах», иное — проникновение во внутренний мир других людей, их отношений, анализ интересов и побуждений. Достоверность повествования о столь различных сферах жизни говорила о художественном таланте писателя, об особом даре построения цельного образа человека и среды из наблюдений жизни, случайных встреч, бесед, из отдельных черточек быта, из особенностей услышанной речи.

В своей повести «Ставленник» писатель повествует о сыне заштатного сельского дьякона Егоре Ивановиче Попове. Попов окончил курс обучения и ожидает места и «постановления» в священники или дьяконы. В семинарии он приобщился к современному общественному движению, но отошел от него, предал товарищей ради карьеры. Покровительствуемый ректором, Егор Попов получает место священника в уездном городе Столешинске, что является верхом мечтаний для семинаристов. С помощью архиерея ему в жены предназначена дочь уездного протопопа,

благочинного. Егор Попов женится, даже не узнав сколько-нибудь человеческих достоинств будущей супруги. Та недовольна «выбором» жениха, «назначенного» ей. Однако все скоро встает на свои места. В мыслях ставленника на первый план выступают не любовные чувства, а соображения о служебном положении, продвижении, покровительстве. И жена начинает его любить по-своему, по расчету, обнаруживая в нем человека ее среды, способного пробиться наверх и сделать карьеру. Вот, собственно, и вся сюжетная канва повести. Но содержание ее много шире, объемнее, в нем заключен большой общественный смысл.

Решетникову удалось быть точным в изображении быта духовного сословия. Даже профессор духовной академии Н. Барсов решительно писал: «В повести этой автор до того фотографически верно изобразил этот быт, каждый шаг героя обставлен такими аксессуарами и деталями, что невольно убеждаешься в принадлежности этого писателя по происхождению к тому кругу людей, которых он так мастерски изображает».

Художественная литература шестидесятых годов уже обратила внимание на типы, характеры лиц, выдвигаемых духовной средой. В 1852—1863 годах появились известные «Очерки бурсы» Н. Помяловского. В 1864 году в «Русском слове» печаталась большая повесть Ф. Ливанова «Особкин», а в «Библиотеке для чтения» — повесть «Озерский приход», принадлежащая перу Н. Федоровича (Н. Бунакова).

Вопрос о церкви, о духовенстве, его положении, месте в обществе, достоинствах и недостатках пастырей широко обсуждался в печати. Начало было положено книгой священника И. И. Беллюстина «Положение сельского духовенства», напечатанной в составе «Русского заграничного вестника» (Берлин, 1858). Противники Беллюстина опубликовали в 1859 году, тоже в Берлине, книгу статей «Русское духовенство». В России вышла работа Н. Предтеченского «В защиту русского православного духовенства

Пермь. Кафедральный собор и архиерейский дом (1793—1832 гг.)

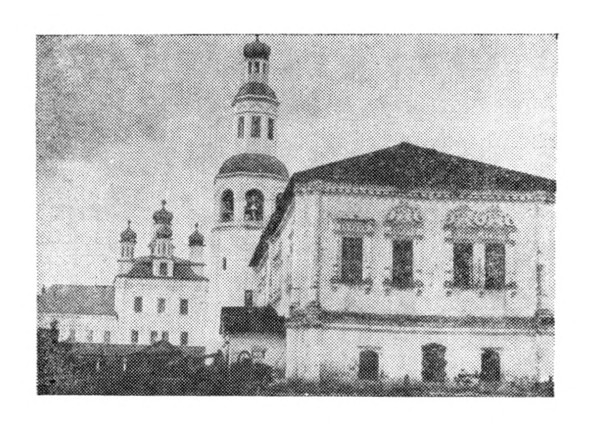
от обвинений и нареканий». Сборник статей «Русское духовенство» критически рассмотрел Н. Добролюбов. Книга Предтеченского вызвала реакцию журнала «Отечественные записки», рецензия на нее была озаглавлена так: «Бестактность адвокатов русского духовенства».

В литературоведческих работах о Решетникове обычно говорится или молчаливо предполагается, что характер его училищной подготовки и самообразования исключает какой-либо диалог писателя с прозаическими и, особенно, публицистическими произведениями времени. Он, считалось, безыскусно воспроизводит то, что видит, использует материал «слухов и толков», которые несут в себе ценностные представления о народе, — и только.

Однако внимательное чтение «Ставленника» приводит к другому заключению: писатель смело

входит в круг вопросов, волновавших общество, требующих не только личных наблюдений, но и знания литературы и размышлений. В повести обнаруживаются отсветы идей И. Беллюстина, оценок Н. Добролюбова, помогающих автору в построении собственной концепции. Так, вслед за Беллюстиным Решетников широко развивает тему приниженности духовенства, зависимости его от консисторских чиновников, постоянной необходимости приношений старшим по положению. Сходятся также оценки подготовки священнослужителей в семинарии. Совпадают они в отрицании практики закрепления мест за дочерьми священников или дьяконов после их ухода на пенсию или смерти. Однако, в отличие от автора работы «Положение сельского духовенства», Решетников не предлагает лишь что-то усовершенствовать, улучшить, исправить — критика его цельная и глубокая. Впрочем, более важно, что наблюдения и мысли Беллюстина легли в основу характеристик персонажей повести. Слова публициста о том, что оканчивающим курс семинарии свойственны «мелкое самолюбие, перерастающее в дьявольскую гордость, педантизм, эгоизм», определяют ряд опорных точек характера решетниковского героя Егора Попова. Карьера Попова, вызванная «особыми обстоятельствами», за которыми кроется ординарное предательство, складывается так, как об этом пишется в книге Беллюстина, а именно: «О хорошем месте в епархии лучшему (лучшему по аттестату) студенту и мечтать нечего. Такие места раздаются племянницам архиерейским, а если их нет, то сволочи, окружающей архиерея». Почти полностью по Беллюстину построен образ Надежды, невесты Попова. «Дочери богатых священников, — пишет публицист, — люд избалованный, своевольный, привыкший к лени и расточительности, а если отец еще и благочинный, то с огромными претензиями». Готовая схема личности будущей супруги героя.

Решетников достаточно хорошо знал, как ока-



Усолье. Дом Строгановых, колокольня и Спасо-Преображенский собор (1724—1731 гг.)

залось, не только внешние формы жизни семинарии, но и состояние духа учащихся. Один из его сослуживцев (Трейеров) был некогда семинаристом. В Перми будущий писатель жил на Монастырской улице, где многие квартиры занимали семинаристы. Молодость сходится быстро, и Решетников, видимо, входил в знакомства, чтобы узнать пока не известный ему мир.

Писатель сдержанно, внешне скуповато рисует верную картину проникновения новых идей в замкнутую среду семинаристов, показывая формирование революционно-демократического направления общественной мысли на примере Пермской семинарии. Семинаристы начинают с критического отношения к сложившимся формам обучения, его содержанию, пытаются размышлять о роли и месте духовенства и выходят на широкий круг вопросов жизни страны в целом.

По цензурным условиям Решетников, конечно, не мог показать накал мыслей, распространившихся в Пермской семинарии. Следственное дело о кружке Моригеровского, хранящееся в Центральном государственном историческом архиве СССР, помогает нам полнее увидеть характер революционности и меру ее. По показаниям учителя Чермозского училища Константина Кетова, семинарист Илья Пономарев, приехав на каникулы, «пустился в разглагольствование о государственных учреждениях России, о сословных привилегиях и бедственном положении крестьян и в своих словах высказал необходимость уничтожить разом весь существующий порядок гражданских дел, взамен того учредить демократию и потом ввести в государстве коммунизм».

Писатель понимал, что появление новых сил, формирование нового мировоззрения отнюдь не случайный эпизод в жизни семинарии, что начало этому было положено еще в конце пятидесятых годов. Интересно, что некто Архангельский, окончивший курс обучения в 1858 году, писал отцу Мамина-Сибиряка о пробуждении умов в семинарии, о несогласии с тем, чему учат, говорил о чтении им и его товарищами «непропущенных» книг, в том числе иностранных.

В повести «Ставленник» Решетников прослеживает пути проникновения новых идей в семинарскую среду, говорит о влиянии столичных студентов, приезжавших в Пермь, о серьезном внимании к сочинениям Белинского и Добролюбова. Им упомянуты пять профессоров семинарии — «пять академистов с новым направлением», оказавших влияние на семинаристов. Действительно, в истории семинарии такую роль сыграли пятеро: Воскресенский, Моригеровский, Лавров, Парадизов и Стефановский. Он бегло сообщает о рукописном журнале, издававшемся в семинарии. Историк И. Лаговский в работе, опубликованной в 1877 году, тоже упоминает о подпольном журнале, направленном именно на то, чтобы восстановить учеников против начальства.

За этими беглыми зарисовками духовного брожения в семинарии стоят события, зафиксированные в общей гражданской истории. В России шестидесятых годов Пермская семинария выделялась по напряженности и значительности развития в ней социально-революционной мысли. К ней было привлечено внимание правительства, шли расследования на уровне высших органов власти.

В 1861 году ректору семинарии поступил донос учащегося А. Попова о существовании кружка под руководством А. Моригеровского. Как выяснилось в процессе дознания, в кружке широко обсуждались вопросы народной свободы, политических форм общего развития страны. Брат Алексея Моригеровского Александр, преподаватель Технологического института в Петербурге, был одним из функционеров общества «Земля и воля», задуманного Н. Г. Чернышевским. Таким образом, пермский семинарский кружок, хотя бы косвенно, находился под известным влиянием Чернышевского и его сторонников.

О существовании кружка стало известно губернским властям, а затем и правительству. В результате Моригеровский был в 1861 году сослан в Тотьму, где провел десять лет, а ряд учащихся исключили из семинарии. Однако движение не заглохло. На следующий год началось новое правительственное расследование «свободомыслия», в ходе которого была установлена роль в нем частной библиотеки Иконникова, который был сначала учителем семинарии, а затем чиновником особых поручений при губернаторе. В семинарии ходили по рукам прокламации «Пора», речь Шапова по поводу расстрела крестьян в Бездне под Казанью и многие издания Герцена. Семинаристы также готовились выпустить известную пропагандистскую брошюру «Что нужно народу?». Хотя официального судебного процесса не проводилось, Иконников, Воскресенский и ряд учащихся были высланы из Перми. Такова внешняя картина событий, в свете которых стано-

вятся ясными основные характеры повести «Ставленник» и ее проблемы.

Ф. Решетников убедительно рисует «полевение» семинаристов, выделение группы передовых учащихся, которые под влиянием новых идей в демократическом духе оценивают себя, свою карьеру и положение народа. Революционная линия представлена в повести образом Троицкого, очень трезво размышляющего о необходимости для каждого самостоятельно искать ответы на вопросы, выдвигаемые жизнью, о разобщенности духовенства и народа, о его двойственном положении. С одной стороны, сословие призвано повышать духовность прихожан, но образование, оторванное от жизни, насквозь схоластическое, определяет неспособность священников верно ответить на самые элементарные вопросы жизни. Духовные наставники в материальном отношении целиком зависят от прихожан, от их приношений, платы за требы. Бедные крестьяне вынуждены отдавать то, что заработано громадным трудом. Троицкий хочет реально помогать народу. В его разговорах с Поповым выясняются два различных пути демократической интеллигенции: либо к сытой жизни, спокойствию, примирению с существующим положением — этот путь выбирает Попов, либо к поискам других отношений, другого дела, других ценностей, как у Троицкого.

Количественный рост новых социальных групп, вызванных к жизни буржуазным развитием страны, хотя и урезанным, ведет к своеобразному расколу в среде новой интеллигенции — не столько к развитию революционной мысли, сколько к различным формам либерализма, порой выдающего обывательскую удовлетворенность достигнутым. К семидесятым годам этот раздел проявится резко и прямо. «Избранные» выйдут на борьбу с государством, во имя интересов народа, зато десятки тысяч, забыв о своих народных корнях, будут воинственно отстаивать идею «собственной кельи под елью», право жить только в своих интересах.

Соликамск. Троицкий собор (1684—1697 гг.)

Такая картина распадения демократической интеллигенции на противостоящие группы в 1872 году получит наиболее полное освещение в романе И. Кущевского «Николай Негорев, или Благополучный россиянин». В романе двумя дорогами идут два брата. Автор иронически освещает путь благополучного россиянина, приспосабливающегося к жизни, выходящего «наверх».

У Ф. Решетникова пути Троицкого и Попова уже намечают эту ситуацию.

Вполне вероятно, что первоначальный замысел «Ставленника» предполагал развитие привычной для русской литературы антитезы характеров. В повести Троицкий и Попов должны были представить две линии пути демократической интеллигенции. Однако писатель не мог во всей полноте донести до читателей содержание мыслей и, в особенности, действий Троицкого, в которых реализовалось бы его понимание действительности, отношение к ней. Как совершенно правильно по-

лагал М. Салтыков-Щедрин, «положительный тип русского человека не может быть изображен в достойной себя практической деятельности». Судьба Троицкого в повести не прослеживается, мы знаем только, что от своего замысла ехать в столицу и учиться он не отказался. Все внимание в «Ставленнике» перенесено на Попова. Этот «герой времени» пытается убедить себя, что можно не идти за передовой мыслью и одновременно не стать обывателем, «благополучным россиянином». Ему кажется, что и без размышлений о проблемах народа, власти, исторического пути страны можно нести идею высокого служения людям. Он убеждает себя, что будет священником, каких не было.

На первых порах герой еще ловит себя на том, что его высокие слова и истинные дела расходятся друг с другом. В программу действий своих как священника он включает проповеди «против безнравственности» и тут же спохватывается: он едет жениться, не зная на ком, а не высшая ли степень безнравственности такой брак? По мере развития сюжета о женитьбе, который равен сюжету о карьере, он все реже вспоминает о своих идеях. Писатель поступает тонко и умело, заставляя своего героя подумать и... ничего не сказать или подумать одно, а сказать другое. Попову не понравилось, что благочинный, будущий его тесть, резко и грубо говорит о раскольниках. Он не согласен с ним — и молчит. Он почти по Чернышевскому излагает свое понимание брака, жизни с женой, он за свободу женщины, за дружеские отношения, но это не мешает ему в первые же недели совместной жизни назвать жену дурой и решительно определить программу семейного существования далеко не по Чернышевскому. Над всем господствует идея карьеры. Оказавшись зятем благочинного, Попов совсем забывает о своем былом либерализме.

Решетников превосходно анализирует психологию подобных людей, вскрывая истинные основы их поведения, задаваемого обывательским жела-

нием урвать кусок житейского пирога покрупнее, ни в чем не меняя существующих условий.

Главной темой размышления писателя, однако, остается тема духовенства в целом как сословия, его функций, его места в жизни, его человеческих качеств. Он настойчиво показывает, что те лица, которые должны быть носителями веры, высокой духовности, постоянной учительской задачи, на самом деле глубоко погружены не в глубины бытия, а в болото быта. Все разговоры батюшек вращаются вокруг доходов, бедности, необходимости разоряться на взятки, приношения, отступного при ревизии метрических книг. Раскрываются такие детали жизни, которые свидетельствуют о несоответствии догматов церкви и нравственности членов этого сословия в браке, в семейных отношениях, в личных связях. Мысль о вере, о нравственных принципах, завещанных этой верой, у них не возникает. Их поведение определено сложившимися и в других сословиях отношениями, представлениями, системой принятых «всеми» поступков, и все это вместе убеждает в человеческой несостоятельности мира людей в России.

Решетников неожиданно приближается к Гоголю, к мыслям его книги «Выбранные места из переписки с друзьями», с которой он был знаком. Гоголь тоже видел несоответствие церкви в ее сложившихся формах с задачами высокого духовного очищения русского человека. Он создает идеальную программу, каким должен быть священник. Гоголь пишет, что неотделимость пастырей от паствы достигается равной «материальной бедностью». Отказ от меркантильности, стремления к материальным благам «служит самою лучшею школой воспитания в руках пастыря всех высоких добродетелей, требуемых верою христианскою».

Ф. Решетников выделяет симпатичный ему тип священнослужителя — это отец Егора Попова, отставной дьякон. Он обладает своеобразной младенческой незлобивостью, нерасчетливостью, бли-

зостью к интересам детей. Он всю жизнь живет в «дружбе» с крестьянами. Эта «дружба» основана на своеобразной близости уровней культуры и привычных форм жизни. Они ощущают себя людьми близкой судьбы, связанной с трудом и заботами. Откуда же в этих условиях взяться «высокой духовности»? Утопии Гоголя Решетников противопоставил свою точку зрения, впрочем, видимо, навеянную публицистикой. В одном из номеров «Современника» (1863, № 3) автор «Внутреннего обозрения» сочувственно цитировал журнал «Основа», где напоминалось, что «когда духовенство было избираемо из среды народа, по правилам вселенских соборов и святых отцов, — оно было роднее пастве, хлопотало в ее пользу и сочувствовало ей». В рассказе о своем дьяконе Решетников снова и снова останавливается на таких его человеческих качествах, которые кажутся природными, естественными, не ориентированными на условные формы быта.

Одной утопии Гоголя оказалась противопоставлена другая, однако обе исходили из неблагополучия церкви, ее превращения в сферу, обслуживающую быт, но не высокие духовные запросы человека. Сколь ни кажется поразительным, Решетников в своей критике церкви, ее функционирования как аппарата, связанного с насилием и бездуховностью общества, оказался предшественником и Л. Н. Толстого.

Писатель не был вполне удовлетворен своей повестью. Дело в том, что он хотел соединить очерковые принципы исследования среды, заложенные натуральной школой, и романные начала, которые связаны с исследованием отдельной личности в отношении к миру. В повести «Ставленник» тесного взаимодействия этих начал не осуществилось.

Рецензент «Голоса» верно подметил наличие мешающих друг другу двух жанров. Действие парализовали многочисленные жанровые сценки и очерковые сообщения, яркие бытовые картины, не выстраивающиеся в то целое, которое ра-

Кунгур. Успенская церковь

ботает на создание художественного типа. Это мешало построению динамического сюжета, ослабляло его.

За Решетниковым, как отмечали и публицисты «Современника», остается роль одного из новаторов в постановке вопроса о бездуховности церковной среды, одного из открывателей типа «благополучного россиянина», чуть позднее ставшего знамением времени.

Однако и в целом путь был выбран интересный. Он оказался полезен в дальнейшем, когда Решетников стал писать романы. Лицо, человек стали наполняться там деталями жизни, характерными ранее для очерка, а описание быта, элементов среды, в которую вписан человек, обо-

гащалось более глубокими смыслами, связанными с проблемами, стоящими перед героем.

При подготовке к изданию первого двухтомного собрания своих сочинений в 1869 году Ф. Решетников выделил небольшой цикл рассказов: «Добрые люди», «Кумушка Мирониха», «Тетушка Опарина», «Никола Знаменский».

«Добрые люди» — это те, кто не отделяет себя от остальных, кто способен проникаться общими заботами. Когда в песне поют: «Люди добрые, поверьте, расставанье хуже смерти», речь идет как раз о некоторых, наиболее чутких, несущих в себе и своих действиях идею добра. Имеется в виду содружество людей, способных чувствовать единство судеб. При этом собственные житейские характеры их могут быть различными, определяться разными условиями жизни.

«Кумушка Мирониха» была напечатана в юмористическом журнале «Искра» с подзаголовком «Рассказ из горнозаводской жизни». В Веретнинском казенном заводе, находящемся в трех верстах от города, легко узнается Мотовилихинский завод около Перми. Подзаголовок был нужен автору, чтобы подчеркнуть, что самостоятельность женщины, ее почти полная эмансипация, независимость от мужчин прежде всего явление, сформированное особенностями рабочего быта. Он сам говорит, что его интересует «тип горнозаводских женщин». Такова Матрена Власовна Миронова, по-уличному «кумушка Мирониха», которая «сама по себе добывала пропитание, даже с излишком». Решетников любовно описывает уличный быт заводского поселка, спартанское воспитание детей, их раннюю самостоятельность. Это помогает ему перейти к жизнеописанию героини, сославшись на то, что ее детство было таким же, как у современных ребятишек. Главное в Миронихе — ее постоянный труд, хлопотливость, «она с утра до вечера на ногах». Огород приведен ею в отличное состояние, корова ее вызывает восхищение. Она, вместе с тем, эксплуатирует бездельных горожанок, поставляя

им молоко и овощи, слывет за «продувную бабу», поскольку, давая в долг под проценты, не стыдится, оправдывая себя. Она чувствует себя независимой от городских чиновников, отстаивает свои интересы, ходатайствует за других. Органическое чувство самостоятельности, независимости, достоинства поддерживается в ней, как подчеркивает Решетников, сознанием своей нужности. «Мы вас кормим, — говорит Мирониха, — без нас вам и трескать было бы нечего». Мирониха — свидетельство реальности самостоятельного, независимого существования женщины, занятой трудом, деятельной, приспосабливающейся к условиям, которые ставят перед ней сложившиеся формы жизни. Она является гражданином, когда над ней не мудрствуют и не издеваются.

Если женщина, столь забитая и приниженная в привычном, устоявшемся национальном быте, подчиненная семейной и общественной тирании, может подняться и самостоятельно решать собственную судьбу, то тем более надо было верить в затаенные возможности рабочего люда в целом.

Адресуя рассказ в юмористический журнал, Решетников не мог не считаться с профилем его. В рассказе встречается ряд сюжетных мотивов, характерных для смеховой народной культуры. Мирониха — обманутая простота. Вместе с тем обман, к которому она прибегает в отношениях со своими покупателями и должниками, своеобразно наказан.

Художественным шедевром писателя был рассказ «Тетушка Опарина». В нем, может быть, наиболее полно проявилась способность Решетникова создавать динамические портреты людей из народа.

В качестве повествователя в рассказе выступает путешествующий и любопытствующий наблюдатель народной жизни. Он впервые встречается с людьми, которые привлекают его внимание, что определяет обостренный интерес к новым для него человеческим типам и обстоя-

тельствам жизни. В деревне он оказался случайно, и готовых концепций души деревенского человека у него нет, поэтому он не отбирает то, что складывается в цельный образ, достаточно проявляющий свою социальную и духовную основу. Его наблюдения и оценки противоречивы. Человек, встреченный им, поворачивается то одной, то другой стороной. Автор как будто демонстрирует сложность жизни, не умещающуюся в привычные силлогизмы.

При ближайшем знакомстве с героиней, отнюдь еще не старой, какой обычно представляется умудренная опытом женщина, выясняются две стороны ее личности. Мы выслушиваем ее собственные рассказы о себе, о принципах отношения к жизни и людям. Она трудолюбива, энергична, умна, к ее советам прислушиваются те самые мужики, которые называют ее и пиявкой и злодейкой, в беде именно у нее ищут поддержки. Она смело вступается за права односельчан, защищает их от произвола местных властей. Она способна встать выше личных обид, избавляя соперницу от несправедливого наказания. И тут же в ее практике обнаруживаются кулацкие действия. Она покупает на корню овес у крестьянина, авансируя его таким образом, чтобы тот купил лошадь. Истинно добрый человек! Но потом она прижмет его, как и других, которых «одолжила»: они поднимут ей пашню, скосят луг той же «помочью». Она обобрала любовника Алешку, которого увела от жены сразу после свадьбы. Ей удалось вытянуть у него надел, лошадь, деньги. Н. Шелгунов в статье о Решетникове писал, что Опарина — «счастливое соединение Марфы-посадницы, кумушки и фактора». Критик заметил существенную мысль писателя: выработанный народной трудовой средой, широко проявляющий себя темперамент, осознание ценности собственной личности — это вечное, вынужденное переплетаться с теми обстоятельствами, которые искажают человека, взращивают в нем частное, антигуманное. В этом рассказе ин-

Ныроб. Никольская церковь (1704 г.)

терес к обыденному, повседневному, «натуральному», воспроизводимому широко, со всеми деталями, совмещается у Решетникова с обостренным интересом к внутренним смыслам, к всечеловеческим проблемам бытия.

Рассказ «Никола Знаменский» появился в «Отечественных записках» А. Краевского в 1867 году. Журнал, напечатав рассказ, попал на заметку цензурного ведомства. Цензор Н. Е. Лебедев дал следующее заключение: «Кроме общего содержания, представляющего с самой неблаговидной стороны быт наших священников в отдельных местах России, в этом рассказе встречаются отдельные места, своим комизмом нарушающие должное уважение к лицам духовного звания». Цензурный комитет согласился, что рассказ «унижает в общественном мнении значение духовного сословия».

Что же на самом деле нес рассказ?

После краткого введения устанавливается некоторый общий взгляд на тип людей, которые предстанут перед нами: «...Люди эти честные, добрые, но устроившиеся под влиянием забиенной среды». Плотный слой жанровых картин воссоздает образ человека, который в тех условиях с возможной естественностью реализовал себя. Как писал известный революционно-демократический критик Н. В. Шелгунов, «дик этот Никола Знаменский, как медведь, на которого он ходит, как первобытный новгородский славянин, забравшийся в чудь заволоцкую. А в то же время в этом диком славянине чувствуешь простую, бесхитростную простоту, доброту и прирожденную гуманность, не испорченную цивилизацией».

Этот сельский священник, поставленный в церковь отчасти по родству, а отчасти за взятку, не может бегло читать, перезабыл половину обедни, путает церковный календарь, переговаривается с прихожанами во время богослужения. Он ходит на охоту, нарушая церковный закон, запрещающий священнослужителям «проливать кровь». Он пьет вино и брагу вместе с крестьянами, обманывает черемиса, едва принявшего православие, пропускает праздники, занимается поборами, без которых он действительно не может прожить. По неграмотности он не ведет метрические книги записи о рождении и смерти. Может показаться, что автор остается в круге анекдотических случаев, когда рисует такого попа. Но дело не в «случае», не в том, что он недостоин быть пастырем.

Никола Знаменский — человек совершенно иной культуры, чем его городское начальство. Греческие слова, вводимые в обряд посвящения, им переосмысливаются комически по-своему. Когда церковные власти решили лишить его священства и убрать из села, крестьяне взбунтовались. Он устраивал этих простых людей. В нем они видели близкого себе человека, помогающего им, отстаивающего их несложные интересы в отношениях с государством. Николу, конечно, об-

Чердынь. Церковь Иоанна Богослова (1718 г.)

винили в подстрекательстве крестьян к непослушанию, к бунту. Погиб этот человек, во многом похожий на фольклорных богатырей, которые пьют и едят за троих, силу имеют непомерную, а нрав добрый.

Здесь, как и в «Ставленнике», писатель раскрывает своеобразный государственный формализм религии, нарушения правил которой не беспокоят народ.

При поисках традиций, на которые опирается Решетников, мы обнаруживаем, что этот принцип — портрет и картинки частных событий, совершавшихся в его жизни, — восходит к житийной литературе, к так называемым житиям святых. Еще более ясно проявляется подобная кон-

струкция художественного целого в иконописи, а именно в иконах, у которых в среднике дается иконописный лик святого, а по всему периметру идут жанровые картинки — клейма. Это не значит, что рассказ походит на житие и по существу. Это скорее антижитие. За Николой Знаменским нет ни одной черточки, характерной для тех, кто прославил себя святой жизнью. Но именно он и представляется писателю человеком высшей человечности в своей рядовой, непритязательной жизни. Это выглядело почти вызывающе.

Новаторство писателя, таким образом, проявляется не только в решениях проблем народной жизни и характера, но и в новизне художественных принципов. Мы помним, как единодушно утверждали несходство Ф. Решетникова с предшественниками Салтыков-Щедрин и Тургенев, Достоевский и Шелгунов. Его первенствующее положение среди новой генерации демократических писателей замечала критика. Его современники-литераторы обычно рассматривались в их преемственной связи с предшественниками: Левитов — с Тургеневым, Успенский — с натуральной школой, Максимов — с Далем. Родословие Решетникова оказалось как бы скрытым, неясным. Художественное новаторство его несомненно подготовлено всем развитием русской литературы и искусства, но особо — ее древними пластами.

Мы познакомились с несколькими произведениями явно незаурядного писателя. Достоверность, точность, пристальность внимания к подлинному течению жизни, «трезвая правда» делают их исключительной ценности документами ушедшей эпохи, без которых нам ее не познать и, следовательно, не понять, а значит — не понять и себя, и наши сегодняшние проблемы, как социальные, так и нравственные.

И. ДЕРГАЧЕВ,
доктор филологических наук

СТАВЛЕННИК

Повесть

Глава первая

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА В СЕМИНАРИИ

Егор Иваныч Попов только что окончил курс в семинарии, и так как он окончил по первому разряду, то имел право просить священнического места.

Подобных субъектов, как Егор Иваныч, можно встретить очень много, если не по физиономии, то, по крайней мере, по манерам, сжатому произношению, какой-то боязливости. Лицо у него неказистое, то есть некрасивое: в семинарии его называли теркой. Терка — название, данное лицу, — означает, что лицо корявое, иначе сказать, оспой поеденное. Это бы еще ничего — так белизны нет. Глаза серые, почти что слепые, но Егор Иваныч очков не надевает, вследствие чего нередко сидел в карцере за то, что, попавшись навстречу инспектору или какой-нибудь влиятельной губернской духовной личности, не снимал им сослепа шапку, вро-

де того, как солдаты отдают честь офицерам; нос... ну, да нос вещь очень небольшая. Впрочем, хороший нос придает какую-то привлекательность лицу. А у Егора Иваныча нос был неказистый — не потому, впрочем, что он был еврейский или монгольский, чего, конечно, у него не могло быть, так как отец Попова происходит от дьячка, дед его тоже и предки были чисто русской крови. Теперь на Егоре Иваныче суконный сюртук, уже отлинявший, с протершимися локтями и обшлагами рукавов, брюки триковые, серого цвета с клеточками, дешевой цены, фуражка годов шести; ну, сапоги, конечно, годовалые с заплатами.

По этому можно заключить, что Егор Иваныч — человек бедный, — во-первых, потому, что он терся в семинарии двенадцать лет, находясь под начальством разных должностных семинарских субъектов; во-вторых, занимаясь одними только науками, он, не имея протекции, должен был платить за квартиру с хлебами то, что пришлет ему бедный отец его, заштатный дьякон Иван Иваныч Попов. Конечно, можно бы и без протекции найти какие-нибудь средства, например учить детей или занимать кондиции в городе, но Егор Иваныч, во-первых, не любил кланяться людям или напрашиваться, а во-вторых, попалась ему кондиция у одного мещанина — сын-ученик оказался непонятливым, да его и от уроков часто посылали то к Люсавину, то к Ермолаихе, то по водку, и за два месяца не заплатили учителю денег. А есть семинаристы и богатые.

Семинаристы вообще делятся на бедных и богатых. Бедные бывают бурсаки и живущие на квартирах, богатые — дети состоятельных родителей; но вообще живущие на квартирах оказываются состоятельнее бурсаков-бедняков, то есть детей бедных родителей и детей, не имеющих возможности наживать деньги сами собой.

К богатым принадлежат: дети богатых родителей, живущие на квартирах, которым отцы шлют много денег, собственно для того, чтобы дети получили диплом на поступление в духовную академию, семинаристы, обучающие, по протекции начальства, юношей, письмоводители семинарских правлений, певчие. К разряду певчих нужно причислить и архиерейских певчих; но архиерейские певчие наживают больше всех семинаристов, не архиерейских певчих. К сословию богатых принадлежат также: костыльники, книгодержцы, стоящие у царских ворот с светильником, кладущие у ног архиерея орлы, иподиаконы. Но эти молодые люди — мальчики, исключая иподиаконов, которые выбираются из философии и богословии, дети большею частию протопопов. Они имеют свои деньги, независимо от родителей, таким образом: если архиерей служит в престольный праздник в городской церкви, освящает церковь, ездит по епархии, то причты дают каждому денег, как состоящему при архиерейской свите и исполняющему некоторые обязанности.

Всех семинаристов в семинарии, где был Егор Иваныч, 750 человек. Они разделяются на казеннокоштных и своекоштных. Казеннокоштных, или бурсаков, живущих на казенной квартире и пище, 400 человек; своекоштных, живущих на разных квартирах в городе, 350 человек. Казеннокоштные — большею частию дети бедных родителей, начиная от причетника до священника, служащих в бедных селах, без казенного жалованья, дети умерших родителей, сироты, призренные начальством. Казеннокоштные сближаются друг с дружкой и почти все 400 человек если не приятели, то хорошие знакомые, начиная со словесности. Конечно, из 400 человек нужно исключить уездников, которые живут отдельно, и богословов, которые имеют со словесниками шапочное знакомство и ни во что ставят уездников.

Житье в бурсе известно всем, кто жил в бурсе и кто читал очерки бурсы Н. Г. Помяловского. И поэтому о бурсаках говорить одно и то же не для чего: каждая семинария походит на другие; исключений почти что нет.

Своекоштные живут вольнее бурсаков. В городе много домохозяев, которые держат на квартирах преимущественно одних семинаристов, потому что семинаристов держать выгодно. У хозяина есть столы, стулья, кровати и даже картинки очень дешевой работы, две-три комнаты и кухня. Если комната большая, то в ней ставится три или четыре кроватки или кровати, четыре стула, стол, иногда и два; если комната маленькая, то две кровати, один стол и два стула. Дома эти находятся около и недалеко от семинарии. С каждого семинариста берется по одному рублю тогда, когда в одной комнате уже живут два семинариста, в другой комнате тоже два, в третьей один. Одна комнатка для одного стоит 2 и 3 рубля в месяц. За такую-то плату, а в иных домах и за 50 копеек, семинаристы наполняют квартиры. За эту же плату можно послать хозяйку на рынок; хозяйка даст самовар, поставит его, сварит щи, только подай семинарист деньги. Обед и квартира стоит 5 и 6 рублей в месяц тогда, когда хозяйка держит 7—8 семинаристов, и 7 рублей, когда их два или три. Житье в этих квартирах несколько спокойнее казенного житья. Несмотря на клопов и других подобных зверей и на грязь, каждый семинарист живет здесь как дома. Конечно, уездник постоянно под началом старшего — слевесника, который ставится к уездникам начальством, но все-таки каждый может без спросу сходить на рынок, на реку и проч., а после вечернего визита инспектора, наблюдающего своей персоной за нравственностью своекоштных бурсаков или посылающего вместо себя богословов, семинаристы могут делать что хочется: петь песни, плясать, и в это время вступают в управу уже

домохозяева, которые ругаются за то, что «дурья порода» им спать не дает.

Уездники, дети сельских церковнослужителей этого уезда, живут преимущественно с уездниками да с одним или двумя словесниками. Квартира с пищей каждому обходится в 4 и 5 рублей, если не допускается роскоши, как то: не пьется чай, нет жаркого. По отъезде из деревни или села сын получает от матери пудик муки, которая отдается хозяйке для печения. Одной ковриги или булки уезднику достанет на три дня, а хозяйка экономничает так, что пуд муки достается уезднику на две или на три недели. Отец шлет каждый месяц сыну 3 или 5 рублей — и сын покупает сам с рынка ковригу ржаного хлеба, калачей и молоко, которое носит торговка из завода через два дня. Вставши утром, семинарист съедает ломтик хлеба или калач, который стоит одну копейку серебром, припивая молоком. Обед — то же. Если у семинариста есть лишние деньги, он покупает говядины, крупы и картофеля, и хозяйка варит каждому или всем в общих горшках щи и кашу. Надо заметить, что семинаристы, живущие на квартирах, дружны — у них круговая порука. Все знают, что Попову отец прислал только 2 рубля. Попов издержал за квартиру один рубль и один — на щи и кашу с хлебом и молоком, которыми угощал товарищей при безденежье, — то значит, Попова надо посадить за общий стол. Общий стол состоит из общины. У каждого семинариста есть мешочек с крупой и мешочек с хлебом или калачами; мясо хранится на хозяйском погребе. Утром каждый вынимает мешочек.

— Что сегодня — щи?

— Давай.

— У меня, брат, смотри: выдуло! — И семинарист выветривает наизнанку свой мешок.

— Ну, и весь зубы на спичку.

— Елтонский, дай горсточку!

— Ну, нет, брат. Попроси у инспектора.

Все хохочут, а семинарист чуть не плачет.

— Дай, Вася... Отдам...

Вася колотит просителя по голове кулаком, прочие тоже накладывают, приговаривая: «Вот тебе щи, вот тебе каша»; а один барабанит по спине неимущего кулаком, приговаривая: «Каша наша, щи поповы»...

Оказывается, что только у одного семинариста есть крупа.

— Вы что же? — спрашивает он товарищей.

— Дай! Дай! Дай! — кричат товарищи.

Если товарищ не дает крупы, крупу отнимают силой или заставляют его самого класть крупу в горшок.

— Клади за меня!

— И за меня!

— Я две горсти положил — будет.

— А за меня клал?

— Да будет две горсти на всех!

— Как, братцы, по-вашему: плут?

— Надувало, блинник!

— А за это что следует?

— Качай его в три лопатки!

И семинаристы заставляют класть на всех по горсти, так что у него остается только горсть. Товарищи смеются.

— Ничего. Проживем и на аржанушке, а как получим от отцов — расквитаемся.

Случается, что от купленной только что вчера на всех говядины пять фунтов сегодня утром ничуточку в погребе не оказалось. Это объявляет хозяйка. Приходит она в комнату, где все семинаристы в сборе и уже, с книжками в руках, собрались идти в семинарию.

— Молодцы! Беда какая вышла! — говорит она, хлопая руками по бокам платья.

— А что?

— Да говядину-то вашу кошка, будь она проклятая, слопала.

— Как же так?

— А так, слопала — и все тут.

— А мы этой кошке голову свернем.

— Ой, что вы, ребятушки! Мой буско такой умник и всё...

— Да как же слопала-то? Поди, плохо лежала?

— Знаете ли: я вечор заперла его в погреб, потому, значит, хомяков тьма-тьмущая. А мой буско горазд... одно слово — умник... Ну, и заперла, значит, на самый замок, как есть заперла. Прихожу сегодня утром за коровницей... Только знаешь ты, сударь ты мой, взглянула в то место на полку, где ваша-то говядина была положена, взглянула — нету! Ах, пропасть! Пришла к полке, пощупала, вот этой правой рукой, — нету! Эх, думаю, на моих молодцов все неудача... Уж я буска-то стегала-стегала ремнем, больно стегала... Вор-парень!

— Так как же теперь?

— Да не знаю. Говядины нету. Дадите денег — новой куплю.

— Вот те и щи...

Один запел: «Воскресения день, села баба на пень...»

— Вы, хозяюшка, сварите из своей.

— Что вы, молодцы! Из своей!.. Нету! Не постояла бы... Право слово, нету, да и пятница сегодня.

— Купите, пожалуйста.

— Дайте денег.

— Да нет. Отцы не прислали.

— Эко дело. Я ужо сбегаю к соседке, может, даст.

Хозяйка уходит, а семинаристы гвалт подняли. Один говорит: «Хозяйка украла», другой говорит: «Она не впервой ворует, надо уличить ее», третий кричит: «Братцы, на другую квартиру съедем» и проч., наконец согла-

шаются, что на этой квартире хорошо: хозяйка ласковая, часто на рынок ходит, не сердится, когда мы кричим и поем песни, а если съела, так черт с ней: нам не лучше, а жаловаться некому, да и не стоит.

Если у кого-нибудь есть щи или каша, то обедают все. При этом, конечно, хозяин приглашает только своего друга, друг этот просит товарища пригласить своего друга, да и хозяину совестно не пригласить остальных, иначе он неприятности от них наживет: сначала обедать ему не дадут в удовольствие, потом отомстят ему, — и обедают все вместе. Если ни у кого нет ни крупы, ни мяса, каждый ест ржаной хлеб.

Бывают у этих семинаристов праздники тогда, когда к одному из товарищей приезжает или отец, или брат, или просто церковнослужитель родного села. Тогда этот господин с самого начала знакомится со всеми семинаристами квартиры (живут на квартирах, в одной комнате или в одном доме, уездники и словесники из одного села и братья родные, но это редко, потому, во-первых, что односелян мало, братьев тоже мало, и, во-вторых, философы и богословы живут отдельно от уездников, как люди, занятые высшими науками, люди, готовящиеся в священники или еще выше, и если у них есть братья, то эти братья живут с ними, но о них я скажу дальше); такой господин, познакомившись со всеми семинаристами квартиры, дает денег своему родственнику, под видом постоя на его квартире, а если у него есть лишние деньги, то дает и в долг. Тогда покупаются на счет приезжего или приезжих разные сласти, водка и угощаются всей компанией. Тогда все равны и разгул — «что твоя малина»... Но это бывает всего несколько раз в год.

Уездники — мальчики от 10 до 15 лет; словесники старше годами. Те и другие бойкие мальчики дома и в классах до учителей, но, случается, и при учителях

пошаливают, что, конечно, им даром не проходит. Живя дома (в селах) на воле, они и здесь, на квартирах, «на коле дыру вертят», потому что живут с своими товарищами, к ним ходят тоже товарищи, приезжают родственники. При родственниках или родных они делаются смирными, хотя у них уже проявляются городские наклонности; но часто ездят или останавливаются на этих квартирах причетники, дьячки и пономари, перепрашивающиеся с места на место, хлопочущие о стихарях, разные дьяконы по разным делам, и с этими людьми они кутят, то есть пьют их чай и водку, а иногда даже грызут орехи. Свою удаль и молодечество они проявляют друг на друге: кто кого переборет, перехитрит, перекричит, пересмешит. От такой жизни многие ленятся учить уроки, и хотя за ними следят старшие, их секут, оставляют без обеда, но наука все-таки плохо прививается к ним. Нельзя сказать, чтобы были все такие, есть между ними и хорошие ученики. Все их развитие состоит в заучивании учебников, во всевозможных играх, пении духовных и светских песен, разговорах, касающихся предметов житейских, и насмешках над другими. Уездник умеет передразнить встречного и прохожего, как он ходит, и дает ему какое-нибудь смешное прозвище, а иногда и в глаза скажет ему неприличное слово. Это происходит от глупого воспитания и еще более того — образования. В селе мальчик видел крестьян и своего отца считал выше их; жизнь там однообразная, развития никакого. Здесь хотя и губернский город, и народ развитее сельского, и жизнь разнообразнее сельской, но мальчик знает только свое общество, общество товарищей, и ни сам, и ни товарищи не знают светского губернского общества, и мальчик, воспитанный на духовных (церковных) началах, смеется над этим обществом, завидуя мальчикам-несеминаристам. И здесь, на квартирах, так же как и в бурсе, часто приходится си-

деть в комнате, потому что семинарист боится идти на городское гулянье, а о театре и помину нет. Начальство зорко следит за своекоштными и часто заглядывает на одних сутках в их квартиры. Начальство знает, сколько живет в этом доме семинаристов и кто живет. Приходит оно в комнату и спрашивает: отчего не все?

— На рынок ушли, — отвечают семинаристы, хотя начальство придет в одиннадцатом часу вечера. Через четверть часа приходит фискал начальства, и если в это время или еще через час не придут ушедшие, то их на другой день выпорют и они будут значиться «поведением безнравственный». Да если и удастся семинаристу быть в театре или на гуляньях, то кто-нибудь из товарищей проболтается в классе и безнравственный получит порку и название «поведения худаго». Каждый семинарист рад, если попадется ему какая-нибудь книжонка. У хозяев бывают книжки, но не более одной или десяти, приобретенные от разных жильцов за долги. Но эти книги — или старые учебники, или вроде «Милорд английский», «Могила Марии» и тому подобной дряни, которую каждый квартирант читает с жадностью раз пять и больше и хвалит. Если у кого есть деньги лишние, тот покупает книжки на толкучке, но тоже книжки старые, которые не только не развивают способности, но даже отбивают охоту к чтению. В этом городе было несколько библиотек, но эти библиотеки были недоступны ученикам по дорогой цене, да и сами состоятельные семинаристы, жаждавшие хорошего чтения, не могли получать книги из библиотеки: начальство не приказывало читать светские книги и, узнавши, что семинарист-«щелкопер» читает светское, страшно наказывало его, даже исключало; да и сами библиотекари не давали книг «мальчишкам», потому что книги терялись. Но эти библиотеки существовали назад тому годов шесть. Теперь там существуют более доступные

библиотеки, и каждый уездник может читать что хочет. Как это сделалось, я скажу сейчас.

Итак, назад тому годов шесть уездники были очень неразвиты, и, кончивши науки в уездном училище, они в словесности ровно ничего не понимали. То же было и с Егором Иванычем, и с прочей братией. Вступивши в настоящую семинарию, молодые люди начинают пренебрегать уездниками и живут с ними только ради начальства или по крайней бедности. Каждый словесник непременно хочет жить со словесником для того, чтобы ему не мешал писк ребят и было удобнее учиться по риторике и сочинять задачки. Словесники — сочинители, значит, люди, начинающие мыслить. Но что может сочинять пятнадцатилетний юноша, когда он до сих пор еще ничего не понял, уча риторику по книжке «отсюда и досюда», когда учителя не в состоянии объяснить, а только требуют задачек на тему: «Написать мне мысли на тропарь успения богородицы»! И учат и читают словесники словесность по старым и духовным книгам, и пишут на заданные темы все труднее и труднее, глупее и глупее — мучаются два года и поступают в философию с перепутанными мыслями; никакой идеи нет, все какая-то бессмыслица, убожество, рабство какое-то. Давали и светские сочинения для разбора — например, Пушкина, Лермонтова, а больше Карамзина и Ломоносова, — но не всем, большая часть словесников должны были списать такие-то стихи, выучить и написать критику. Современных изданий в семинарии не было: в городе достать трудно, да и начальство дозволяло читать только проповеди древних писателей и известных иерархов, особенно почитаемых духовным миром...

Философы жили с философами и богословами, занимая каждый по комнате. Это были уже восемнадцати-двадцатилетние молодые люди и на себя смотрели как на дьяконов и священников. Каждый своекоштник хотел

свободы для своих занятий. Тут дружба была уже крепкая. Каждый старался высказать свое мнение другому, каждый спорил по тому, что он понял из науки, и каждый старался отличиться перед товарищем. Теперь уж уездники и словесники ни во что ставились.

Как в философии, так и в богословии преобладал схоластический элемент. Профессора, люди старые, большей частью монахи, священники, люди, старающиеся угодить начальству для получения орденов и должностей повыше, держали молодых людей по собственному своему рассуждению и требовали знания по книгам. Чтение светских книг здесь строго запрещалось, а именно: читающий светские книги мог быть исключен, а каково быть исключенному из богословии? Светское общество совсем было закрыто для молодых людей, и если они сталкивались с ним на гуляньях, то все-таки из кучки людей трудно что-нибудь составить... Но наконец и в семинаристах проявилось светское образование.

Семинаристы — народ разговорчивый, но разговорчивый не со всеми. В семинарии он запуган, со светским робок, боится говорить, зная, что светское общество считает семинаристов за пьяный и забитый народ. Так было, по крайней мере, прежде. Прежде исключенный из богословии поступал или в почтальоны, или в уездный суд писцом, и это было назад тому шесть лет... Кто не знает, что такое в провинции архиерейские певчие! Они учатся мало, потому, во-первых, что ездят по губернии с архиереем, часто приглашаются на свадьбы, похороны и проч.; во-вторых, они, получая квартиру, хорошую пищу, большие доходы, пьянствуют, а науками не утруждают себя и в будущем рассчитывают на то, что они всю жизнь останутся архиерейскими певчими. А быть архиерейским певчим — вещь очень трудная. Уездник по капризу регента может быть исключен из певчих и выйдет, конечно, дураком. Словесник и фило-

соф тенора держатся, а богословы и с худым голосом остаются и после курса семинарского в певчих, поступают дьяконами и все-таки поют в хору.

Архиерейские певчие в славе во всей губернии, но больше в губернском городе, где они со светскими знакомятся на свадьбах и похоронах при водке. Сидя за столом, при водке, студент университета начинает подпускать либерализм. Семинарист слышит что-то новое, смеется, ругается, не верит. Его урезонивают фактами... — Поди ты к черту! — кричит семинарист... Но знакомство уже началось со светским человеком: светский человек говорит толково, так что ты его ничем не урезонишь. Правду говорит. — Да ты откуда знаешь? — спрашивает семинарист. — Нас учили так. Наша литература открывает нам глаза. — Врешь ты все. — Да ты читал ли что? — Нет. — Так ты прочитай, а потом и суди... — Певчему, тем более архиерейскому, можно неделю не ходить в семинарию по болезни, да и начальство туда не заглядывает каждый день, поручая следить за ними эконому и надеясь на самого владыку. Певчий может читать что угодно, потому что нет начальства. Он прочитает хорошую книгу, и у него вдруг является сомнение в своей науке; он соображает прошедшее и настоящее с тем, что он видел у светских, где он бывал не десять раз; ему кажется, что это так и должно быть: люди живут как-то не так, а я чему учусь? Сочинение читают все богословы, философы и словесники; оно разбирается, и от одной умной головы переходят согласные убеждения ко всем. У всех явилось сомнение и недоверие; все чувствуют это и сообщают по секрету своим друзьям. А у молодых людей, еще не проникнутых новизной, сказал один толково, резонно, и все соглашаются с его мнением, разбирают и говорят: «Это так!» Сомнение в семинарской науке распространилось во всей семинарии, исключая уездников. Стали семинари-

сты доставать секретно сочинения Белинского и Добролюбова, подписывались по двадцати человек на один билет в библиотеку и доставали серьезные книги; один читал, все слушали, разбирали, критиковали по-своему; узнали настоящую жизнь и стали умнее... умнее своих профессоров. Профессора стали замечать что-то новое, неподходящее, вольнодумство — и стали следить за ними. Узнало начальство, что цвет семинарии, надежда ее читает светские книги, да еще книги иностранные, — стало выхватывать, конфисковать эти книги, которые или бросало в печки, или запирало в свои шкафы... Молодым людям трудно было вынести это насилие, но они ничего не могли сделать с властью... Так продолжалось два года. Но вот поступили профессорами пять академистов с новым направлением. Это были молодые люди.

Они сразу поворотили науку по нынешней методе. Семинаристы с первого разу полюбили их, и на лекциях шла философия настоящая... Потом эти профессора с помощью всех богословов, философов и нескольких словесников накупили книг и открыли публичную библиотеку в городе, заведование которой принял на себя один из профессоров. Все семинаристы читали даром, и читали настоящую философию, настоящую науку... Они стали сочинять, завели свои журналы... Это продолжалось полтора года.

. . . .

Начальство стало жаловаться на молодых профессоров.

Семинарию закрыли.

. . . .

Ревизор, приехавший из Петербурга, нашел, что семинаристам можно читать светские книги...

Теперь там дозволяется читать светские книги. Семинаристы, начиная с уездников, читают русские журналы.

Егор Иваныч платит за комнату два рубля в месяц уже четыре года. Отец исправно высылает ему к первому числу по восьми рублей. Так как на шесть рублей трудно содержать себя, то он утром питается молоком и куском ржаного хлеба, обед то же, иногда и щи, иногда и чай, но это бывает редко, по праздникам, и то в складчину с другими семинаристами-однокурсниками, живущими в том же доме. Так как семинаристы, начиная со словесности, не играют в карты, в мячик и прочие игры, то Егор Иваныч занимался постоянно книгами. Придет домой из семинарии, поест, полежит на кровати, поговорит с товарищами кое о чем и примется за лекции. Если сам чего-нибудь не понимает, то совещается с товарищами, и те тоже советуются с ним. Товарищи мало сидели дома, они уходили к другим товарищам или приводили на квартиру их приезжих дьяконов и священников и кутили. Егор Иваныч редко выходил из дому, он постоянно твердил книги, вычитывал, сочинял, переписывал лекции и в классах был вторым учеником. За прилежание и хорошее поведение ректор избрал его к себе в служки. Обязанность такая: одевать ректора в церкви, то есть надевать ризу, митру, и стоять при нем при церковных службах. Но это продолжалось с месяц. В это время философы и богословы читали секретно книги, и как все богословы и философы любили Егора Иваныча за честность и за то, что он ни на кого не кляузничал, не фискалил, то и стали его сбивать на новые идеи. Сначала Егор Иваныч только смеялся.

— Полно вам, господа, переливать из пустого в порожнее. Ну что вы толкуете-то? К чему это?

— Ты тоже хорош, ты пойми то, что ты богослов, хороший ученик, народу будешь, может быть, говорить проповеди.

— Дак что?

— Дак что? Фофан ты эдакой!.. Стыдись!

Егор Иваныч мало-помалу стал стыдиться... Однажды он при народе как-то нечаянно уронил из рук ректорскую митру. За это его отставили от должности, в поведении значилось целый год: неблагонадежен, — и на целый месяц начальство дало ему такой искус: он должен был исполнять в семинарской церкви должность старосты — ставить свечи, ходить по церкви с кружкой и тарелкой. В последнее время его даже причислили к разряду либералов, но Егор Иваныч избегал этих либералов, не ходил на сборища, а сидел дома, за что его прозвали каким-то неприличным именем. В последнее время ему туго приходилось, и он каждый день боялся того, чтобы его не исключили. Однако он окончил курс.

Утро. Егор Иваныч сидит в тиковом халате у окна и читает какой-то журнал.

— Егор! — спросил его товарищ из другой комнаты, Павел Иваныч Троицкий.

— Что?

— Да нет чаю.

— Ладно и так.

— Ну, не то ладно. А скверно, брат, денег нет ни гроша. Отец не посылает. Придется сегодня обойтись на пище святого Антония.

— Я и сам удивляюсь, что это сделалось с моим отцом. Ведь знает, что нужно ехать.

— А славно мы теперь погуляем! Кончили, Егорушко, учение проклятое... Сколько мы годов учились!

— Много...

— Карьера открывается: ежели в духовное — поп, в светское — чиновник.

— Трудненько досталось нам это.

— А я, брат, еще буду учиться; съем всю науку до конца.

— Нет, я не стану учиться. Я много перенес — будет.

— А сомнения-то куда дел?

— Постараюсь бросить.

— Ну, брат, коли твои мозги начали двигаться, сомненья не заглохнут. Ты только что начинал понимать вещи и многих вещей не понял, потому что с нашей семинарской наукой и не поймешь их. У нас стараются доказать, что мы со своей наукой и кончили все, умниками стали... Конечно, мы грамматику хорошо знаем и изложить на бумаге умеем, но что изложить? А заставь нас по-светски сочинить, и твердо-он-то, да подперто... Мы даже и говорить-то со светскими не умеем.

— Потому что мы духовные.

— Уж коли мы исполняем такие обязанности, проповедуем о добродетели, так нам нужно все знать. Надо или заслужить доверие светского общества, или вовсе не быть духовным. Уж если быть учителем, так и вести себя по-учительски. А что мы знаем? Спроси нас светский что-нибудь серьезное, мы и скажем: это воля божья... А почему же мы-то не можем разъяснить? Ведь светские разъясняют же? Стало быть, они умнее нас...

— Я думаю, в селе лучше жить. Там общество проще. Крестьяне народ славный.

— Хорошо. Ты и будешь жить там всю жизнь: будешь есть, да спать, да толстеть...

— Буду говорить проповеди.

— Семинарским-то слогом! Да крестьяне не поймут тебя.

Немного помолчав, товарищ продолжал:

— В деревню тебя манит простота народная... И заживешь ты по-крестьянски, с тою только разницею, что тебя будут считать барином, пожалуй, еще выше: шапки будут снимать, в пояс кланяться, хлеб будет гото-

вый, сено готовое — добытое трудами крестьян... Ты теперь молод, ты теперь любишь народ. Сначала ты примешься говорить с крестьянами ласково; учить детей будешь по-нынешнему; крестьяне полюбят тебя... Но, поверь, эта привязанность охладится. У тебя будут дети, надо будет учить их, заботиться об них; надо будет денег, ты и начнешь отставать от ладу с крестьянами; озабоченный, ты будешь стараться обеспечить будущность своего семейства, будешь требовать с крестьян то того, то другого... Теперь развитие... Сначала ты будешь говорить по-нынешнему, по-городски, а потом и это надоест, потому что там не поймут, смеяться будут, пожалуй, еще будут говорить, что неприлично. Читать там нечего, а если будешь выписывать журналы на крестьянские деньги, так еще напишет кто-нибудь на тебя жалобу. Ты и бросишь все, и будешь или лежать, или по грибы ездить или будешь делать то, что делают крестьяне.

— А разве это худо?

— Не худо по грибы ходить да делать наравне с крестьянами то, что и они делают. Жаль только, что молодость пропала. Еще ладно, что хоть обеспечение-то будет: место дадут. Вот только к чему послужило наше долголетнее терпение, а там и будешь толстеть на пользу своей утробы. Людям же ты никакой пользы не принесешь.

— Принесу.

— В тягость им будешь.

— Ну и врешь!

— Ты, Егор Иваныч, непременно открой воскресную школу.

— Открою.

— Только учи по-светскому, эдак не прямо, с бухты-барахты, а полегонечку им растолковывай... Впрочем, тебе бы и самому надо поучиться.

— Будет.

— Как знаешь. Да пожалуйста, как будешь учить ребят, розги и колотушки исключи.

— Не толкуй, знаю, что делать.

Троицкий махнул рукой и ушел в свою комнату. Троицкий был второго разряда и развитый настолько, что другой элемент взял в нем перевес. Он сегодня собирается подать прошение об исключении его из духовного звания.

— Пойду учиться в университет, всю жизнь буду работать, дойду-таки до настоящего.

Попов не любил Троицкого за его рассуждения, и у них почти каждый день бывали споры и ссоры. «К чему это он говорит все? Ведь меня уж не переделаешь, не вышибешь из башки то, что в семинарии вбили в нее... Да и лучше — спокойнее. Пора и отдохнуть...» Попов даже хотел переехать на другую квартиру, но он любил Троицкого за что-то особенно, жалко было расстаться с тем, с которым он двенадцать лет жил вместе.

Девять часов утра. Попов, одевшись, пошел в почтовую контору. Там спросил у почтальона, нет ли повестки или письма на его имя. Ни письма, ни повестки не было. Попов запечалился и пошел на берег к тому месту, где сидели на скамейке двое приезжих, один в рясе, другой в подряснике, которых по одежде трудно различить, кто они, потому что дьякон и священник носят рясы, а дьячки, пономари и причетники — подрясники. Попов встал невдалеке около них.

— Вы секретарю сколько намереваетесь дать? — спрашивал подрясник.

— Да рублей пять. Столоначальнику рубля три надо.

— А я дак, право, не знаю, что делать.

— Воля божья. — Оба собеседника замолчали и плачевно смотрят на реку.

Попов подошел к ним, снял фуражку и проговорил:

— Здравствуйте, вы откуда?

— Здравствуйте, — сказали собеседники, и оба сняли шапки.

Ряса подвинулась и проговорила:

— Просим покорно. Вы семинарист, если не ошибаюсь?

— Кончивший курс.

— Очень приятно. Что же, место получили?

— Нет еще. Даже не знаю, где вакансии есть.

— Ну, это плохо. Я тоже кончил курс назад тому годов семь, два года ходил в консисторию да в архиерейскую канцелярию: едва нашел. А позвольте ваше имя и отчество?

— Егор Иваныч Попов.

— Очень приятно. Очень приятно!.. Я диакон единоверческой церкви в Крестовоздвиженском селе!

Следуют расспросы об единоверцах и рассказы о них.

— Житья нет. Поэтому хочу перепроситься в православные, хоть бы на причетнический оклад.

По духовному ведомству священник выше дьякона, дьякон выше дьячка, носящего стихарь, дьячок выше пономаря, носящего стихарь, и т. д. Есть священники, отправляющие службу по сану, но получающие доходы наравне с дьяконом, это значит — священник на дьяконском окладе.

— Я, Егор Иваныч, вот уже вторую неделю трусь здесь, сколько денег рассовал, служу я дьячком, надо стихарь. Всего-навсего осталось два рубля да тринадцать копеек, — проговорил подрясник.

Дьякон захохотал.

— Подумаешь, и дело-то пустое: стихарь надо. Сколько в службе?

— Одиннадцатый год.

Дьякон мотнул головой в знак удивления и впился глазами в Егора Иваныча.

— Каково?

— Плохо. А вы где обучались?

— Из причетнического класса исключен.

Дьякон угостил собеседников нюхательным табаком, который Егор Иваныч нюхивал изредка.

— А вот что, Егор Иваныч, поезжайте в Милютинск, там, знаете ли, женский монастырь есть и при нем воспитанницы.

— Знаю.

— Ну, вы сначала к владыке сходите, чтобы он разрешил вам вступить в законный брак с воспитанницей и послал туда указ. А там настоятельница сама изберет вам невесту и место даст.

— Я письмо от отца жду.

— А ваш батюшка кто?

— Заштатный дьякон.

— Что же, невесты там есть?

— У священника дочь годов восьмнадцати.

— Вот и дело. Значит, дело за местом.

— А я бы из монастыря взял, — сказал дьячок.

— А вы женаты, Павел Максимыч? — спросил дьячка дьякон.

— Женат, семеро детей, мал мала меньше...

— У меня тройка... Из монастыря оно, конечно, хорошо, можно в городе место получить, а городское житье не в пример лучше сельского; в особенности в таком городе, как Милютинск.

— Я, пожалуй, не прочь, только бы состояние имела.

— Ну, там, я вам скажу, дадут вам приданое да сто рублей денег, и больше ничего. Да и девица, сказывают, того-с... ненадежная...

— Это плохо.

— А ваша невеста, позвольте спросить, богатая?

— У меня еще нет невесты.

— Полноте шутить! Давече сказали, что у священника вашего дочка есть.

— Да ведь кто же ее знает?

— Делов не имели? — Дьякон захохотал.

— Да как вам сказать: прежде игрывали вместе, но дел никаких не было, в прошлое лето она гостила у тетки, а в третьем годе я здесь в больнице пролежал всю вакацию.

— Больше у священника нет деток женского пола?

— Есть две дочери: одной тринадцать лет, а другой седьмой.

— Недоростки!

Молчание. Дьякон вдруг обращается к Егору Иванычу:

— Знаете ли что?

— Что?

— Вчерась я был в консистории. Смотрю, сторож газету читает. Каково? Сторож газету читает и хохочет... Мне показалось больно смешно, грех те заешь!.. Подхожу к нему и спрашиваю: что, Никифор Иваныч, из Москвы пишут; усмирили ли врагов? Он и говорит: да ничего, так уж больно занятно... Дайте, говорю, Никифор Иваныч, газетки почитать. Нельзя, говорит. Я ему дал двугривенничек — уступил и показал на одно место: вот, говорит, жениха вызывают, и хохочет... Я думаю, что же тут? Ну, надел очки и читаю, и что же, Егор Петрович...

— Егор Иваныч, — подсказал дьячок.

— Извините, Егор Иваныч... Ну-с... На чем, бишь, я остановился?.. Да. Ну, читаю... В Воронежской губернии, знаете ли, в каком-то уезде (я было записал уезд-от, да потерял либо на папироски сжег спьяна), дьякон умер, а у вдовы осталось четыре дочери. Вот она и подала просьбу консистории. Должно быть, кон-

систория не нашла женихов и напечатала цидулку или указ, как там по-светскому — не знаю, кто-де девицу Анну двадцати двух лет, то есть сестру старшую, возьмет замуж, за тем и место останется... Каково? Благая мысль. Вот мы живем в захолустье и ничего не слышим, а здесь все можно узнать. Благая мысль. Махните-ко! А?

— Далеко.

— А сколько верст?

— Да верст тысячи две.

— У-у! Экая даль, господи помилуй!

— Я мекаю, поди, туда много женихов-то наехало, — заметил дьячок.

— В экую-то даль?

— А своя-то губерния?

— Точно, точно... Ваша правда, Павел Максимыч.

Чтобы удостовериться в том, как скоро знакомятся духовные между собою, духовные, не видавшие друг друга никогда и живущие друг от друга на расстоянии 200—500 верст, нужно зайти в крестовую церковь или кафедральный собор во всенощную или к обедне, когда служит архиерей. Тут собраны лица духовного ведомства почти со всей губернии. Тут вы увидите протоиерея в камилавке и с наперсным крестом, монахов, снимающих свои камилавки, скуфьи и клобуки во время главных молитв, славословий и священнодействий, священников (которых можно отличить по крестам 1853—1856 годов), дьяконов, или, проще, лиц личного дворянства духовного ведомства, и подрясниковых — дьячков, пономарей и причетников. В церкви их человек двадцать. Они знакомятся так.

Подходит священник к протопопу и становится рядом. Священнику хочется свести знакомство с прото-

попом для того, чтобы прозреть, каковы там места. Но как заговорить с протопопом?.. Священник вынимает табакерку, щелкает пальцами по крышке и крякает... Знай, мол, наших!.. Протопоп оглядывается в сторону священника. Священник раскрывает табакерку и говорит:

— Не желаете ли-с?

— Пожалуй! — Протопоп берет в два пальца табаку и нюхает. Знакомство началось.

— Вы откуда? — спрашивает протопоп. Следует ответ. — Зачем, почему, ну как? — Дальше приглашение прийти на квартиру...

Если протопоп брезгует табаконюханьем, то священник начинает атаку иначе. Он слегка толкнет протопопа, будто нечаянно, потом скажет: извините-с! Посмотрит на протопопа и скажет заискивающим голосом:

— Вы, отец протопоп, давно здесь? — После ответа следует опять вопрос: «зачем?» И — «ну, а как дела?» — После ответа: «как сажа бела», — следует приглашение.

У священников, дьяконов, дьячков и прочих обращение иное. Священник боится подойти к протопопу: кто его знает, кто он такой, а однорясники обращаются запросто, потому что священника трудно различить от дьякона, если он не имеет знака отличия. Тут знакомство начинается так:

— Мое почтение! (Следует дерганье за рясу.)

— Мое вам...

— Издалече?

И прочее.

У дьячков и прочих придаточных еще проще: — Ты откуда? — Оттуда. — Перепрашиваться? — Да. — А я стихарь хочу получить. — Шиш получишь. — Приезжий сразу видит своего брата приезжего, знает, что как он сам, так и собрат его приехали по нужде и церемониться нечего, во-первых, потому, что душу отведешь с сель-

скими людьми, а во-вторых, что от них можно узнать: нет ли где хорошего места.

В церкви много толковать нельзя. В церкви хотя и знакомятся, но знакомство это ни к чему не ведет, хотя и обещаются с обеих сторон угощения. Знакомство в консистории и в архиерейской прихожей доходит даже до дружбы, до одолжения деньгами. Чтобы потолковать, приезжие толкуют где попало, а больше на квартирах, где непременно угощаются чаем и в особенности водкой.

Егор Иваныч с дьяком и дьячком пошли в консисторию. Там, в прихожей, называемой коридором, что называется — содом и гомор. Человек двадцать разнокалиберных лиц, в разнокалиберных костюмах, с палками и без палок, с разноцветными кушаками, поясами и просто опоясками. Говор непомерный — и басы, и теноры, и дискантики, и прочие не описанные, но натуральные голоса переливаются в прихожей вместе с кашлем, кряканьем, которым редкий из духовных не одержим, начиная с словесности, и сморканьем. Сторож в военной форме сидит на диване и, посматривая то на того, то на другого, ухмыляется. Он дестевой зашивает [1].

— Верно, мы с носом? — говорит протопоп протопопу, сидя на диване.

— Я жаловаться стану.

— Ну, наши жалобы ко вреду нашему последуют.

— Это досадно, целый час члена нет. На ваших который?

— Да двенадцатый, поди... — Протопоп вынул часы из-за пазухи, посмотрел и сказал: — Без двенадцати двенадцатый.

— Как подошло-то?

---

[1] Дестевым называется казенная посылка — книги или бумаги — в 2—5 фунтов, зашитые в холст.

— Аккуратно. — Оба смеются.

— Владыка ничего?

— Ты, говорит, не печалься. Сына твоего знаю, говорит... А вам?

— Отчего, говорит, ты тут не живешь? Я и говорю: ваше высокопреосвященство, народ ныне тут хуже стал, никакая речь не действует, даже с крестом не стали принимать...

— Поди-кось!.. Это правда, отец протопоп. Народ нынче совсем развратился, развратился так... Жалко! — И говоривший это сделал такую гримасу, что, несмотря на бороду и небольшую не заросшую волосами часть лица с носом и глазами, слушавший их бедный дьячок подумал, что протопопа или владыка пугнул, или у него только живот крепко болит.

— Ну-с, а владыка на это как рек? — сказал протопоп.

— Ну, я и говорю ему: не могу я жить в этом городе, лучше, говорю, в губернский переводите. Он и говорит: об этом я подумаю...

— Я слышал, вас представили к наперсному?..

— От кого изволили слышать?

— Слухом земля полнится, отец протопоп. Говорят, будто скоро надевать его на вас станут.

— Ой, вздор! Ох, неправда! Вот что значит: какие у меня недоброжелатели!

Протопоп протопопу или священник протопопу, и наоборот, ни за что не скажут правду: зачем они приехали в город. Зачем приехали — знают члены и секретарь консистории, эконом архиерейский и сам владыка; хотя же знают и семинаристы-богословы, и приезжие священники, и прочая мелюзга — так разве хозяева, у которых они остановились, подслушав разговоры их с секретарем, «разгласили», и сами приезжие на воле с своими детьми калякают, рассказывают им. Говорят

люди, что они таят причины приезда до поры до времени, по личным причинам, по зависти.

Дьяконы и дьячки кричат:

— Ну-ка, отец дьякон, дай-кось табачку понюхать!

— Маловато.

— Ну, ну, нечего отнекиваться-то! У тебя, я знаю, хорошее ведь место.

— Вот за это слово я тебе и не дам. Шиш получишь! — И дьякон отходит прочь.

— Да что это, господи помилуй, как долго? — говорят человек шесть.

— Эй, сторож, впусти! — просит сторожа священник.

— Пущать не велено.

— Как не велено?

— Не велено, и все тут.

Протопопы ушли в канцелярию. За ними пошли и священники. Сторож вмиг подбежал к дверям и стал посереди их.

— Отчего ты не пускаешь?

— Не велено.

— Почему?

— Говорят, много всяких шляется. Отцом Антоном не приказано... Вот тут надпись была приклеена, да из вашей братьи кто-то оборвал.

— Ты нам кого-нибудь пошли оттуда.

— Кого я пошлю! Вон столоначальник-то, Гаврилов, трои сутки без просыпу пьет и дома, что есть, не живет, ищи его — с семи собаками не сыщешь.

— Ты писца пошли али помощника.

— Есть когда мне посылать. У меня делов-то и без вас вон сколько! — Сторож указал на угол, в котором лежали книги.

Один священник дал сторожу двадцать копеек.

— Как ваша фамилия?

— Документов.

Сторож ушел в канцелярию и через две минуты воротился, сказав, чтобы священник шел за ним.

Столоначальник в это время был в консистории; не пускать к нему не в известное время — был каприз и сторожа, и самого столоначальника. За десять и двадцать копеек просители были вводимы в канцелярию или к ним выходили писцы и удовлетворяли их. Выходившие шептались со стоявшими у дверей в канцелярию.

— Ну что?

— Десять человек на одно место.

— Врешь?

— Вот те Бог!

— А я было хотел на это же место проситься... Дак куда теперь думаешь?

— Не знаю. Спрашивал места — завтра велел прийти, записал фамилию.

— Сколько дали?

— Три рублика.

— Экая прорва! Ведь эдак ему сколько надают! А у секретаря не были?

— Нет... Там член сидит да протопопы.

— А я указ получил... Вот он! — говорит весело выходящий дьякон.

— Поздравляем.

— Покорно благодарю. Пожалуйте ко мне на закуску.

— А где ваша квартирка?

— Вместе пойдемте... Вот он, указ-то. Думаете, дешево стал? Двадцать четыре целковика... Зато место, говорят, такое хлебное...

— Ну, и слава те господи!

Сторож подходит к дьякону с указом и поздравляет.

Дьякон дает двадцать копеек. Половина тершихся в коридоре уходят за дьяконом.

Егор Иваныч вошел в канцелярию и подошел к столоначальнику.

— Что скажете?

— Позвольте вас побеспокоить...

— Ну-с... Вы кто такой?

— Я только что кончил курс богословия по первому разряду.

— В священники или диаконы хотите?

— В священники.

— Священнические места все заняты.

— Я слышал, что в Куракинском уезде много мест священнических.

— Надо справиться...

— Пожалуйста... Отец у меня бедный, я тоже бедный.

— Теперь мне некогда.

— Когда прикажете прийти?

— Через недельку.

— Мне не на что жить здесь.

— Вы вот что сделайте, — сказал другой столоначальник. — Подайте просьбу владыке, он напишет резолюцию, чтобы мы представили ему справку, а между тем понаведывайтесь.

— Очень хорошо. Только я не знаю, как составить просьбу.

Через четверть часа Егору Иванычу дали лоскуток бумаги, на котором была написана форма просьбы. За это сочинение с него попросили денег, Егор Иваныч отдал последние двадцать копеек. Зато он пришел домой очень обрадованный.

Дома никого не было. Поэтому Егор Иваныч отправился к богословам — Клеванову, Попову, Панкратьеву, живущим на одной квартире. У тех кутеж.

— А! Егор Иваныч! — приветствовали Егора Иваныча товарищи.

— Это, отец Семен, наш однокурсник, первого разряда.

— Очень приятно! Имею честь рекомендоваться, Патрушинского уезда Егорьевской церкви священник Семен Павлович Мухин. — Священник подал руку Егору Иванычу.

— Давно изволили приехать, отец Семен?

— Сейчас, сию минуточку.

— А зачем приехали?

— Антиминс надо получить. Указ получил из консистории.

— Ну, вы, отец Семен, не скоро отделаетесь от консистории, — сказал Панкратьев.

— Как-нибудь. Пожалуйте, Егор Иванович, водочки.

— Я не пью-с.

— Ну-ну. Надо привыкать-кавыкать.

— Он у нас фаля какая-то. Все учил да учил лекции.

— Похвально. А ничего, попробуйте! — Священник выпил свою рюмку.

Егор Иваныч выпил и закусил. Стали обедать. За обедом шел разговор о домашних священника Мухина, о местах и невестах.

— Как вам сказать... В нашем уезде мест-таки много есть. В Знаменском селе дьякон переведен, и место ёще не занято.

— Да мы в дьякона не пойдем, — отозвались кончившие курс семинарии.

— И не стоит. Священнику лучше житье. Вот бы, к слову, я. Я теперь старший в селе, а служу-то всего четыре года и бороды еще не отрастил. Ну, сначала под началом был, да как того перевели в другое место, я и стал старшим, потому что другой-то священник кон-

чил курс по второму разряду и восемь лет служил дьяконом. Жить можно. Умей только с приходом обращаться. Теперь училище я тоже к себе забрал, по пятнадцати рублей в месяц получаю.

— Так у вас нет поближе к вам местов?

— Как нет! В городе две священнические вакансии; в Моховском заводе священник на этой неделе умер; в Тимофеевском, говорят, под суд попался.

— Вот и дело. Значит, на всех четверых места есть.

— Надо только, господа, не зевать. Завтра же пишите прошения и подавайте владыке.

— А мне обещались сказать, где есть место, — сказал Егор Иваныч.

— Ну, на них вы не надейтесь. Ведь они знают, что вы человек бедный, и скажут такое село, где кроме жалованья вы ничего не получите. А у нашего брата расходов пропасть. Благочинному надо дать; за метрики надо в консистории двадцать пять рублей каждые полгода, а как власть приедет?.. Беда.

— Которые же из этих лучше?

— В Моховском лучше всех. Да туда мой тесть хочет перепрашиваться, чуть ли уж и прошение не послал.

— А ваше село каково?

— Ничего. Народ, знаете, только бедный.

— Ну, а насчет невест не знаете?

— Да у отца Петра Колотушинского, в Крестовоздвиженском, две дочери.

— Стары?

— Одной двадцать четыре, а другой девятнадцатый год. Он ничего, зажиточный.

— Отчего же они засиделись?

— Видите ли, дело в чем. Он уже выдал двух дочерей; та, которой двадцать четыре года, больно некрасивая и к тому же хромая; а у этой бельмо на одном глазу. И рад бы спихать — никто не берет.

— Да кой черт эдаких калек возьмет?

— Ну-с, у моего тестя есть дочка, Глафира Сидоровна. Ничего, красивая. Годов шестнадцать.

— Никто не сватается?

— Прикащик заводский сватался, да не отдает.

Всем захотелось, каждому особо, жениться на Глафире Сидоровне.

— Так как, отец Семен? — спросил Клеванов.

— Что?

— Насчет невесты-то?

— Хотите, сосватаю?

— Куда ему с его рылом соваться! — сказал Попов-второй. — Лучше мне сосватайте.

— Вы, господа, лучше, прежде всего, места найдите, а за невестами дело не станет. Не нашедши места, нельзя жениться.

— Хоть бы старуху какую, только бы место получить за ней, — сказал Клеванов.

— Плохой вы знаток в этом случае. Вот здесь, поди, сколько невест-то!

— Невест много, да и развратниц немало, — сказал Егор Иваныч, — мещанку брать не стоит, потому что необразованна и бедна, из военного сословия брать не дозволено, купчиха не пойдет, а чиновницы — франтихи, заважничают скоро.

— Да, плоховато. А ведь, я думаю, у владыки есть просьбы от вдов?

— Как, поди, нет.

Долго Егор Иваныч сидел у приятелей, и беседа шла все в этом же роде. Дома Павел Иваныч отдал ему почтовую повестку, в которой значилось, что Егору Иванычу следует получить восемь рублей серебром.

— Ты, Егор, наперед получи письмо, а потом уж и подавай прошение, — сказал вечером Троицкий своему товарищу. — А я, брат, уже подал прошение вместе с

десятью человеками, которых ты знаешь. Я, Илюшка Спекторский, Иван Бирюков, двое Кротковы едем в университет; впрочем, Бирюков в медицинскую академию хочет, Петрушка Кротков не знает куда. Ему, видишь ты, хочется и в духовную академию, вероятно, в архиереи метит. Я, говорит, жениться не буду.

Егору Иванычу жалко стало Троицкого.

— Ты, Паша, не езди...

— Нельзя. Век нянчиться с тобой невозможно. А если я и буду жить с тобой, то я не хочу, чтобы ты в метриках писал... Ты, пожалуй, сердиться после будешь на меня... Нет уж, Бог с тобой, не стану тревожить твои мозги; живи себе на потребу и на пользу людям... Ты будешь приносить пользу обществу легким трудом, я также буду приносить пользу, только мой труд, может быть, тяжелее твоего будет...

— Не хвастайся.

Троицкому обидно сделалось, но он смолчал и ушел из дому на всю ночь. Егор Иваныч всю ночь не спал. Ему хотелось скорее получить письмо, узнать, что пишет отец про его невесту, Степаниду Федоровну, жениться, получить место, посвятиться... И при всем этом переборе мыслей, при представлении всего этого по частям и вообще сердце стучало, чувствовались какая-то радость и какой-то трепет.

— Помоги мне, господи! — шепчет Егор Иваныч, глядя в угол и на небо, и чувствует в это время, что он весь предался этой молитве, точно голову его приподняло кверху, душа куда-то возносится со словами: господи помоги! — Буду я тебе верный слуга и добрый пастырь. — Но тут же Егору Иванычу опять представляется настоящее положение, консистория, женитьба, дети, и прокрадываются какие-то нехорошие мысли...

Почтовые конторы выдают деньги семинаристам не иначе как по сделанным на повестках удостоверениям семинарского начальства, как то: подписи ректора или инспектора и скрепы письмоводителя и с приложением печати семинарского правления. Утром Егор Иваныч отправился в семинарское правление. Василий Кондратьич, письмоводитель правления, был дружен с Поповым и не задержал повестку. Он даже сам снес ее к ректору для подписи, но скоро воротился.

— Ступай, тебя ректор зовет.

— Зачем?

— Не знаю. Только смотри не робей да замолви об месте: он любит, чтобы его просили.

Егор Иваныч пошел к ректору. Ректор пил чай с ромом. Егор Иваныч подошел под благословение к ректору и отошел к дверям, дрожа всем телом.

— Ну, Попов, что скажешь? — спросил ректор, лукаво и строго глядя на Егора Иваныча.

Егор Иваныч не знал, что сказать на такой вопрос, и переминался с ноги на ногу, поправляя то галстук, то засовывая левую руку за глухо застегнутый сюртук.

— Не хочешь ли и ты сделаться скотом бессмысленным, подобно тем десяти болванам?

— Никак нет-с, ваше высокопреподобие.

— Никак нет-с... Что же? Я держать не стану. Худая трава из поля вон.

— Я никогда не думал выходить из духовного звания, ваше высокопреподобие.

— Отчего же бы и не выйти? Жизнь веселая, разгул, разврат. А там что?

— Там ад.

— Что же, и хорошо! Мы вас учили, все старания употребляли на то, чтобы вы были истинными, достойными сынами нашей церкви, подготовляли вас к пастырской обязанности, а вы за все это злом нам отплачи-

ваете... Ох, злые плевелы! Будете каяться, да после смерти несть покаяния.

— Ваше высокопреподобие, я никогда не увлекался этими людьми, хотя они и старались всячески совратить меня.

— А Троицкий?

— Он только жил со мной на квартире; и вот вам доказательства, что я вышел вторым по первому разряду и, не слушая его советов оставить духовное звание, с нетерпением жажду получить сан священника.

— Я забирал о тебе, Попов, сведения частным образом, и мне говорили о тебе в последнее время, что ты исправляешься. Дай Бог! Это доказывают твои задачки. Можешь ли ты быть священником?

— Могу.

— Я бы попросил владыку послать тебя в духовную академию вместе с Кротковыми, но Кротковы исключаются по прошению их отцов; за это им будет выговор от владыки яко за совращение юношей. Тебя же я боюсь послать, потому что ты закружишься в большом городе, совратишься и уйдешь туда же, куда уходят и прочие болваны.

— Я, ваше высокопреподобие, не желаю учиться.

— Конечно, если бы ты по окончании курса получил магистра, ты в духовном звании мог бы быть и епископом.

Ректор отдал Егору Иванычу повестку, уже подписанную им.

— У тебя отец богатый?

— Нет-с, он заштатный дьякон.

— Стало быть, и надо призрить отца. Может быть, и у тебя будут дети, тогда сам узнаешь, каково это бремя.

— Я батюшку никогда не забуду. — Егор Иваныч подумал: что это он сегодня размазывает?

— Ваше высокопреподобие! — приступил Егор Иваныч к ректору. — Позвольте побеспокоить вас насчет места.

— В этом деле я едва ли могу быть ходатаем.

— Я справлялся в консистории, но там ничего мне не сказали, а на эти восемь рублей я ничего не сделаю.

— Терпение, сын мой.

— Ваше высокопреподобие, мне надо за квартиру платить, есть нужно.

— Позанимайся в консистории.

— Не могу.

— Почему?

— Там даже сторож берет с бедных причетников за то, чтобы он вызвал столоначальника или писца.

— Об этом судить не твое дело. Впрочем, я подумаю.

— Когда я могу надеяться получить милостивый ответ вашего высокопреподобия?

— Зайди ко мне часу в первом. В двенадцатом я пойду к владыке и переговорю с ним.

— Прошения подавать не прикажете?

— Ах да! Поди в правление, напиши и отдай мне. Только послушай, Попов: я тебе делаю великую милость, единственно из любви христианской. Если ты будешь замечен в чем-нибудь, тогда ты не сердись на меня... Иди.

Егор Иваныч бегом пустился по коридору в семинарское правление, крестясь и говоря: «Слава Богу! Слава Богу! Ну, теперь пошла!.. Экое счастье!»

Действительно, Егору Иванычу повезло, и повезло оттого, во-первых, что из 23 богословов, кончивших курс, 10 подали просьбы об увольнении из духовного звания, что слишком взбесило и ректора и высшую власть, а не уволить их не было никакой возможности,

так как богословы могли или жаловаться губернатору, или — чего доброго — прибегнуть к гласности, и, во-вторых, ректор любил Попова за скромность и в это утро именно думал о нем: что-то будет с этим лицемером? Если он уйдет, то и все уйдут в светские... Ректор даже дошел до того: что, если все семинаристы каждый год будут выходить в светские? Кто же будет священниками и диаконами? Не будь эдаких мыслей и того, что надо бы всех скрутить да определить на места, Егор Иваныч прождал бы места года два и, пожалуй бы, вышел в светские, что случалось и случается теперь. Егор Иваныч — исключение; но духовное начальство, по крайней мере, так должно бы поступать: если кончившие курс богословия желают получить места священника или дьякона, то в тот же месяц и посвящать их в эти должности, а то начальству никакого нет дела до кончивших курс. Сам студент ходит в консисторию, выпрашивает места, тратит деньги, голодая без занятий, просит архиерея; но у архиерея просьб много, на одно место бывает 5—10 просителей, большей частью перепрашивания дьяконов во священники, дьячков во дьяконы, и на этих господ больше обращается внимания консисторией, куда сдаются их прошения, и они скорее получают места, потому что каждый день трутся то в консистории, то в прихожей у власти, и, имея деньги, получают места и звания те, кто больше даст письмоводителю, эконому, секретарю консистории, столоначальникам, — тогда как студенты, не имея денег, за дьяконским местом ходят по консистории год, а прежде и пять лет ходили.

Теперь другой вопрос. Священник и дьякон не могут быть холостыми. Этот закон установлен, вероятно, потому, чтобы размножить духовное сословие. Благодаря этому закону и праздной жизни этого сословия, детей действительно много размножилось. У редкого священ-

ника или дьякона нет детей мужеского и женского пола. Кроме священников и дьяконов есть еще пономари, причетники и дьячки, большая половина которых тоже женатые, и у редкого из женатых нет детей. Плодовитость этого сословия всякому известна; редкий из белого духовенства не жалуется, что у него куча ребят, и эта-то куча ребят поедом ест бедного отца. В каждой семинарии, положим, средним числом учится 500 человек юношей, да в духовных уездных училищах и в уездных городах до 300 мальчиков в каждом училище, да в домах еще есть один или два ребенка мужеского пола. Вдовец дьякон или священник снова жениться не могут, хотя бы и желали иметь жену для детей, прижитых от первой жены. Вдовец или должен идти в монахи, или жить тише воды, ниже травы вдовцом на старом месте, или же выйти в светские. В первом случае дети призреваются начальством, или остаются на попечении родственников, или, в особенности девицы, когда нет родственников, поступают в монастырь, оттуда редкие выходят замуж только за духовных, а большая часть (если не убегают из монастыря) остаются монахинями... Стало быть, самое главное для ставленника — это женитьба. Егор Иваныч прав, сказавши, что из городских очень трудно выбирать невест.

Искать невест в губернии — дело довольно трудное. Сыну городского церковнослужителя легче найти невесту в городе, у своего же брата или у чиновника, а не то у сельских. Сельские часто переходят с места на место, то есть уезжают, и дочери выдаются замуж почти что за первого попавшегося жениха из духовного звания, смотря по тому, стоит ли жених невесты: пономарская дочь выходит за пономаря, дьячка и дьякона, дьяконская — за дьякона и священника, протопопа; если бедная, то и за дьячка или за светского чиновника, а таких девиц, с которыми бы семинарист рос, очень

мало, потому что отцы не всегда уживаются на одном месте, да и семинаристу нужно богатую невесту.

Положение женщины в этом сословии незавидное. Каждую девицу уже с восьми лет называют невестой, копят на нее приданое, то есть пух на перину и подушки, белье, холст, деньги. Сама девица тоже знает, что она должна будет выйти замуж за священника или дьякона, и в этих летах бессознательно готовится к этой участи. Жена сельского священника или дьякона, взятая из села же, прежде готовилась к хозяйничанью, к воспитанию детей. Первый год супружества идет хорошо, она, что называется, как сыр в масле катается: муж ее ласкает, крестьяне и крестьянки любят и называют ее матушкой, хлеба много, прислуга есть. Ходит она всегда довольная, румяная, здоровая. Рождается ребенок. Вся забота матери теперь заключается на ребенке: она сама кормит его грудью, сама качает зыбку с ребенком, моет его, а хозяйственные обязанности предоставляются мужу, или свекрови, или матери, смотря по тому, кто из старших родных живет с ней. Через год опять ребенок. Первый ребенок идет на руки к родным женщинам матери, а сама мать нянчится с другим ребенком. Через год опять ребенок. Первый ребенок уже бегает, кричит *тятя, мама, бука* и прочие слова, усвоенные им от частых произношений родителями и родными. Мать начинает тяготиться детьми, то есть она уже охладела к ним, ей нет покоя от них ни днем ни ночью, они кричат, ревут, капризничают, и так все идет три года и будет идти еще, может быть, долго. Ее ужасает эта обуза, но она все-таки нянчится с последним ребенком, предоставляя первых на произвол родни. Мать этой матери, старушка, всегда бывает добра и нежна с детьми. Она их любит потому, что представляет себе их такими же, какою была ее дочь, теперь мать их. Поэтому дети всегда любят бабушку и перенимают от нее

ее понятия. Но всегда оказывается, что у бабушки очень немудреные понятия. Она только хорошо знает, как щи сварить, как посмотреть за огородом, где кринка с молоком на погребе стоит, да с крестьянина Максима надо бы получить долгу: малёнку[1] овса, лукошко яиц. Но бабушка большей частью хозяйничает, бегает по селу; а как бабушки не везде бывают, то ребенок растет также под влиянием тетушек, сестричек, которые его бьют, ругают, ставят на колени и подвергают различным искусам. Шести- и семилетних девушек отец или мать учат читать по церковной азбуке, писать. Наука заканчивается тем, что девушка умеет шить, приучается стряпать, знает, как нянчиться с детьми, умеет читать церковную и гражданскую печати, плоховато писать — крупными каракулями. Светские книги не водятся у родителей, они запрещены самими родителями, да и в селе негде взять книг. Девушка воспитывается в страхе божием: боится родителей, делает все, что они прикажут, ходит в церковь и сидит дома, потому что гулять по селу не в моде, в гости ходить, кроме священника, дьякона, станового (если он есть) да волостного головы, не к кому. Двенадцатилетняя девушка выглядывает пятнадцатилетней. Она помогает стряпать, возиться с ребятами, редко играет в куклы и плетки, присматривает за хозяйством, шьет, моет и становится почти что полуработницей и полухозяйкой в дому и полуженщиной. Все ее удовольствие заключается в том, что она может с подругами попеть светские песни, получить похвалу от родителей за то, что при гостях вела себя не очень застенчиво, сходить с подругами и сестрами в лес по ягоды и по грибы, покосить траву на покосе. Ей хочется простору, но ее тяготит домашняя об-

---

[1] Малёнкой называется дуплянка (то есть выдолбленное сосновое или липовое дерево наподобие кадки), в которую входит пуда три или четверик муки, овса или крупы.

становка, обязанности не по силам, буйный характер отца. Всякий знает, что духовенство любит выпивать, даже в монашеском быту. Редкий семинарист не пьет в кругу товарищей. Отчего же не пить и после? Наш народ любит выпивать, крестьяне большей частью сближаются со священниками посредством водки. Непьющий священник может угодить крестьянам в таком только случае, когда он угостит их на славу, так, что все село сразу полюбит священника. Если священник, положим, непьющий, не угостит крестьян ни разу в год, крестьяне станут оказывать ему уважение снятием шапок, принесением долга натурой, но в душе будут бояться его; у них явится недоверие к нему; они будут тяготиться им и назовут гордым, кроме того, всячески будут следить за его домашнею жизнью. Хороший священник непременно угощает крестьян и волей-неволей должен пить с ними. Положим, священник не пьет год. На другой год ему скучно, он не знает: что бы ему делать? Читать светские книги он не может, потому что их негде взять, да он, пожалуй, и читать их не станет. Он начинает входить в апатию; ему надоедают и жена и дети. Он привыкает пить водку перед обедом и ужином, после которых спит. Водка ему идет на пользу, и он усиливает порции...

Девушка знакома с обществом своего села. Она знает, что в селе каких-нибудь пять человек из мужчин не пьют водку. Ее мучат сцены матери с отцом, она понимает, что это гадко, и думает: неужели и муж мой будет пьяница? Она плачет... Плачет потому, что знает, что ей непременно следует выйти замуж.

Что такое любовь, девушка понимает так, как ее научили понимать любовь: выйти замуж по закону, жить с мужем, угождать мужу, родить детей, воспитывать детей... Жена знает, что она у мужа нахлебница, что она без мужа ничего не сделает, потому что ей прав

никаких не дано, да она и сама считает себя рабой мужа, как ее научили по священному писанию.

В вакации, в зимние каникулы в село приезжают семинаристы и ученики духовных уездных училищ, дети священников, дьяконов и дьячков. Мальчики и юноши ведут себя смирно, застенчиво. При встрече с девушкой смотрят в землю, краснеют, девушка тоже. Семинарист о любви не знает, он только знает: «она красивая». Он знает еще и то, что ему еще долго учиться, и Бог знает, что тогда будет, и о женском поле он не мечтает, благо и кроме женского пола много удовольствий, как то: рыболовство, лазанье по деревьям, грибы, ягоды, спанье на свежем воздухе, еда всласть. Приглашают семинаристов и в те дома, где есть взрослые девицы, приглашают ради новостей губернских, поят чаем и красной водочкой; но приглашают в отсутствие девиц, зная, вероятно, что он еще ученик и ему еще много учиться, да и при девицах семинарист ведет себя застенчиво: смотрит в пол, или на отца-священника, или на матушку, а девица смотрит на него и думает: «Мой муж должен на тятеньку походить...» А тятенька-то весь бородой оброс. Вот она, любовь-то семинарская!..

Встречаются иногда юноши и девицы в лесу, когда собирают грибы и ягоды, но девицы бегут прочь, а юноши стыдятся того, что встретились с девицами. Семинарист знает, что девица их звания выйдет замуж за духовного, но теперь он боится с ней говорить, зная, что он вовсе не жених, так как ему до окончания курса еще пять лет, да у него и худой мысли нет. «Нельзя, — думает он, — грех...» Девица держится под страхом родителей. По приезде семинаристов — «Слышишь, девка, — говорит ей мать, — как встретишь ты шалопаев, беги от них. Иначе всю шкуру тебе сдеру!» — и девушка боится переступить этот закон. Девушка знает, что ей с пономарским сыном знакомиться не следует, и

дьяконские дочки с пономарскими сынками видятся только из окна в окно...

Городские дочери немного развитее. Но там отцы еще строже, и гости-семинаристы бывают реже. Там ждут женихов, что называется, хороших, то есть академистов, лиц, у которых отцы имеют вес в губернском городе.

Свадьбы бывают так. Семинарист, узнавши, что там-то есть невеста богатая, приезжает в село к дьячку или пономарю. В селе все вмиг узнали, зачем приехал студент, и знает, конечно, невеста. К матери невесты посылается сваха, которая выпрашивает приданое. Через день смотрины. Девица никогда не видала этого мужчину, он ей не нравится, но она должна согласиться выйти замуж за него, потому что он будет дьячком или священником и родители приказывают. Через день обрученье, а через неделю и свадьба. Коротко и ясно... Впрочем, на свадьбах весело, но только не невесте. Ну, а там пойдет и весело, и скучно...

Получивши письмо и деньги, Егор Иваныч в конторе же прочитал письмо. Вот что писал отец его:

«Дражайший мой сын, Егорушка!

Письмо твое, от 18-го июня сего года, мною полученное 3 июля, я прочел с полнейшею радостию и исполнился неописанною радостию. Слава создателю, царю небесному, что благополучно все обошлось и ты кончил сей термин. Ничего, Егорушка, не дремли... Терпение и труд все перетрут — пословица говорится. Поступишь на место — возблагодаришь творца и мне спасибо скажешь: не дураком, мол, меня отец сделал. Глаза на старости лет, как стану умирать, закроешь... Ах, Егорушка! Старость не радость, здоровье слабо. Хочешь сходить к заутрени в храм божий, немочь дьявольская претит, добро бы каждый день заутрени были, а то в две недели раз бывают, а всенощные редко. Ты знаешь. Скука, Егорушка. Жду не дождусь, когда ты в священники посвятишься.

Посылаю тебе, Егорушка, мое родительское благословение. Делай ты, Егорушка, по закону божию; бойся со страхом и трепетом царя небесного! Им же вся быша и без него ничего же есть.

Местов у нас нет, а тебе, знаю, в город хочется. Дай Бог, дай Бог, Егорушка. Хлопочи. Я ужо продам домишко, сам приеду к тебе да Петруху захвачу с его женой, пусть порадуются на красного сокола. Какую же ты рясу-то сошьешь? Чай поди, еще волосы не отросли. А ты послушай меня, старика, волосы-то деревянным маслом мажь — скорее отрастут. Не мешает и подбородок брить. Знаешь, благообразнее как-то.

Отец Феодор тебе кланяется и тоже неописанно радуется. Стефанида Феодоровна кланяется. Она 2-го числа июля сочеталась законным браком с нашим становым приставом Максимом Васильевичем Антроповым. Старенек он, 56 годков, да ничего, богат больно.

Прощай Егорушка. А невесту будешь искать, ищи богатую. А как найдешь, напиши мне, и я старые кости к тебе привезу. Буди на тя благословение мое от ныне и до века.

Твой отец Иоанн Попов».

Письмо это поставило в тупик Егора Иваныча. Дело в том, что он последние два года надеялся жениться на Степаниде Федоровне. Она ему очень нравилась, хотя разговоров между ними было очень мало, а о любви и заиканья не было. Досадно сделалось, что его воображаемая невеста замуж вышла за старика, станового пристава.

Старику отцу в селе делать было нечего. Служил он в церкви по охоте, пенсион получал небольшой, с пашни и покосу тоже мало приходилось. Жена умерла назад тому два года; сын Петр дьяконом за сто верст, дочь Анна тоже замужем, в этом же селе за пономарем, от которого ему житья нет, потому что пономарь пьет и ворует у него деньги. Делать положительно нечего. Зимой весь день или лежит, или возится с детьми дочери, поет ирмосы и разные каноны и ребят заставляет петь. Летом весь день на улице. Встанет

в пятом часу (а он спит в сарае), пойдет на двор, подметет, приберет кое-что и выйдет на лужайку — греется против солнышка. Долго сидит старик, мурлыча охриплым старческим голосом песни, глядя куда-то вдаль и изредка понюхивая табак. Убаюкает старика солнышко, согреет, и заснет старик, растянувшись по мягкой траве. Подойдет к нему корова, лизнет его лицо или руку, высунувшуюся из-за халата, накинутого на плечи, лизнет своим жестким, как терка, языком, проснется старина, приподнимется, перекрестится и скажет: тпрука! тпрука! тпруконька! э, матонька!.. Погладит рукой по ноге корову и опять ляжет. Увидев крестьянина, крестьянку, или мальчика, или девушку, он непременно подзовет их к себе и начнет калякать. В особенности он ребят любил, до того, что в бабки с ними игрывал, почему все с ним обращались запросто и от семилетнего до сорокапятилетнего все называли «дедушкой». Увидят ребята, что на завалинке стародьяконского дома нет старого дьякона, и говорят: дедушка нездоров, — и бегут наведаться к нему, но их гоняет со двора муж Анны или сама Анна. Увидят дедушку на завалинке и кричат:

— Дедушка! Дедушка! Хошь в бабки?

— Не могу, ребятки, спину разломило.

— А по грузди пойдем?

— Ноженьки болят.

— Пойдем, дедушка! Пойдем...

И обступят его человек двадцать молодого поколения. Дедушка никогда не отказывался от путешествия по грибы и ягоды. Ходит, бывало, с ребятами целый день, ничего не насобирает по слепоте. Ребята смеются над ним и насобирают ему наберуху и дотащат ему наберуху до села. Но главное удовольствие старика было — игра в шашки. В шашки умели играть волостной писарь, сборщик податей, голова и двое богатых кре-

стьян. Игра производилась с четвертого часа пополудни на улице, перед домами, и продолжалась до темноты. За игрой старик весь оживал, делался боек, разговорчив, смеялся, передразнивал.

— Я те, собаку, запру в гнилушку — и не выскочишь. Матрену позовешь — и та никоим образом не вытащит, хоть сто вервей иностранных подай.

Бахвалится старик, а прочим любо. Играющих обступали женщины, мужчины и дети.

— Не застуй! Не застуй! — ворчит старик. — При свете-то ему стыднее в гнилушку попасть.

Все смеются.

Если противник его попадается в гнилушку, старик хохочет во все горло.

— Что? Каково? Нат-кось скушай! Чем пахнет?.. А я, погоди, тебе задам двенадцать с кисточкой.

Если его самого запрут, старик сердится и ругает глазеющих.

— Это все от вас божеское напущение!.. Одна курва между вами есть, сглазила.

Все хохочут. Голова или противник тоже дразнится. Старику еще хуже; стыдно ему, а оправдаться нечем.

— Ничего, — говорит он, — это я так, для развлеченья. Теперь я задам...

Но однообразие сельской жизни надоело старику; ему хотелось ехать в другое место, и он ждал только случая жить с Егорушком, которого он очень любил. Петруха был пьяница, и жена его капризливая, поэтому он не мог жить у них более двух недель.

Егору Иванычу ничего не оставалось больше делать, как искать невесту где-нибудь. Но от кого он узнает, где невесты? На товарищей надеяться нечего: они сами себе ищут невест. Осталось одно — прибегнуть к совету ректора.

В первом часу Егор Иваныч отправился к ректору.

— Ну, Попов, много ты мне наделал хлопот. Его высокопреосвященство долго не соглашался заместить тебя на священническое место, однако я уговорил его.

— Покорнейше благодарю вас, ваше высокопреподобие.

— Прошение твое он оставил у себя и обещался назначить тебя в город Столешинск, в Знаменскую церковь.

Егор Иваныч, сияя от радости, низко поклонился ректору.

— Город, говорят, бедный, но ты будешь все-таки священник, и притом городской, нужно только быть добродетельным, настоящим пастырем своих заблудших овец.

— Постараюсь, ваше высокопреподобие.

— Это еще не все. Его высокопреосвященство велел передать тебе, что ты не иначе удостоишься священнического сана, пока не скажешь сло́ва во время его службы.

— Очень хорошо-с.

— Если ты хорошо напишешь и понравится его высокопреосвященству слово, он посвятит тебя, а если напишешь дурно, посвятит в диаконы.

— Очень хорошо-с. На какую тему прикажете-с?

— Владыке хочется, чтобы ты сказал слово о блудном сыне. В этом слове ты проведи нашу жизнь, уподобляющуюся жизни блудного сына, выскажи, что сам Бог печется о нас, в особенности о детях, раскаявшимся кров дает. При этом изобрази и то, что бдительное начальство всеми благими мерами заботится об юношестве, как господь о детях, а нераскаявшимся обещает геенну огненную. Закончи так: «О, христиане! Близок час, в онь же сын человеческий приидет со славою судити живых и умерших. Что мы речем ему, грешнии?»

Потом воззвание ко Христу Спасителю: «Ты, Христе, спасаешь раскаявшихся; обрати и нас ко свету заповедей твоих и приими нас во царствие твое, яко блудного сына...» Понял?

— Понял.

— Теперь иди. Когда напишешь, принеси мне. Да постарайся принести через день. Напиши больше и везде вставляй места из евангелистов и апостолов; хорошо сделаешь, если приведешь цитаты из Василия Великого, Иоанна Златоустого и прочих вселенских учителей.

— Очень хорошо.

— Ну, теперь иди с Богом.

Придя домой, Егор Иваныч увидел на столе, в комнате Троицкого, две бутылки с простой водкой, узел с калачами и сверток бумаги. В этом свертке он увидел новую книжку журнала.

«Ну, — подумал Егор Иваныч, — затевают что-то». Троицкого не было дома. Егор Иваныч любил читать только беллетристику, но прочие статьи читать у него не было терпения, короче сказать, он не понимал их.

Пришел Троицкий с двумя бумажными узелками, в одном из которых были колбаса и печенка, а в другом — чай и сахар.

— А, Павел Иваныч! — сказал Попов и поздоровался, то есть пожал руку Троицкого.

— Какой и тон-то! Ну, что? Бар или ёк?

— Бар.

— Вот как! Какими судьбами?

— Ректор...

При этом слове Троицкий строго взглянул на Попова: не врет ли он, или каким образом ректор мог помочь делу.

— Не врешь?

— Еще бы! Слушай, что было.

— На́ папироску и рассказывай, только без прикрас.

Попов начал рассказывать похождения двух дней.

— Ну, что же, хорошо, — сказал Троицкий по окончании рассказа Попова. — В сорочке родился... А я, брат, учиться! Тебе это не по нутру... Радуюсь, что место получил, только слово? Сумеешь сочинить?

— Только не мешайте, пожалуйста. Ведь одни сутки остались.

— Не беспокойся. Мы тебя не введем во искушение. Егор Иваныч! Егорушка! Товарищ... Ведь нам всем жалко тебя, больно... Э, да что толковать!.. Ну, твои дела, значит, что называется, в шляпе. Поп, брат, ты. Благослови, отче...

— Бога бы ты постыдился...

. . . .

— Егор Иваныч, вот что: а жена?

— Найдем!..

— А?

— Не спросим вашего брата.

— Однако жена... Ты пойми: что такое мужчина и женщина? Что такое, по-твоему, мужчина и женщина?

Егор Иваныч сначала подумал, что говорить с Троицким не стоит, потому что тот переспорит его, а все его резоны «ровно ни к чему не ведут». Однако он сказал:

— Да что с тобой толковать! Ты человек светский, я — духовный. По-вашему, жена должна быть помощницей мне, должна уважать меня... повиноваться мне.

— Та женщина, которую ты теперь не знаешь?

— Женщина против нас ничто.

— Что?!

Плевок.

— Подлец ты, Попов!

Егора Иваныча зло взяло...

— Говорить я с тобой не хочу... Убирайся вон, иначе ректору скажу.

— На это, господин Попов, я вам скажу вот что: во-первых, я не уйду, потому что квартиру я снимаю не у вас; во-вторых, я ректора не боюсь, так как подал в отставку из вашего сословья.

Попов молчит и ходит по своей комнате.

— Егор Иваныч, на что вы сердитесь-то?

Молчание... Троицкий вошел в его комнату. Попов не смотрит на Троицкого.

— Егорушко! А двенадцать лет дружбы?..

Это тронуло Попова.

— Ты мне теперь не можешь быть товарищем.

— Знаю почему, но головы на отсечение не дам. Егор Иваныч, к чему эти ссоры? Ведь мы ссорились раньше за идеи и мирились, но не так, как теперь. Вероятно, ты потому сердишься, что скоро получишь место; но, брат, у тебя еще задача — слово. Подумай!

— Не тронь меня, Троицкий.

— Не буду трогать. Дай лапочку!

Друзья поцеловались.

— Славный ты, Егор, будешь поп. Дай Бог тебе успеха, да брюхо растить, ребят меньше. Только вот тебе просьба: не трогай нас, твоих товарищей; не говори проповедей на воздух. Ты лучше печатай что-нибудь в «Духе Христианина» или «Православном Обозрении», тогда тебя будут читать и семинаристы, и отцы разные. Пиши дело, настоящее, говори прямо, а на старинные идеи не упирайся.

— Знаем, как делать.

— А знаете, так и знайте...

Начали собираться товарищи. Собралось человек восемь, выпили по рюмочке водочки, закусили.

— Давайте читать.

Начинается чтение. Все слушают и молча смотрят то на Троицкого, то на книгу. Если что кому-нибудь не понравится или кто-нибудь не поймет чего-нибудь, следует остановка: «Стой! Он врет».

— Нет, не врет!..

— Объясни!

Следует объяснение.

— Прочитай снова!

После чтения опять спор. Каждый критикует по-своему, под конец соглашаются:

— Ужели и с нами то же будет?

— Ну, брат, мы не такие люди. Мы им утрем нос.

— Чем?

— Утрем!

— Эх, господа! . . . .

— Я думаю, нам легко будет учиться в университете. Заучивать трудно. Теперь вот мы читаем и разъясняем сами, потому что разъяснить здесь некому, а там умные-то люди налицо, своими ушами будем их слушать. А ведь мы, братцы, в течение двух лет читанья мало еще поняли.

— Надо допонять.

— Едем!

— Кто едет?

Пять человек сказали: «Я». Это были Спекторский, Бирюков, Троицкий и двое Кротковых.

— А вы? — спросил Троицкий у остальных.

— Мы служить будем. Губернатор уже обещался дать места, — сказал Клеванов.

— Куда же, господа, ехать? — спросил Петр Кротков, красивый юноша двадцати лет.

— Да ты куда думаешь?

— Батюшка советует в духовную академию, а мне

хочется в медицинскую. Я в медицине-то смыслю кое-что.

— Ишь, каналья! Любит форму: здесь иподиаконом был, архиерея одевал, а там хочешь форму носить, чтобы порисоваться в губернском городе и перед своим батюшкой. Знаем мы вас, протопопские сынки!

— Давайте лучше вот что решать: как ехать? Есть ли еще деньги-то?

— Кротковы богаты.

— Наш отец на днях будет сюда, вероятно, даст, — сказал Алексей Кротков.

— Мой отец хотел прислать малую толику. Он не препятствует тому, что я еду в университет, даже радуется, — сказал Троицкий.

— А вот мой не то: что, говорит, тебе за наука? Выпороть, говорит, тебя надо за вольнодумство. И если ты бросишь меня на старости лет, не заступишь мое место, прокляну тебя, — сказал Бирюков.

— Что за дубина!

— Что ни говорите, а я удеру в университет... Добро бы, я один был сын у него, а то один уже священником, а другой в философии. На брата, конечно, нечего надеяться. Скверно, денег нет.

— Я отцу ничего не говорил о поездке, нынче написал ему такое письмо, что, надеюсь, старик расчувствуется. Впрочем, я у него одно детище мужского колена, а место у него такое, что называется — не веретено стрясти: село дрянь, народ бедный, благочинный теснит... — сказал Спекторский.

— Так как, господа?

— Не знаем. Призанять бы у кого-нибудь на дорогу.

— У кого займешь?

— Мы вот что сделаем, господа, — сказал Троицкий, — все мы — друзья и, стало быть, в крайних случаях должны помогать друг другу, как помогали в

семинарии и как выручали друг друга из бед. Если мой отец пришлет много, я половину разделю на Спекторского и Бирюкова.

— У меня всего два рубля. Книги разве продать! — сказал Бирюков.

— А у меня всего-то пятьдесят копеек, — сказал Спекторский.

— Господа Кротковы, к вам взываю о благотворительности, — сказал Троицкий Кротковым.

— Мы не знаем, как отец.

— Если не дадите, мы вам не товарищи.

— Я попрошу батюшку об этом, — сказал Алексей Кротков.

Разговоры продолжались до четвертого часу утра. Попову очень надоели товарищи, но ему совестно было гнать их.

— Попов, давай другую книгу.

Попов дал.

— Ну, читай, Елтонский.

— Господа, мне надо проповедь писать, — сказал Егор Иваныч, теряя всякое терпение.

— Пойдемте к нам, — сказал Петр Кротков.

— Лучше за реку поплывем. Там хорошо.

— Марш!

— Смотри, Егор Иваныч, умненько сочиняй. Мы послушаем твою проповедь в церкви, — сказал Алексей Кротков.

Товарищи поцеловали Егора Иваныча и пошли к реке.

Когда ушли товарищи, Егор Иваныч достал из сундучка четыре листа серой бумаги, сделал их тетрадкой в четвертую долю листа, сшил, разрезал, перегнул на половине, очинил перо, попробовал, поправил перо, опять попробовал, ладно — и стал думать. Целый час Егор Иваныч продумал.

«Задача трудная, — рассуждает Егор Иваныч. — Дело в том, что придется говорить в губернском городе, в архиерейскую службу... Троицкий прав. Другое дело, если бы сочинить просто для архиерея, а то для народа. Товарищи будут слушать, шептаться, смеяться, как и я смеялся над выговором священников... Судить станут... Ничего бы, если бы все чужие, а то своих много, не все разъехались... А певчие — зубоскалы, вслух шикают... И к чему он задал мне... Ну, что я напишу?..» Опять Егор Иваныч стал обдумывать сюжет проповеди. Ничего не выдумывается.

— Дай умоюсь, — сказал Егор Иваныч вслух и умылся.

«Уж сочиню же я тебе! Сочиню». Зло взяло Егора Иваныча. Ругаться он стал. Попробовал перо, озаглавил текстом священного писания свое сочинение и начал приступ. Полчаса он писал сплеча, потом вдруг остановился.

«А дальше?.. Он велел текстов больше... На! Наворочаю же я тебе».

Зазвонили к заутрени.

Крепко и хлестко стал писать Егор Иваныч. Мысль была, только тексты трудно подбирались. Зазвонили к ранней обедне, Егор Иваныч все пишет. Вошла хозяйка.

— Здравствуйте, Егор Иваныч, — сказала она.

— Здравствуйте.

— Чайку попьете?

— Некогда.

Хозяйка, как хозяйка дома, села около стола, возле Егора Иваныча.

— Что вы это пишете? И ночь-ту, кажись, не спали.

— Проповедь пишу.

— Ах, мои мнечиньки! Проповедь?

— Да. — И Егор Иваныч бросил перо, потому что теперь все мысли его сочинения исчезли.

— Где же вы ее сказывать будете?

— В кафедральном соборе.

— Ой! Ой!.. При самом архирее?

— Да.

— Вот что значит ученье-то!.. Уж я послушаю, непременно послушаю. Только вы поскладнее пишите да понятливее, погромче сказывайте... Вот у нас говорят проповеди-то, да все под свой нос говорят... А вы как, в ризе будете сказывать-то?

— Нет. Стихарь надену.

— Так, так... А в ризе-то лучше бы... А вы в попы-то скоро постригетесь?

— Скоро. Только проповедь надо сказать.

— Дай Бог, Егор Иваныч, дай Бог!.. Чайку не хотите ли, Егор Иваныч?

— Да нет чаю.

— Экие вы какие! Ну, что бы мне сказать!.. Сейчас поставлю самоварчик, напою.

— Покорно благодарю.

— Полно, Егор Иваныч... Вы у меня такой были постоялец, что мне и не найти таких... Как красная девушка, жили все тихо, и кашлю то есть не слышно... Не то, что Павел Иваныч, денег не платит, приятелей водит, содом просто! — Немного помолчав, хозяйка, поправив на голове платок, сказала очень любезно Егору Иванычу: — А я ведь к вам по делу, Егор Иваныч. Денег бы надо, больно надо...

— Вам сколько следует?

— Да за комнатку два рубля, за десять фунтов гречневой крупы — помните, велели купить? Пять фунтов говядины, молочнице за шестнадцать бураков, всего три рубля восемь гривен без трех копеек.

Егор Иваныч дал ей пять рублей.

— Ах, я и забыла; ономедни у вас гости были, стакан разбили, двадцать копеек стоит.

— Да ведь он от воды лопнул!

— Знаю, что сам лопнул, только таперича уж если он у вас был, значит, вы за него и отвечаете.

— Так вы и двадцать копеек исключите из пяти рублей.

— Хотелось бы мне еще попросить вас... да совестно.

— Говорите.

— Ономедни стекло разбили вот в этом окне.

— Да ведь оно разбито было!

— Полноте, Егор Иваныч... Вы коли живете здесь, значит, за комнату и отвечаете... Ну, да Бог с вами... Вот еще надо бы за картинку вычесть... Больно уж ваши-то приятели хериков много на лице наделали... Хорошему человеку и посмотреть-то срам... Стул таперича сломали.

— Послушайте, Авдотья Кириловна, ведь я в том не виноват; не я же ведь все это сделал.

— Знаю, что не вы, — вы такой умница! Дай вам царица небесная невесту хорошую. — Хозяйка встала. — Вы пожалуйте ко мне в комнатку; я вас пирожками говяжьими попотчую.

— Покорно благодарю.

— Сделайте милость.

Егор Иваныч пошел за хозяйкой в ее комнатку. Муж хозяйки сапоги починивал, а дочь, лет четырнадцати, принесла две тарелки жареных пирожков и чашку свежего молока. Егор Иваныч стал кушать.

— Вот, Егор Иваныч, что значит ученье; ученье свет, а неученье тьма. Если бы я, теперича, был грамотный, я бы, теперича, кто был? Поди, и дом у меня был каменный, и вашей братьи в нем жило бы много, — сказал хозяин.

— Уж, Егор Иваныч, одно слово, прозвитер! — сказала хозяйка, радуясь, что ее постоялец будет говорить

проповедь и скоро будет священником. — Мы худых людей не держим, — прибавила она.

—Егор Иваныч, не напишете ли вы мне письмо к брату?

— Очень хорошо.

— Я вам сапожки заштопаю. Покажите.

Егор Иваныч показал сапоги.

— У-у какие! Снимите-ка, — сказал хозяин. Егор Иваныч снял сапоги, и так как у него других сапогов не было, то он и остался босиком, а хозяин принялся починивать. Наевшись пирогов, Егор Иваныч написал хозяину письмо, на что и употребил целый час. После этого его приглашали обедать, но он отказался.

Хозяева все и всегда любезны с богословами. Они гордятся, что у них живут умные люди, которые меньше буянят и ломают вещи, нежели уездники и словесники. Им очень жалко расставаться с ними, и они перед отъездом особенно любезны, надеясь на то, что квартирант их, посвятившись в священники или дьяконы, непременно подарит им рубль или три рубля за ласку хозяйскую и ихнее хорошее расположение.

После этого проповедь плохо сочинялась, мысли положительно не лезли в голову. Во втором часу пришло двое кончивших курс в семинарии — Ермилов и Гонимедов.

— Поздравляем! — сказали они, входя.

— Вы уж знаете?

— Троицкий сказал. Молодец! Ну, а проповедь?

— Да пишу.

— Ну-ко, прочитай.

— Не кончил еще. Текстов много надо.

— Ну, ничего. Мы подсобим.

Егор Иваныч стал читать, а приятели поправляли его. Чтение, марание, приписывание продолжалось до само-

го вечера. Проповедь была кончена. Пришел еще богослов. Опять началось чтение и поправки.

— Кажется, ладно?

— Еще бы!

— А как да не понравится ректору?

— Чего еще ему надо! Постой, Егор Иваныч, размалюем про начальство.

— Да, господа, послушайте: ведь хвалить начальство следует в семинарии при выпуске, а не в церкви.

— Да ведь он велел!

— Я думаю вот что: может, ректор сам хочет сказать проповедь по этой тетрадке.

— Пожалуй — это бывает.

— А может быть и то, что он покажет архиерею, тот прочитает и скажет: хорошо, — но сказывать запретит.

Между тем хозяйка принесла Егору Иванычу чаю, сахару и булок. Началось чаепитие и излияния дружбы.

— Я слышал, — говорил Ермилов, — что в Столешинске у отца Василия есть две дочери; одной — Наталье — девятнадцатый год, сватались чиновники, да отец Василий не выдал. Не худо бы тебе попросить ректора, чтобы он написал письмо тамошнему благочинному.

— Возьмется ли он за это дело? Как-то неловко.

— Попробуй.

— Пожалуй, наведи справки, нет ли там невест других, и поезжай туда жениться, а оттуда сюда на посвящение.

— Пожалуй.

На другой день к двенадцатому часу проповедь была окончена. Егор Иваныч шел с трепетом к ректору и молился в душе: господи помоги!

Ректор удивился, что Попов принес проповедь скоро.

— Сам ли ты сочинил?

— Сам. — Егору Иванычу обидно сделалось.

— Хорошо, я прочитаю. Завтра приходи за ответом в это же время.

От ректора Егор Иваныч пошел в консисторию, к столоначальнику.

— Ну, что-с? — спросил Егора Иваныча столоначальник.

— Я к вам за справкой.

— Да ведь вы уже назначены, с вас магарыч надо.

— Как назначен?

— Да так. Сами вы просили ректора, а ректор снес вашу просьбу его высокопреосвященству, а тот и назначил.

— И бумага здесь?

— Ну, этого я вам не скажу — секрет.

— Какой же тут секрет?

— Ну уж, нельзя.

— Да ведь вы сами сказали, что я назначен!

— Ну, это еще сорока надвое сказала. Я могу отписать на справке, что место ваше занято.

— А его-то высокопреосвященство?

— Что вы, жаловаться хотите? Знаете, чем эти жалобы-то пахнут?

— Чем?

— Мне, господин Попов, некогда с вами калякать.

— Я, Аким Савич, пришел к вам не потому, чтобы место просить, а об невестах хочу справиться.

— Я вам сказал, что мне некогда.

Егора Иваныча зло взяло. Он вышел в коридор. За ним вышел писец.

— Что дадите? — пристал он к Егору Иванычу. В консистории если и сторож важное лицо, то писцы там уж очень важные лица для ищущих и хлопочущих. Это знают все. Даже сторож за полтинник может

выведать от писцов, а писцы — помощники столоначальников по делам поборов.

— За что?

— Экой вы чудак. Давайте три рубля, все сделаем.

— Да денег нет.

Их окружил синклит подрясниковых и в рясах. Все смотрят как-то с удивлением, сожалением; какое-то заискивание видится, плутовское намерение...

— В чем дело? — спрашивает храбрый господин в рясе, держа голову набок, разведя ноги на аршин одна от другой и утирая ситцевым платком бороду, на которой присохла скорлупа от яйца.

— Право, не знаю, — ответил Егор Иваныч.

— За что вы просите-то?

— Это не ваше дело, — сказал писец.

Половина разошлась по своим местам. Господин в рясе и со скорлупой на бороде рьяно вступился за Егора Иваныча.

— Вы объясните причину!

— Не ваше дело.

— А владыку знаешь?

— Сторож, выгони этого пьяного, — закричал писец и ушел в канцелярию.

— Что он сказал? Что сказал? — спросили человек шесть. Обруганный заступник ворвался было в канцелярию, но его вытолкали оттуда.

— Что, отец дьякон, с носом!

— В чужой монастырь со своим уставом не ходи.

— Еще говорите спасибо, что за шиворот не выгнали на улицу, — говорят хохоча остальные.

— Это все из-за вас, господин семинарист, — обратился дьякон к Егору Иванычу и сию же минуту отошел от него.

Два священника подошли к Егору Иванычу.

— В чем дело?

Егор Иваныч рассказал.

— Вам надо бы денег дать.

— Если бы были, дал.

— Вы лучше к нему на дом сходите. Дайте рубль — и дело в шляпе.

— Нет, всего лучше к эконому.

— Эво! К эконому. Ведь вам, разумеется, невесту не голую надо, а с придачею; так лучше справиться у столоначальника.

— Я к нему не пойду.

— Как знаете. — Разговор пошел о другом: каков нынче ректор. Потом оба священника и приставшие трое дьяконов пожелали послушать проповедь молодого проповедника.

В углу, налево, один дьячок схватил за нос пономаря; пономарь вскричал и в свою очередь ударил дьячка под микитки, что вызвало всеобщий смех. В другом углу, направо, один подрясниковый уснул на диване.

— Братцы, смотрите!

— Ах он, пес!

Все хохочут.

— Наденьте на него бумажный колпак.

Один причетник подошел к спящему и привязал к волосам его свою косоплетку, а к ней бросовый конверт.

— Нехорошо. Лучше разбудить, — советует половина глазеющих на спящего.

— Что он, пьян?

— Лунатик, должно быть...

— В беспечности пребывает...

Один разудалый дьячок потащил со спящего сапоги, тот проснулся. Его стали стыдить.

В одном месте идут одолжения.

— Павел Гаврилович! Одолжи рублик.

— У самого мало...

— Одолжи... Как приду домой — отдам.

— Олонись я тоже дал так-то, да каналья, Патрушев, надул.

— Вот те Христос, отдам.

Павел Гаврилович дает рублик. Какой-то священник одолжил другому священнику пять рублей.

Егор Иваныч ушел домой, ни с кем не простившись. Троицкий сказал, что его все еще не уволили и он ходил даже к владыке, но до владыки его не допустили.

Хозяйка предлагала Егору Иванычу свои услуги найти невесту в городе, но Егор Иваныч отложил вопрос о женитьбе до завтрашнего дня.

На другой день ректор сказал ему:

— Очень плохо составлено твое слово... Удивляюсь, почему вы болванами выходите?.. Ну, как можно сказать такую проповедь?.. Никакого смысла нет.

— Я, ваше высокопреподобие, очень торопился.

— У вас вечно отговорки... Ну, какой ты священник, когда и таких пустяков не в состоянии составить?

— Мне, ваше высокопреподобие, времени не было вовсе. Мешали Троицкий и прочие исключающиеся.

— Этому я верю. Поэтому я поправил. Возьми. — Ректор подал рукопись. — Сегодня у нас пятница, завтра принеси мне переписанную тетрадку, да смотри — на почтовой бумаге напиши.

— Очень хорошо-с.

— Ступай...

Егор Иваныч переступает с ноги на ногу.

— Чего еще тебе нужно?

— Ваше высокопреподобие, осмелюсь вас еще попросить насчет...

— Ну, говори. Денег, что ли, надо? Все издержал, что ли?..

— Нет, ваше высокопреподобие.

— Так что же?

— Не можете ли вы мне помочь насчет невесты.

— Это не мое дело. Мое дело выучить вас; а что касается до места, то я из любви христианской помог тебе.

Егору Иванычу ничего больше не оставалось делать, как только подойти под ректорское благословение и уйти домой.

Архиерей принимал с 10 до 12 часов. Приемная его — небольшая комната с двумя круглыми столами, мягким диваном и двумя стульями. Стены разрисованы. Духовные лица сначала толкутся на лестнице. На лице каждого и в голосе заметны испуг и робость.

Каждый трезвый, а кто с похмелья, тот жует ладан или корку от лимона.

— Вы зачем? — спрашивает один робко другого.

— Перепрашиваюсь.

— В первый раз?

— Нет, уж в третий. А вы?

— Тоже перепрашиваюсь. В прошлый раз хотел перевести, да на это место пятеро подали.

В приемную впускают келейные за десять копеек каждого. Деньги эти идут в их пользу.

В приемной все стоят чинно. Говорят шепотом, на ушко, прикрыв рот правой или левой рукой. Братство тут славное. Все ждут владыку, у всех мысли одни и те же, всякий боится позабыть заученные им слова, какие он должен сказать. Один шепчет: «Ваше высокопреосвященство, по крайней бедности, позвольте перевестись». У одного дьячка так на ногтях написано чернилами, что говорить. Большая часть читают в двадцатый раз свои прошения, складывают их, вытирают бу-

магу, что-то шепчут про себя и постоянно вытирают платками свои щеки и лбы...

Егор Иваныч тут же стоит. Он надел сюртук Троицкого, который был поновее, белую манишку и белый галстук. В руке у него проповедь, на боку которой написано ректором: читал и одобряю, ректор архимандрит такой-то. Большая часть трущихся в приемной знают, что Попову назначено место и что в руке у него проповедь. Все завидуют.

Наконец вышел владыка. Все подошли под благословение. Начались просьбы.

— Кто ты такой?

— Дьякон Крестовоздвиженского села, Иоанн Лепосимов.

— Об чем просишь?

Тот робко объясняет.

— Подай прошение.

Очередь дошла до Егора Иваныча, на которого владыка с самого начала взглядывал.

— Ты кто такой?

— Кончивший курс семинарии, диаконский сын, Егор Попов.

— Об месте просишь?

— Отец ректор ходатайствовал у вас за меня.

— Так это ты Попов?

— Точно так, ваше высокопреосвященство.

— Хорошо. Ступай туда. — И владыка указал Егору Иванычу на дверь в залу.

Зала убрана как в богатом барском доме, с тою только разницею, что в ней на стенах висели большие картины духовного содержания в позолоченных рамках.

Через четверть часа владыка пришел в зал вместе со своим письмоводителем.

— Где прошение кончившего курс семинарии Попова? — спросил он у письмоводителя.

— У меня-с, ваше высокопреосвященство!

— Принеси сюда.

Письмоводитель ушел.

— На какое место ты желаешь?

— На священническое.

— Отец ректор просил меня. Я справлялся. Место тебе будет в Столешинске.

Егор Иваныч низко-пренизко поклонился.

— Нынешний год я туда не поеду. Поэтому после свадьбы ты должен ехать сюда.

Егор Иваныч опять поклонился и проговорил:

— Ваше высокопреосвященство! Я еще не нашел невесты.

— Сходи к эконому, он знает. Вчера я ему две просьбы передал от духовных вдов.

Егор Иваныч поклонился.

— Написал ты проповедь?

— Написал, ваше высокопреосвященство.

И Егор Иваныч подал рукопись. Владыка, увидав засвидетельствование ректора, не стал ее читать. Письмоводитель принес прошение Егора Иваныча. Владыка написал на прошении: назначается в столешинскую Знаменскую церковь во иереи, пострижение в октябре месяце... — а на проповеди: благословляю, смиренный...

— Позвольте завтра сказать, в ваше служение...

— Можешь.

Егор Иваныч подошел под благословение.

— Послезавтра я уезжаю; можешь и ты ехать за женой.

Егор Иваныч опять подошел под благословение и ушел из залы.

Архиерейский эконом посоветовал Егору Иванычу

ехать в Столешинск и жениться лучше там на дочери какого-нибудь священника или дьякона.

Вечером Егор Иваныч стоял в крестовой церкви, а после ее подходил под благословение владыки, который стоял в алтаре.

Ночь провел очень худо. Не спится, а если уснет, то ему представляется народ, и народ этот хохочет, семинаристы ему неприличные кривляния делают руками.

Утром проповедь была прочитана Егором Иванычем раз семь про себя и два раза вслух. Троицкий боялся за своего товарища, чтобы он не струсил на кафедре, не сделал бы худого выражения на лице. В церковь его проводили шесть семинаристов. Архиерей служил в кафедральном соборе. Егор Иваныч стал в алтарь. Перед концом службы Егор Иваныч надел стихарь и подошел под благословение владыки. Но вот Егору Иванычу нужно идти, а он дрожит, ноги подсекаются. «Иди!» — говорит протодьякон. Егор Иваныч пошел, запнулся за что-то... Вышел в левые двери; певчие ему с хор рожи строят, а костыльник его за стихарь дернул. Кое-как Егор Иваныч дошел до налоя, робко вытащил из кармана рукопись, перекрестился и сказал чуть не шепотом: «Во имя отца» — и стал... Потом кашлянул, посмотрел на рукопись — буквы вверх ногами стоят... Однако он начал читать, но читал очень тихо — «под свой нос», как выражалась его хозяйка; читал бессознательно, думая: ах бы скорее промахать... Большая часть публики вышла из церкви, а остальная ничего не слышала, потому что Егор Иваныч читал, запинаясь за каждое слово, пропуская где строчку, где две; где не разберет — от себя выдумает и читает, как дьячок часы читает... Промахал он так скоро, что певчие его ругнули, потому что было нужно петь запричастный, а половина их разбежалась курить папиросы. В алтаре удивились, что так скоро Попов кончил проповедь, а рек-

тор строго на него взглянул, когда он подошел под благословение владыки. Когда владыка стал уходить из церкви, то сказал ему, чтобы он зашел к нему.

Бывшие в церкви семинаристы окружили Егора Иваныча.

— Ну, брат, и проповедник! Знаешь, тебе где надо проповеди сказывать?..

— Тебе бы дьячком быть!

— Неловко, господа, ведь в первый раз, — сказал Егор Иваныч.

— Ты куда?

— Да архиерей звал.

— Уж не обедать ли?

К ним подошел посвященный в этот день в священники и отвел в сторону Егора Иваныча.

— Пожалуйте ко мне на поздравку. Я закусочку устроил сегодня.

— Покорно благодарю.

— Непременно приходите. Отец протодиакон будет, кафедральные дьяконы будут, певчие.

— Мне надо к владыке сходить.

— Так после.

Владыка сказал Егору Иванычу, чтобы он ехал жениться, что он получит из консистории свидетельство на вступление в брак и что в консисторию же он передал его прошение для исполнения.

Егор Иваныч пришел с двумя певчими-богословами к новопосвященному во священники. Там сидели протодьякон, два кафедральных дьякона, один приезжий священник и еще один городской дьякон. При протодьяконе все вели себя скромно.

— А! Вот и молодой проповедник! — сказал протодьякон и пожал руку Егору Иванычу. — Однако вы дурно сказали проповедь, — прибавил протодьякон.

— Даже очень скоро, — прибавил певчий дьякон.

— В первый раз, отец протодьякон! — оправдывался Егор Иваныч.

— Ну-ка, выпей водочки, поди, пересохло в горле-то, — сказал протодьякон и налил Егору Иванычу рюмку. Егор Иваныч должен был выпить.

— А скоро будешь посвящаться? — спросил протодьякон уже по-приятельски.

— Как женюсь.

— А!.. А нашел невесту-то?

— В том-то и горе, что нет.

— Я тебе вот что скажу, Егор Иваныч. В Столешинске я хорошо знаком с благочинным, знаю там невест и напишу ему письмо. Письмо это ты сам свезешь.

— Да ведь вы завтра едете?

— Тьфу ты! Совсем забыл.

Протодьякон плюнул.

— Ну, так я по почте пошлю.

Через два часа протодьякон ушел с кафедральными и городскими певчими, дьяконами, отзываясь тем, что завтра в шесть часов им ехать надо... По уходе их начались песни, и дело дошло до буйства... Егор Иваныч убежал, но пришел домой выпивши до того, что разругался с Троицким и чуть не прибил его.

— Эк те разобрало! Вот славный выйдет поп! — заметил Троицкий.

— Знать тебя не знаю. Поищи-ка теперь службы, а я нашел, да еще как!..

С этим словом Егор Иваныч повалился на кровать и тотчас же уснул.

Через неделю Егор Иваныч, получивши свидетельство на вступление в брак с девицею духовного звания и справку, что он назначен священником в такое-то место, распростился с приятелями и покатил на обозах с двумя бедными семинаристами к своему отцу.

Глава вторая

У РОДИТЕЛЕЙ

Егор Иваныч Попов поехал к своему отцу в село Ивановское Петровского уезда. Так как это село находится от губернского города в двухстах верстах, то он ехал на обозах целую неделю. Ехать на обозах не то, что на почтовых, на перекладных и с попутчиками. Всякому известно, что обозами называется кладь, и на этой-то клади сидит, точно на какой-то горке, дремлющий ямщик — или хозяин лошади, или просто работник-извозчик. Любитель путешествий, богатый человек, никак не поедет на обозах, он не найдет никакого удобства на обозе. Мужик-крестьянин не стыдится сесть как-нибудь и где-нибудь — лишь бы сесть; не боится дождя и грязи, не боится стужи и вьюги, жары и духоты, потому что ему разбирать вкусы ни к чему: во всякую пору и непогоду он пойдет и поедет для хлеба, потому что об нем никто не позаботится, а всякий называет его неучем да еще требует кое-какой дани... Семинаристы не гнушаются крестьян-извозчиков. Извозчиков они любят потому, что те берут с них дешево, да притом извозчики народ славный, хотя и плуты подчас; но кто же не плут? Семинаристу хочется домой к родным, домой в родное село, нужно ехать куда-нибудь — хоть невесту искать, — а денег нету, пешком идти далеко; поневоле поедет на обозе. Крестьяне знают, что семинаристы народ хороший, мужика не обидят, ничего не украдут, а попросят они семинаристов покараулить обоз и лошадку, когда сами отправятся куда-нибудь, по нужде или в кабак, семинаристы не откажутся; да и как-то веселее с «ребятками»: «калякают они больно толково да весело так...». Кроме этого, крестьянин еще и уважает «ребяток» по любви их к вере и почету к духовенству. «Не всяк может попом быть.

Штука-то важная...» — рассуждает каждый крестьянин.

Сидит Егор Иваныч на обозе, свесивши ноги. Очень неудобно сидеть, а прилечь негде. Ноги болтаются; самого «взбулындывает» полегонечку, а в ином месте так тряхнет, что невольно скажешь: да будь оно проклято! С непривычки ехать неловко, а крестьянину ничего, он уже привык; спит себе полдороги на обозе с витнем в руке, только шапка нависла на нос. Оно и лучше — солнышко не жжет. Скука страшная, потому что лошадь везет чуть-чуть; на местность любоваться не стоит, так как Егор Иваныч проезжает по этой дороге не в первый раз, все места знакомые, да и видов-то хороших нет: где лес, где пальник, где покос, где пашни; деревеньки незавидные, люди бедные, проезжающих мало. Извозчик оказался несловоохотливый... Егор Иваныч всячески старался сблизиться с крестьянином по-нынешнему, как он в книгах вычитал. Прежде он как-то весело ехал, а теперь у него в голове засела мысль, что — «я кончил курс, я много знаю, а крестьянин ничего не знает...». Однако он начал говорить с крестьянином по-нынешнему:

— Слышь, дядя?

— Ну?

— Как те зовут?

— Зовут меня Митрий.

— А величают?

— Величают Егорыч.

— Значит, ты Митрий Егорыч?

— Знамо, так.

— А хлеб-то у вас каков ноне?

— Нешто.

— А как?

— Да так.

Молчание.

— Што Бог даст, то и ладно... — начал крестьянин. —

Вот ноне, што есть, с обозами мало ходим... Времена такие тяжелые. А хлеба в прошлом году не было, потому, значит, земля у нас не такая, как в Прогарине или хоша у соседей. Те, значит, зажиточные, подарили сначалу кого должно и наделили их: значит, старые места дали.

— А ты какой: государственный или крепостной?

— Кабы государственный — не то бы было. Никитинской... Барин Иван Лексеич.

— Худой человек?

— А кто ево знат... Не наше крестьянское дело судить... На то божья воля да милость царская...

Крестьянин замолчал. Об чем еще говорить Егору Иванычу с крестьянином? Положим, предметов много, но крестьянин не поймет всех этих предметов. О хлебопашестве говорить не стоит, потому что крестьянину досадно говорить о неурожае: неурожай и разные неудачи поедом едят его. А неудача есть у каждого человека, не только у крестьянина; у крестьянина больше всех неудач, и эти неудачи никем из прочих сословий не замечаются, и если замечаются, то так себе; и если вырвется у кого-нибудь сочувствие, так это редкость, большею частию для хвастовства: что-де и мы любим крестьян, и мы им благодетель хотим сделать. Егору Иванычу хотелось кое-что объяснить крестьянину, но он не мог выбрать такого предмета, который бы крестьянин понял. Он знает, что крестьяне не очень долюбливают тех господ, которые, встретясь с ними в первый раз, начинают говорить им о таких предметах, которых или они не понимают, или предметы эти не интересуют их. Крестьяне даже боятся тех людей, не их сословия, одетых прилично барскому сословию, которые с ними говорят ласково, выспрашивают все больше о господах, говорят такие слова против старших, которых крестьяне привыкли уважать и бояться с детства...

Крестьянину, от рождения привыкшему работать на потребу других всю жизнь, забитому, у которого развитие остановилось на приобретении денег различными способами, странны кажутся такие слова. Егор Иваныч знал все это; сам слыхал хвастовство товарищей об отрицании, и ему это казалось глупо. «Такой наукой, — думал он, — нельзя выучить народ добру. Да и Троицкий, человек отрицающий, говорит, что народ насчет этого не нужно трогать. Сам со временем поймет». Егор Иваныч знает и то, что крестьянину ничего не нужно от человека прилично одетого, кроме денег за работу или возку и на водку. Крестьянин знает, что ему не нужно быть барином: он захохочет, если представит себя барином, в сюртуке и в светлых сапогах, и свою жену в шляпке. Будет много денег — тогда можно торговлей заняться, дом хороший состроить, а куда уж в баре лезть: «Мы люди такие, те люди иные». От этого-то у него является недоверие к барину: «Говорит-то он хитро да ласково, а Бог его знает, что у него на уме-то? Мягко стелет, да жестко спать будет...» Положим, барин и предложение хорошее сделает, так и тут крестьянин не иначе согласится, как прежде посоветовавшись с товарищами.

Товарищи Егора Иваныча — Павел Игнатьевич Корольков, философ, и Максим Игнатьевич Корольков же, словесник, — ехали на другом обозе. Они ехали весело и смешили ямщика. Они рассказывали ямщику разные городские — губернские — анекдоты и сплетни вроде следующего:

— Ты, дядя, знаешь бульвар?

— А?! — Крестьянин захохотал. Этим словом он выразил то, что выражается словами: эво, еще бы, уж будто не знаем-ста.

— Так вот, видишь ли, какая там штука забористая вышла. Гуляло народу много; знати всякой и не пере-

чтешь... А дамы, слышь, нарядные такие — прелесть. В деревнях таких не найдешь... Ну, и ладно. Вот сидят это много на скамейках против музыкантов, которые потешают их на разные манеры... Сидят они смирно, все смотрят на музыкантов — в чувство входят; а мимо их на площадке разные франты ходят. Значит, ищут девиц на тово-оно... Вдруг, что бы ты думал, вышло? Одна передняя скамейка и грохнулась: ножки с одного конца фальшивые были, — ну, дамы и кувырк — кто вверх ногами, кто просто на посрамление, а молодые-то люди, франты, любуются...

Крестьянин хохочет во все горло; хохочет с четверть часа.

— Вот так любо! А я бы знаешь как?.. — Крестьянин хохочет.

— А как?

Крестьянин хохочет и говорит свое мнение. Потом рассказывает о казусах, бывших в селе с какой-нибудь девкой.

— А вот что, дядя, как по-твоему: которые из девок лучше, городские или сельские?

— Городские, брат, штуки! Напялено на нее — страсть; ходит как индейский петух: только поглядишь в щелочку на нее, страх возьмет... Да что — не по нам.

— В селах-то, брат, лучше, знать?

— Эво! Возьмешь кою девку и не нарядную — славно! Здоровая такая... — Крестьянин хохочет.

— И женишься — славная жена будет.

— Уж на этот счет не беспокойся. Все приладит; заботу об ребятах знает, чужому не поддастся. Вот моя жена так ревмя ревет, коли мне что не посчастливится, а пьяный напьешься — драться лезет... Славная баба, бой-баба!.. А здорова, собака! На тысячу рублей не променяю свою бабу. Золото баба!

— А ты по любви женился?

— Пондравилась: красивая была девка, да и вместе малолетками игрывали... Ну, достатку-то у них нет, да все однако — жениться надо. Ну, и женился.

— Не перечила?

— Да что ей перечить? Меня знает. «Я, говорит, за тебя пойду замуж, коли ты меня обижать не будешь, коли, говорит, будешь мужик хороший».

— Так. А городские не нравятся?

— Да что и толковать! Ну их!.. Хорошо яблоко спереди, да внутри-то горько.

— Ты бы в Питере пожил, не то бы сказал.

— Ну, не знаем, поди-кось!.. Вон лонись оттоль Кирьяк Савич приезжал, извозчиком там был. Такая, говорит, там жизнь извозчикам — беда! Плутом, говорит, надо быть... С виду-то, говорит, куды-те расфранченная, ужасти!.. А скажешь такое любезное слово — и готово!.. Только Кирьяшко-то, знать, прихвастывает на эфтот счет. Подит-кось, так поверят! А у самого, у пса, жена здесь с детьми живет.

— Ну, там-то это так.

— А ты бывал там?

— Не был, а в книгах пишут.

— Ну и врут, коли пишут... Эдак жить, по-нашему выходит, грех... Стыд на весь мир... А все бы самому лучше поглядеть.

Егор Иваныч злится, слушая эти разговоры. Он думал: «Что это они толкуют дичь? Ну, для чего? Будто о другом не о чем рассуждать...» Но, взглянув на спину своего дремлющего ямщика, он думает: «Как только буду я священником, я прямо начну говорить проповеди об этом предмете. Я все эти гадости объясню им... Эх, какая пошлость! До чего люди доходят! Подобные примеры я видел и в губернском; надо вразумить прихожан, изобличить их в поступках, происходящих от безнравственности...» При этом он представил

себе, что он едет жениться. Но на ком? Сердце забилось, словно боль какая-то чувствуется. Потянулся он, зевнул, стал тянуть поочередно пальцы; пальцы захрустели... «Какая-то моя невеста? Господи, дай мне хорошую жену, не развратницу. Слыхал я, что какой-то священник от развратницы жены спился и под суд попал, теперь по кабакам трется в крестьянском звании. Нет! Дай мне хорошую жену...» И при мысли об жене, об детях опять чувствуется боль и радостное щекотание в сердце.

Почти во всю дорогу Егор Иваныч думал об своей будущей невесте и трепетал. Невесты он не видал. Кто ее знает, какая она. Другое дело, если бы Степанида Федоровна... При этом Егору Иванычу жалко стало, зло его взяло... «Да ну ее к чертям!» — подумал он. И опять ему представляется невеста в образе красивенькой девицы, девицы набожной, отец которой — богатый человек, дает ему свой дом или купит в городе в четыре комнаты. Но ведь невесты еще нет. Нужно найти ее... У отца Василия, сказывают, есть дочь Наталья девятнадцати лет... Как, поди, красива! А впрочем, кто ее знает, какая она. Может, она уже помолвлена с кем-нибудь... Все бы хорошо иметь тестя в той же церкви: доходов бы можно много нажить. Но как подступить к нему? Надо с отцом посоветоваться...

С товарищами, семинаристами Корольковыми, Егор Иваныч обращался как кончивший курс с учениками. По его понятию, это были мальчишки, только что начинающие мыслить, теперь еще глупые ребята. Корольковы были из Столешинского уезда и кое-что знали о духовенстве тамошнем.

— Вы в Столешинск?

— Да.

— Ну, невест там много. Мы слышали: вы у отца Василия Будрина хотите сватать.

— Еще не знаю.

— Полноте притворяться! Во всем губернском знают.

— А у Василия Григорьича славная дочка! Я бы не прочь жениться на ней. Только придано-то мало, потому что прихожан у этой церкви мало, и прихожане народ все бедный, все рабочие.

— Зато священник.

Егору Иванычу не нравится это, более потому, что мальчишки толкуют не в его пользу.

— Вы бы, господин Попов, у чиновников или у купцов посватались!

— Знаю и без вас.

— Ну, это еще не резон.

— Почему?

— Потому что отец Василий и не отдаст за вас.

— По-че-му?

— Потому что вы очень неказисты с виду.

«Подлецы! — ворчит про себя Егор Иваныч и думает: — Во что бы то ни стало, а женюсь-таки я на Будриной дочери».

— А может, она и с брюхом! — подзадоривают семинаристы.

— Господа! Вам какое дело до меня и моей невесты? — говорит Егор Иваныч, думая, что семинаристы испугаются его, как кончившего курс и облагодетельствованного начальством.

— То дело, что она не пойдет за вас замуж, потому что у вас шишки на носу...

— Я?.. Я ректору на вас пожалуюсь!

— Вот и спасибо... Да ну его к черту!

— Ей-Богу, пожалуюсь.

— Вот что, господин Попов: вы будете служить в уездном городе, и вас будут теснить благочинные, если у вас не будет денег. А мы будем учиться и в попы не

поступим. Нас хоть сейчас гони, нам все равно. В другое место пойдем учиться.

Егор Иваныч на это ничего не отвечал и всю дорогу отмалчивался. Пойдут Корольковы в кабак с крестьянином — Егор Иваныч думает: погибшие люди. Заговорят с крестьянами так, что крестьяне рады их слушать, хохочут и соглашаются и еще просят рассказать, — Егор Иваныч думает: уж я доберусь до них, только бы жениться!... Корольковы смеялись над Поповым, крестьяне отмалчивались от него, говоря: уж больно он важничает. Корольковы ехали весело, так что крестьяне говорили им на прощанье: «Жалко, что вы, ребятки, маловато ехали, и не заметили, как время-то весело прошло». Егор Иваныч скучал. Крестьяне говорили и про него: одет-то он неказисто, а больно хитер. И не хитер, а смыслу такого нет, чтобы ублаготворить нашего брата...

С Корольковыми Егор Иваныч расстался в деревне Ершовке, которая от Ивановского села находится в десяти верстах. А так как ершовцы прихожане Ивановской церкви, то Егора Иваныча довез до села ершовский крестьянин Макар даром.

Егора Иваныча по въезде в село одно только радовало: увидеться с отцом и с ним же ехать в Столешинск. Иные радости бывали прежде, когда он приезжал домой еще уездником. Теперь он возмужал, окреп, сделался чем-то выше крестьян и даже своего отца. Ему не время было вглядываться в сельскую обстановку, да и не для чего, потому что село как в прошлом году стояло, так и теперь оно в таком же виде. У церкви в прошлом году еше на одном окне вверху стекло было разбито, так и теперь это стекло разбитым остается. Все дома такие же, черные, с высокими крышами да кое-где с палисадниками перед окнами; этот дом Марка,

тот Пантелея, этот старосты, а тот станового. Люди тоже не изменились. Ходят себе в рубахах да в штанах, ребятишки играют, скачут; все говорят чисто по-деревенски; скот по-старому свободно разгуливает по улицам... Все одно и то же, только вон налево две крестьянские избы сгорели.

Егор Иваныч думал, что его встретят как дорогого гостя. В воротах его встретила корова буренка. Во дворе чисто. Но на крылечке настоящая деревенщина. Егор Иваныч вошел в кухню, никого нет. Один только кот забился на шесток и оплетает поросенка, оставленного без призора в латке. Егор Иваныч стащил кота за ухо. В комнате тоже никого нет, в отцовском чулане тоже.

— Вот она, деревня-то! Оставь-ко так дом у нас, в губернском, без заперти!.. Впрочем, и взять-то у них нечего, — проговорил про себя Егор Иваныч.

Зная, что он здесь хозяин, так как дом отцовский, Егор Иваныч втащил в отцовскую комнатку сундучок, в котором заключались книги и одежда, тулуп, войлок, одеяло и подушку. Умывшись и закусивши поросенком, он улегся спать. Но через четверть часа услыхал голос сестры Анны.

— Чтой-то, девка, за напасть! Гли, поросенок-то... Кто же это слопал?

— Да брат, поди, — отозвался женский голос.

— Ах, мои матушки, и не догадаюсь! Где же он, голубчик? — И Анна вбежала в отцовскую комнатку. Брат и сестра поцеловались. Сестра долго любовалась на брата и выспрашивала разные губернские новости.

— А где же отец?

— По грибы, Егорушко, ушел. Чай поди, сичас придет. А ты поешь, голубчик.

— Ты, сестра, извини, что я слопал поросенка.

— Ой! ой! Побойся Бога, брат.

— Отчего ты мне дозволяешь есть, а других ругаешь? Готова глаза выцарапать.

— Ну, ну, учен больно!.. Ты мне брат, а те чужие, каждый волен свое есть, а на чужой каравай рот не разевай. Поешь, право.

— Молочка разве.

— Изволь. Я те малинки еще принесу... Какой нынче урожай этой малины, беда! Вот Пашка у меня вчера обтрескался малины-то, все брюхо вспучило; к знахарке ходила... Теперь прошло, с отцом побежал в лес.

Сестра принесла кринку молока и бурак малины. Егор Иваныч налил молока в чашку, накрошил булки, наклал малины и стал есть.

— Где же Петр Матвеич?

— А будь он проклят! И не говори...

— Что?

— Да просто житья от фармазона нет.

— Что же он, по-старому?

— Ох, Егорушко, и не говори! Насобирали мы ноне в праздник мучки пудов с двадцать, продали десять пудов, а остальную в сусек положили, да денег пять рублей насобирали; он, будь он проклят, все пропил да девке Марье ссовал... Ах, убей ты его, царица небесная!

— Зачем желать зла, сестра! Бог знает, что с ним сделать.

— Так оно... И смерти-то на него, анафемского, нет никакой... Хоть бы с вина сгорел, окаянная сила!..

— Опять-таки я тебе скажу, сестра, смерти желать никому не следует, потому что так господь велит, да и твой рассудок так говорит, что без мужа тебе плохо будет. Ведь у тебя трое детей!

— Ой, и не говори!.. Уж такой злосчастной, верно, на роду Бог написал быть.

— Жалко, сестричка, мне тебя!..

— Ни одного дня такого нет. Совсем каторжная жизнь... — Сестра заплакала.

— Не тужи, сестра. Бог поможет. Надейся на него: все будет легче; стерпится — слюбится, говорит пословица.

— Так оно. Да все тяжело: на Бога надейся, а сам не плошай. Вон попрекает меня новым дьяконом: ты, говорит, с ним дела имеешь... А у тово дьякона, голубчика, жена злюща-презлюща, так и бьет ево...

— Может быть, ты с ним дружбу ведешь?

— Эх, Егорушко, с кем же мне и вести дружбу, как не с хорошим человеком? Что я стану с своим-то мужем делать, коли он жалости никакой ко мне не имеет!

— Какая же твоя дружба с дьяконом? То есть что ты с ним делаешь?

— И не говори! Славный человек!.. Дай Бог ему доброго здоровья. — Сестра перекрестилась.

— Поди, целуешься?

Сестра захохотала и убежала в кухню, вероятно от стыда или от чего-нибудь другого.

К Егору Иванычу пришел Саша, мальчик пяти лет; бойкий мальчик.

— А, Саша! Здравствуй!

Саша, как маленький мальчик — ребенок, видавший дядю через два года и через год, — считал дядю за чужого; а известно, что дети не скоро льнут к чужим, несмотря даже на особенные ласки и выражение лица. Егор Иваныч не очень долюбливал детей и потому, сказав несколько слов мальчику, стал смотреть в окно. Пришла сестра с двухгодовой девочкой.

— А вот и Степка! Поганая девчонка!.. — представила сестра брату свою дочь.

— Какая ты грубая, сестра! Разве можно так говорить при детях!

— Бить их, падин, надо!

— Сестра! Неужели у тебя нет жалости к своим детям?

— И не говори, братчик! Ты не знаешь, сколько я терпела через них, пострелят.

— Зачем же ты замуж вышла?

— Весь век, что ли, в девках сидеть? — Сестра обиделась.

— Лучше бы не было. Ты по своей красоте нашла бы хорошего жениха.

— Именно нашла бы.

Егору Иванычу сестра показалась слишком невежливой женщиной и развратницей. Он никак не предполагал, чтобы сестра его, богомольная смиренная девушка до замужества и хорошая жена назад тому два года, дошла до того, что имеет дружбу с дьяконом и пренебрегает своими детьми. Он догадался, что вся причина этого зла происходит от мужа ее.

— А что твой муж, какой с отцом?

— И не говори! Третьего дни обозвал его всячески. Прибить хотел.

Это разозлило Егора Иваныча, и он решился во что бы то ни стало урезонить его, обратить на хорошую жизнь.

— Паша учится?

— Ой, и не говори! Просто такая сорва, ножовое вострее, да и только! Ты знаешь отца-то, нюня такая — просто беда... Ничем не хочет заняться.

— Ты об отце не говори так.

— Сядет на улицу и сидит весь день с мужиками. А это уж взагоди когда с Пашкой займется. Да и какое занятье-то? Посадит Пашку против себя и заставит читать, а тот, шельмец, читает себе под нос; настоящего нет, отец-то и прикурнет. А как задремал отец, он и бежать да все с ребятами в бабки да в мячик играет. Говорю я ему, чтобы он его, собаку, к

столу привязал да плетку держал в руке, так на улицу идет, там, говорит, другие ребята вместе с Пашкой будут понимать ученье... Неха такая, что просто беда!.. Вот что, братец, поучи ты Пашку-то; я уж такую тебе плетку сделаю!.. Из арапника старова сделаю...

— Учить нужно лаской.

— Ой, и не говори! Самого-то как учили!

В это время Егор Иваныч увидел на улице отца. Он шел с Пашкой без шапки. Далеко видно было заштатного дьякона по его осветившейся солнцем лысине. Павел скакал кругом дедушки, держа в руках наберуху, из которой выпадывали грибы. Дедушка унимает внучка, внучек хуже шалит.

— Погоди же ты, шельма! Задам я тебе поронь! — ворчит старик и хочет поймать внучка. Внучек язык ему выставляет. — Плут парень! Зачем ты грузди-то покидал? Я еще тебе за шапку задам, еще погоди!

— Не боюсь, не боюсь! — кричит внучек и скачет.

Егор Иваныч вышел на улицу встречать отца.

— Дедушка! Дядя! — сказал Павел и подбежал к Егору Иванычу. Егор Иваныч подал ему руку и подошел к отцу.

— А! Егорушко! Ах ты, голубчик! Здравствуй, Егорушко, здравствуй! Здорово ли, дитятко? — сказал ласково и с радостью Иван Иваныч и облобызал Егора Иваныча.

— Здоровы ли вы, тятенька?

— Плоховато, Егорушко, плоховато... Вот по грузди ходил, ноженьки устали, просто беда! Разломило... Спина ноет; знать-то, дождик будет... Ну, как ты, кончил термин?

— Кончил.

— Ну и слава те господи! Пойдем в избенку-то.

Вошли в избу.

— Ну-ко, ты, курва! Што у те все разбросано?..

Брат приехал, а у ней, вишь ты, што... Неряха! — ворчит старик на свою дочь.

— Уж опять пришел ворчать-то! — говорит дочь.

— Ах ты, погань! Мало тебя муж-то бьет, мало, ей-Богу... Гадина.

— Полноте, тятенька, — увещевает сын.

— Да как с ней, стервой, не кричать! Просто от рук отбилась.

— Просто житья мне в этом дому нет! — завыла Анна. — И бранят и бьют, поедом съели...

— Молчи! — крикнул Иван Иваныч. — Пошлю из дому к паршивику.

— Тятенька, полноте!.. — просит сын.

— Я те как начну хлестать вот этой дубиной... Чисти грибы-то! Ох вы, мои ноженьки!.. Просто житья мне от них, чертей, нет... Ну, так, Егорушко, теперь ты как?

— Да уж получил место.

— Ну, слава тебе господи! — И Иван Иваныч перекрестился. — Во священники?

— Да, в Столешинск.

— Слава Богу! Слава Богу... А ты спал ли?

— Дорогой спал.

— Поди сосни, Егорушко. Эй ты, што же ты на стол-то не накрываешь?

— И накрою, подождешь.

— Ах, будь ты проклята! Што мне, в люди идти обедать-то?

Время до обеда Ивана Иваныча прошло скучно для Егора Иваныча; ему должно было слушать ругань отца. Хотя он и вступался в примирение, но его не слушали. Сестра его крупно отгрызалась от отца и все пуще и пуще злила его.

Стал Иван Иваныч обедать грибницу, сваренную из грибов, и грибы, зажаренные в сметане. Егор Иваныч

тоже стал есть, но ел лениво. Старику показалось, что Егор Иваныч брезгует кушаньями.

— Што же ты, Егорушко, не ешь?

— Сыт, тятенька. Я, как приехал, поросенка поел. Потом сестра пришла, молока принесла и малинки... Да и мы там очень мало едим.

— А ты опять бегала? — спросил строго Иван Иваныч свою дочь.

Опять брань.

— Принеси молока с малиной.

Анна принесла молока и малины. Егор Иваныч не ест.

— Поешь, Егорушко.

— Не хочу — сыт. — Егор Иваныч встал.

— А ты посиди, поговори. Али спать хочешь?

— Нет, не хочу.

— Ну, брат, я знаю, что спать хочешь... Эй ты, Анна, топи баню!

— Да какая же теперь баня? — сказал Егор Иваныч.

— Ну, брат, об этом и в писании сказано. Ты у меня золото, Егорушко! А баню надо истопить. Да что с ней, шельмой, и толковать. Пашка, не балуй, отдеру за вихры-то! Пошел за водкой!..

Егор Иваныч отправился спать на сенник. Он долго думал об отце. Как он не развит до сих пор! С людьми он хорош, крестьяне его любят. Отчего же это он с семьей так обращается? Отчего же это брань и ворчанье? Тут что-то кроется худое. Надо будет расспросить у отца; или пока молчать, а самому посмотреть на них. Он спал немного; его разбудил отец.

— Егорушко, спишь? — Эти слова старик повторил раза четыре.

Вымывшись в бане, Поповы стали пить чай.

— А я, Егорушко, давеча забыл сказать тебе... Эта

шельма у меня совсем отбила память. Я ведь думал ехать к тебе. Так-таки и положил завтра ехать.

— Зачем?

— Да что я стану делать с ними? Петька всего обворовал, а вчерась чуть не прибил, окаянный.

— Вы бы, тятенька, как-нибудь легче урезонивали его.

— Бить его надо, да у меня таких нет... Так как же теперь насчет невесты-то?

— Не знаю как.

— Ну, как-нибудь... Так мы завтра же едем по невесту.

— Мне отдохнуть хочется, да и до октября еще долго.

— А как да ты опоздаешь?

— Не знаю.

— Нет уж, ты лучше скорее вари кашу, а то другой, окромя этой, не найдешь.

— Знаете ли, тятенька, что меня мучит: как мне жениться на незнакомой девушке?

— А что?

— Да как же? Ведь я ее не видал даже!

— Так что, что не видал?.. Эка беда! Приедем, пошлем сватью какую-нибудь, и дело в шляпе.

— А как да она не понравится мне?

— Я вижу, ты большой привередник. Больно в тебе нрав крутой сделался. Да оно так и должно быть... На-кось, кончи курс в семинарии! Славно, Егорушко!.. Я бы, как кончил курс, уж кем бы теперь был! Ну, кем бы я был?

— Может быть, благочинным.

— Ишь ты! А благочинным сделаться — штука... Нет, я бы выше был.

— Можно быть и благочинным в губернском городе, старшим членом консистории. Там житье славное.

— То-то вот ты и есть! А как я обучился топорным манером, вот и остался на всю жизнь дьяконом, да и за штатом оставили... Нет, Егорушко, я бы экономом архиерейским сделался. Слыхал я, что им большая честь, да и хорошая жизнь.

— Ну, экономом вы могли бы сделаться только тогда, когда вы были бы монахом.

— Право?

— Неужели вы не знаете, что экономы выбираются больше из монахов?

— А видал и протопопа.

— Не знаю. А больше монахи.

— Ну уж, я в монахи не пойду.

— А вот монахам житье лучше нашего брата, то есть белого духовенства.

— Ну, не ври. Монах за мир грешный молится.

— Вот я так могу быть архимандритом и архиереем даже.

— Ну?

— Право. И очень легко.

— А как?

— Вот таким образом. Если я теперь поеду на казенный счет в духовную академию...

— Ну уж, не езди, не мучь себя, а то ты уж спичка спичкой.

— Мне отец ректор предлагал, да я сказал, что я должен всеми силами заботиться о вас.

Ивану Иванычу это любо показалось; он улыбнулся, но ничего не сказал. Вероятно, он хотел поблагодарить сына, да только не мог или не хотел поблагодарить. Егор Иваныч продолжал:

— Отец ректор сказал, что это дело хорошее, что я за это могу скоро получить священническое место.

— Вот, значит, я не дурака вырастил. Славный ты у

меня, Егорушко, ей-Богу, славный... А мы вот что сделаем...

— Что?

— Да нет, уж я теперь не скажу...

— Вы не видали моего указа из консистории?

— Покажи.

Егор Иваныч показал отцу указ. Отец смотрел улыбаясь.

— Прочти, Егорушко, не вижу.

Егор Иваныч стал читать:

— «По указу его высокопреосвященства, высокопреосвященнейшего (имя рек) архиепископа...»

— Постой! — И Иван Иваныч убежал на улицу. Егор Иваныч посмотрел в окно.

— Куда же это он? — спросил он сестру.

— В кабак! — ответила она.

— А он ходит разве туда?

— Ходит. Каждый день ходит. Он и теперь пьяный пришел.

— Ты врешь, сестра? Он прежде не пил.

— Не знаю будто! Вот ты два года не был дома и не знаешь.

— Это все вы, свиньи, довели его до того! — И брат начал ходить по комнате.

Сестра обиделась на брата и ушла на улицу, ничего не сказавши на замечание брата.

Егор Иваныч положил указ в ящик и только что подошел к окну, как увидел около дома толпу крестьян, впереди которой шел Иван Иваныч, держа в руке косушку вишнёвки.

— Сюда, ребятки! Сюда! — кричит Иван Иваныч крестьянам, торжественно входя в избу.

— Тятенька! — сказал Егор Иваныч.

— Ну-ну, голубчик... — Он уже выпил и жевал ржаной кусок хлеба.

В кухню вошло семеро крестьян.

— Вот он, Егорушко-то! Вот он, сынок-то! — представил Иван Иваныч своего сына крестьянам.

— Здравствуйте, Егор Иваныч! Наше вам почтение! — сказали крестьяне, снявши шапки, и поклонились ему.

— Здравствуйте, господа, — сказал Егор Иваныч несколько вежливо и несколько гордо.

— Как поживаете?

— Покорно благодарю, господа.

— Какие мы господа!.. А вы в попы идете? Дело, Егор Иваныч. Дай Бог вам счастья, дай Бог!.. — сказал один крестьянин, кланяясь.

— Ну, ребятки, выпейте! За сына моего выпейте, ведь в священники посвятили...

— Слава те господи!

— Сам преосвященный бумагу дал.

— Дай вам господи много лет здравствовать.

Крестьяне присели и стали шептаться. Иван Иваныч налил рюмку водки и поднес Егору Иванычу.

— Выпей, Егорушко. Сладенькая.

— Не могу, тятенька.

— Ну, не церемонься. Знаю я, как ваша братья пьет. Ну, ну!

— Егор Иваныч, выпей... Ништо, водка-то сладкая, — просят Егора Иваныча крестьяне. Крестьяне эти были старые, честные и добрые люди. Нельзя было не уважить их ради отца. Тут не для чего было церемониться, потому что Егор Иваныч выпивал в губернском с товарищами, но ему хотелось показать, что он ничего не пьет, показать, что он бегает от кабака и подобного зелья; но, подумав, что этим крестьян не обманешь и он будет священником в другом месте, он выпил, сказав, что выпивает ради хороших людей.

— Ну, теперь я, — сказал Иван Иваныч.

— Во здравие! — сказали крестьяне. — За сынка-то, Егора Иваныча, пейте.

— Ребя, купим еще! Штоф купим, черт их дери с деньгами-то, — сказал один, уже хвативший очищенного, крестьянин.

— Белой! Самой горькой! — закричал другой крестьянин и вытащил из-за пазухи кожаный кошель с деньгами.

— Вали! Вот те пятак.

— Мало! Вали десять.

— Ну те к...

— Митрей, дай три копейки!

Крестьяне стали выкладывать на лавку копейки и грошики. Наклавши тридцать копеек, они послали одного крестьянина за водкой. Между тем Егор Иваныч разговаривал с двумя крестьянами о хлебопашестве и о прочих хозяйственных делах поселян.

— А что, вас ныне не дерут в стану?

— Э, Егор Иваныч, об эвтих делах не след толковать. Мы люди темные. Ну их к Богу!.. Третьего дня Максиму отварганили любо; ничего не взял.

— За что?

— А так, отваляли — и дело в воду. Старосту он обругал, тот становому жалобу написал да, бают, сунул ему малую толику — ну, Максима и взъерихонили.

Полштоф выпит. За водкой и после водки разговаривали об отце Федоре, его дочке, вышедшей за станового пристава Антропова. Крестьяне хотели было еще купить водки, но их стала гнать сестра Егора Иваныча. Егор Иваныч, по приказу отца, прочитал крестьянам консисторский указ. Крестьяне слушали, плохо понимая содержание этого указа. Они только и поняли, что Егор Иваныч едет жениться.

— Вот так дело!

— Любо! Хозяйка — важнецкая штука!

— А ты ее, смотри, не балуй.

— Ноне бабы-то модницы такие стали, просто ужасти.

Крестьяне хотели идти, но в это время пришел Петр Матвеич, пьяный, с подбитыми глазами. Волосы его были заплетены косоплетками, нарезанными из платья жены в виде ленточек.

— Здорово, брат! — сказал густым басом Петр Матвеич и поцеловал Егора Иваныча. — Ну, как живешь-можешь?

— Ничего.

— Кончил курс-то?

— Да.

— А место получил?

— Получил.

— Брат, дай денег! Ей-Богу, нету ни копейки. Дай, пожалуйста!

— На что?

— Ты только дай.

— Ты уйди отсель, пока бока тебе не наломали, — сказал Иван Иваныч.

Крестьяне стали выходить.

— Куда? Эй, Семен, дай денег! — закричал Петр Матвеич.

— Нету, Петр Матвеич.

— Дай!..

Крестьяне стали рассуждать на улице, перед домом Попова.

— А что, Микей, дать али нет?

— Да за что дать-то?.. Кабы дело какое — так, а то не за што.

— Так оно... Разве уж для дедка купим.

— Иван Иванычу разве?..

— Так как?

— Вот и парня-то бы угостить.

— За што угощать-то?

— Да уж все обнаковенно... Так как? Смотри — того не надо!

— Да ты, смотри, так окличь: на улицу, скажи, просят; а не то на ухо шепни, оно лучше будет.

— Да смотри, ежели тот придет, шею намылим и тебе и ему.

— Сумею.

— То-то — сумею. Олонись сумел! Сам, брат, ты один полштоф вылакал.

— Да смотри, проворней...

На зов крестьян на улицу вышли Поповы, а за ними вышел и Петр Матвеич. Крестьяне озлились на Митрия.

— Уж выбрали козла! А ты, коли с ним знакомство имеешь, уходи отсель, — сказал один крестьянин Митрию.

— Да што я с ним стану делать?

— Батюшко, отец дьякон, подем... Мы как-нибудь угостим тебя и сынка твово.

— Я, братцы, пить не стану, — сказал Егор Иваныч.

— Мы вот к Елисею Марковичу подем. Там весело калякать-то.

— Я не пойду в кабак, — сказал Егор Иваныч.

— Ну, как знаешь, твое дело... А только, Егор Иваныч, мы больно тебя полюбили: уж ты такой смирный, и Иван-то Иваныч вот дак человек!.. Право, подем!

— Не могу, братцы. Да мне и спать хочется.

— Так ты, Егорушко, не пойдешь?

— Нет.

— Ну, а я так пойду.

— Грешно, отец, тебе на старости лет в кабак ходить. Мы лучше дома станем толковать.

Ивáну Иванычу хотелось сходить в кабак, покалякать с мужичками, и обидно было, что Егорушка цере-

монится, но, подумав, что сын приехал сегодня, он не пошел в кабак, а пошел спать на сенник вместе с Егорушком. Крестьяне разошлись по домам, рассуждая:

— А каково?

— Иван-то Иваныч ничего, а сын-то горденек.

— Нельзя, выходит: скоро поп будет.

— Счастье!

Между тем Егор Иваныч рассуждал с отцом:

— А ведь вы, тятенька, прежде не ходили в кабак?

— Да что станешь делать? Дома водку держать нельзя, потому что Петрушка выпьет.

— Ведь, тятенька, на водку денег много выйдет.

— Да, Егорушко; ты правду сказал. Все-таки я тебе скажу: крестьяне меня любят и потому сами зовут.

— Они, пожалуй, будут считать вас за пьяницу.

— Ну, и пусть их с Богом. Пословица говорится: пьян да умен — два угодья в нем. Как выпьешь — оно и хорошо, и горести все забудешь. А ведь мне, Егорушко, скажу тебе по совести, трудно было жить. Сначала Петр тянул с меня сколько денег, да ты знаешь... Ну, Анка в доме жила, по крайности хозяйством занималась, теперь ничего не просит. Ну, вот истягался я, истягался на Петра, дьяконом сделал, а он теперь шиш показал. Поди-кось, даром деньги-то даются... Ну, да Бог с ним, пусть сам вырастит детей, сам узнает, каково отцу-то... Священником, брат, трудно сделаться нашему брату: доходы были маленькие, просто хоть вой да зубы на спичку весь... Вот теперь на тебя я сколько издержал... Каждый месяц восемь рублей посылал, а сам без копейки оставался. Хорошо еще, что Анка кормит, еще не гонит, дура...

— Да, тятенька, трудно быть отцом.

— Попробуй — взвоешь так, что беда!.. Теперь вон насчет жены тоже штука. К примеру так сказать, отца Федора дочь вышла за станового пристава, ну и ладно...

Человек он богатый, старенек маленько, да все же он муж, а она, слышь ты, с мировым посредником дела имеет. Только это секрет; ты смотри, никому не болтай, а то мне худо будет.

— Мне какое дело!

— Ну, то-то... Мне, знаешь ли, староста сказывал. Был, говорит, я у станового раз, ну и увидал, говорит, в зале станового с женой и этова посредника. Посредник-то ее, слышь ты, на фортоплясах учит играть... Сижу, говорит, я в зале, кофей пью, а мировой около Степаниды Федоровны сидит... Только что ж бы ты думал? Становой вышел в другую комнату, мировой и поцеловал Степаниду-то Федоровну. Во что бы ты думал, а? В щеку? То-то, што нет... В щеку! Вот оно што!!!

— А ведь я хотел жениться на ней.

— Ну и слава Богу, что не женился. Она с мировым-то посредником еще недавно познакомилась. Становой-то его на свадьбу пригласил, ну, с тех пор и пошло.

— А становой не знает?

— Кто его знает? Я с ним мало знаком. Да если и узнает, то побоится жаловаться, потому что мировой-то — сын богатого помещика и с губернатором знаком, так что люли. Говорят, он и повыше эти дела ведет... Тут, брат, молчи знай. Ты, Егорушко, не проболтайся, пожалуйста.

Егор Иваныч проснулся уже тогда, когда солнышко было высоко, а в котором часу — он не знал, потому что в селе часы только у должностных лиц и бегать справляться — далеко и ни к чему, так как делать решительно нечего, а обеден сегодня не полагалось, так как день будничный — вторник. Он долго лежал, думая об отце, сестре, Петре Матвеиче, о крестьянах и обо всем, что только он видел и слышал в селе. Село ему

опротивело, люди ему показались грубыми. «То ли дело у нас в губернском! — решил он. — Надо уехать скорее в город. Сегодня же поеду. Здесь просто помрешь: здесь ничего не услышишь хорошего, здесь слова сказать не с кем, — все положительно неучи и все развращены...»

Сошедши с сенника, Егор Иваныч увидел своего отца на улице. Он сидел без шапки на скамейке у ворот. Около него сидели Павел и трое ребят, крестьянских мальчиков. Иван Иваныч учил их грамоте по церковной азбуке. Егор Иваныч подошел к отцу.

— С добрым утром, тятенька.

— Спасибо. Равным образом. Долгонько, брат ты Егорушко, спал.

— А который час?

— Не знаю, Егорушко, должно быть, что десятый.

— А вы учением занимаетесь?

— Да. Так-то скучновато, да и Павлушка так-то скорее выучится. Ты, Егорушко, ел ли?

— Еще и не умывался.

— Экой ты какой! Все такой же, как и прежде: спишь долго, баню не надо, ешь мало. Ты поди поешь...

— Мне, тятенька, курить хочется, а табаку нет.

— А ты понюхай.

— Да я не нюхаю.

— А прежде нюхал. Пашка, сбегай к матери; скажи, мол, дядя просит денег. Дай, мол, десять копеек.

Пока Павел ходил за копейками, Егор Иваныч, умывшись, выпил молока и сел к отцу.

— Ну, ну, шельма, читай! Не то голиком в бане отдую, — кричит Иван Иваныч одному мальчику. Тот читает.

— А ты что склады-то не твердишь? Ах ты, шельма! Виноватый твердит: «Бру, вру, врю, мрю», а дальше ничего не знает.

— Прочитай «Верую»! — приказывает Иван Иваныч другому мальчику.

Мальчик читает. Иван Иваныч теребит мальчика за ухо.

— Песни петь знаешь, а молитвы не знаешь!.. Ванька, неси голик! Песни тебе знать?

— Песни знаю...

— А «Верую» зачем не знаешь?

Мальчик смеется.

— Посмейся ты у меня, безрогой скот, я те выдеру крапивой! Ванька, неси голик! Тебе говорю или нет?

— Ты погляди в книгу и выучи, — говорит Егор Иваныч.

— Ну, он, Егорушко, еще не умеет читать. Это я его так учил, только он «Верую»-то с «Отче наш» смешал.

— Это хорошо, что вы так учите. Нынче даже и азбуки совсем другие сделаны.

— Видел я, да, как ни коверкал так-ту учить, ничего никто не понял, да и сам-то я по ним не умею учить. Уж лучше бы, как по-старому учили.

— Теперешнее обученье несравненно лучше прежнего.

— Ну уж, Егорушко, ты так-то учи, а я уж посвоему, по-старому, буду.

— У нас нынче в простом народе хотят сделать наглядное обучение.

— Это как?

— Наглядным образом воспитать ребенка, приохотить его к ученью. Можно ребенка учить с двух годов.

— Ну, не ври.

— Люди, воспитанные самою матерью и отцом и воспитанные как следует, бывают впоследствии образованные люди.

— Ты, Егорушко, не мешай мне.

Егор Иваныч замолчал. Немного погодя Иван Иваныч сказал ему:

— Ну-ко, Егорушко, поучи.

— Ловко ли будет?

— А что?

— Да дело, видите ли, в том, что если учить, так надо учить толком, нужно быть вполне учителем.

— Так, по-твоему, я глуп? Грех тебе, Егорушко, говорить такие слова про родителя, который выучил тебя.

— За это я вас благодарю. Но все-таки я у вас научился только читать.

— Так что ж? На что же семинарии-то заведены?

— А чтобы учить — нужно выучиться не одному чтению и письму, а надо знать многое. Даже вот и нас учили, а выучили очень немногому.

— Чего же еще тебе надо?

— Мы, как говорят большинство нашей братии, только и умеем, что хорошо читать да складно, умно сочинить, а самой жизни, то есть общества, различных сословий, и не знаем, потому что в наши головы много вбили ни к чему не ведущей теории.

— Красно ты, Егорушко, говоришь, хоть куды новый дьякон наш; на одну бы вас доску поставить... Вы должны спасибо сказать, что вас обучили, истягались на вас... Коли бы ты ничего не смыслил, то не вышел бы прямо в священники.

Егору Иванычу ничего больше не оставалось говорить с отцом, и время до обеда прошло скучно. За обедом Егор Иваныч спросил отца, когда ехать. Отец сказал, что завтра именинница жена отца Федора и надо бы Егору Иванычу сегодня сходить к нему в гости. Егор Иваныч обещался сходить вечером, но отец Федор сам пришел. Это был здоровый мужчина, с брюшком, с огромной бородой. Он пришел, как подоба-

ет старшему священнику, в рясе и с палкой. При входе его в комнату Ивана Иваныча все бывшие тут, в том числе и Петр Матвеич, встали и подошли под благословение, кроме Егора Иваныча, которому отец Федор пожал руку.

— Здравствуйте, Егор Иваныч!

— Здравствуйте, отец Федор!

— Садитесь, отец Федор, покорнейше просим! — сказал робко и с трепетом Петр Матвеич.

— А! И ты дома!.. Что, еще не пьян? — сказал Петру Матвеичу отец Федор.

— Никак нет-с.

— То-то. Всю семью загубил... Ну-с, кончили? — обратился отец Федор к Егору Иванычу.

— Да.

— Я слышал, вы уже бумагу получили?

— Получил.

— Можно полюбопытствовать?

Егор Иваныч вытащил указ и подал отцу Федору.

— Хорошо, — сказал он, прочитав. — Слава Богу. Вчуже сердце радуется... Дай Бог, дай Бог! А Будрин куда делся?

— Будрин помер.

— Что вы?! Вот, живем здесь, ничего не знаем. Ну, да ему туда и дорога. А этот-то, Раскарякин, каков? — спросил отец Федор про члена, подписавшего указ.

— Говорят, хороший человек.

— Так-с... Дай Бог, дай Бог! Ну-с, вы когда едете?

— Да еду завтра утром.

— Что вы! Что вы! Завтра моя супруга именинница. Прошу покорно пожаловать с Иваном Иванычем. Дедко, приходи!

— Покорнейше благодарим! — отозвались Поповы.

— Непременно. Я сердиться буду, если вы не придете.

— Очень хорошо-с.

— Прощайте. Так приходите. У меня соберется много людей: становой, зять, с моею дочерью, мировой посредник, голова с женой, отец Василий с женой, дьякон с женой... Да, Анна Ивановна, ты должна прийти ко мне на исповедь сегодня вечером. Слышишь?

Анна Ивановна струсила.

— Да, батюшка, отец Федор, ныне не пост, — сказала она.

— Я того требую.

— Что ты отнекиваешься? — крикнул на нее супруг.

— Очень хорошо.

— Прощайте. Я жду вас завтра. После обедни так и приходите.

— Покорно благодарим.

Отец Федор ушел.

— Вот что значит, Егорушко, кончить курс! На что отец Федор — гордый человек, и тот пришел поздравить! — торжествует Иван Иваныч.

— Што, попалась, гад ты экой?.. Он те проберет! — кричит на Анну супруг.

— И не пойду.

Следует брань и побои, которые разнимает Егор Иваныч. Егор Иваныч ушел с отцом из дому, оставив сестру с мужем.

— Неужели, тятенька, сестра испортилась?

— Лучше и не спрашивай. Беззаконие такое, что хоть вон беги из дому.

— Сестра говорит, что будто муж ее...

— Верь ты ей! Мало ли чего она говорит. Врет.

— Нам надо уехать скорее отсюда.

— Уедем... Егорушко, зайдем выпить?

— Не могу. Неловко как-то ходить в кабак; еще этот отец Федор в Столешинск напишет.

— Правда, правда.

Поповы прошли несколько домов. Встречные мужчины и женщины кланяются низко и, оглядываясь, смотрят на Егора Иваныча.

— Гляди-ко, сынок-то отца дьякона вырос!

— Бают, в попы приделят. Старше отца будет: отец ему в церкви кланяться станет.

— Чудное дело!

У небольшого пруда Поповы сели.

— Так-тось, Егорушко! — сказал Иван Иваныч, в раздумье понюхивая табак. — Дела как сажа бела.

— Все пока хорошо. Одно только мучит — невеста.

— А там-то, ты думаешь, поди-кось, мало расходов надо?

— Да меня прямо посвятят: об этом будет хлопотать сам ректор.

Поповы замолчали. Егору Иванычу вдруг пришла мысль: а что, если в это время переведут ректора? О переводе его говорили в семинарии все профессора. А что, если сам владыка умрет или раздумает? Вот и живи женатый. Это он сообщил своему отцу потому, что один женатый богослов целый год жил без места и у жены дочь родилась, так что он принужден был в светские выйти. Старик, зная по опыту, как даются места, и познакомившись назад тому семь лет с ставленниками в губернском городе, запечалился.

— Да, Егорушко, плохи дела-то. Ведь и рясу нужно новую, хорошую. У меня есть ряска, да на твой рост маловата будет. Разве перешить?

— Когда женюсь, рясу дадут.

— Надо бы тебе и сертучок сшить, а денег нет. Стащить разе у Петрушки подрясник?

— Нет уж, вы его не троньте.

Пошли назад мимо дома станового пристава. У окна сидела Степанида Федоровна с мужем. Поповы шапки им сняли.

— Здравствуй, Иван Иваныч! Что, сынок приехал? — спросил становой пристав.

— Да, Максим Васильич! Уже место получил, скоро свадьба будет.

— Радуюсь.

— А вы, Егор Иваныч, где берете невесту? — спросила Егора Иваныча Степанида Федоровна.

— В Столешинске же, у отца Василия Будрина.

— Хороша собой?

— Не видал еще.

Степанида Федоровна захохотала и что-то проговорила так, что Попов не расслышал.

— Полно ты, дурочка, смеяться. А что, приданое большое? — спросил становой пристав.

Поповы пошли было, но становой стал расспрашивать Егора Иваныча про губернские новости; Егор Иваныч на эти вопросы отвечал ясно и коротко: не знаю.

На другой день, по случаю именин жены отца Федора, в церкви служили обедню всем собором, то есть два священника, отцы Федор и Василий, дьякон Никита Фадеич. Очередь подавать кадило, ставить налой и исправлять служительские обязанности приходилась Петру Матвеичу. Он всячески старался выслужиться перед отцом Федором, но тот все глядел на него косо. Поповы и пономарь Кирил Антоныч пели на клиросе. У Егора Иваныча голос — ни тенор, ни бас, и он умеет петь по-сельски, хоть как ни старается спеть. Отец его поет охриплым голосом. Зато Кирил Антоныч заливается себе каким-то тоненьким голоском. Он поет скоро, так что Иван Иваныч унимает его: Кирила, тише!

— Откачаем! — говорит Кирила и поет снова.

В то время, когда на клиросе не поют, наши певчие разговаривают.

В церкви народу было немного: двое нищих и шесть женщин. Служба кончилась рано. После молебна отец Федор пригласил к себе Поповых. Поповы пошли домой для того, чтобы принарядиться получше и умыться. Егор Иваныч оделся в то же, в чем приехал, только на шею надел белый галстук, сапоги помазал свечным салом, чтобы они не были слишком пепельного цвета. Иван Иваныч надел единственную серенькую ряску, сшитую назад тому семь лет, перед тем как ехать в губернский город. Волосы оба напомадили деревянным маслом, причем Иван Иваныч заметил сыну, что хотя и пахнет от волос, зато волоса хорошо растут. Егор Иваныч никогда не бывал в таких обществах, какое ему приходилось видеть. Положим, он бывал на свадьбах, похоронах, но, не бывши певчим, он бывал только в обществе своих сельских знакомых да у жителей деревень, прихожан Ивановской церкви. Здесь ему нужно было быть в обществе станового пристава; да он еще узнал, что в село приехала какая-то комиссия по какому-то делу и в этой комиссии находятся два чиновника из губернского города; а так как отец Федор тоже находился в этой комиссии, то, вероятно, и она тоже будет приглашена на обед. Поэтому Егору Иванычу на обед идти не хотелось еще и потому, что от этого обеда ему пользы мало, а лучше бы ехать за невестой. Но делать нечего, такой уж обычай, что если пригласили, то надо идти, а то обидятся.

Когда пришли Поповы к отцу Федору, там уже были становой пристав с женой, священник Василий Гаврилыч с женой Марьей Кондратьевной и детьми, сыном Василием одиннадцати лет и дочерью Марьей трех лет, дьякон Никита Фадеич с женой Ольгой Семеновной, голова Максим Тарасыч и староста Сидор Павлиныч.

Всё они, за исключением дьякона Никиты Фадеича, его жены и детей, люди здоровые, что называется, откормившиеся. Поповых встретил сам хозяин.

— Опоздали, Иван Иваныч! — сказал весело уже выпивший водки хозяин.

— С дорогой именинницей! — сказал Иван Иваныч; это же повторил и Егор Иваныч с прибавлением: — Имею честь поздравить.

— Покорно благодарю. Проходите.

Иван Иваныч поклонился всем, Егор Иваныч поклонился каждому особо, кроме некоторых женщин.

— Это ваш сынок? — спросил Ивана Иваныча становой.

— Мой.

— Мое вам почтение! — сказал он и, подойдя к Егору Иванычу, протянул ему руку. — Я вас, право, не узнал. Извините.

— Вчера я виделся с вами.

— Виноват, сто тысяч раз виноват.

Пошли расспросы о губернских новостях, о женитьбе Егора Иваныча.

— Вы жену непременно богатую берите да здоровую такую... — сказал голова.

— Как же вы, Егор Иваныч, не знавши невесты, хочете жениться? Это выходит — на ком-нибудь, — сказала Степанида Федоровна.

— Что же делать, если наше положение такое! — сказал Егор Иваныч.

— Эдак не годится, Егор Иваныч.

— Не знаю.

— Э, полно вам бестолочь говорить! Ты вот начиталась светских книг, а тоже вышла за старика, — сказал, смеясь, хозяин и попросил гостей пройтись по рюмочке. Вошла хозяйка. Поповы поздравили ее со днем ангела. Она поблагодарила и удивилась, что Егор Ива-

ныч вырос и получил место. Петр Матвеич и пономарь прислуживали.

Началось чаепитие. Разговаривали сначала мало, потом, выпивши больше, говорили о предметах, касающихся хозяйства. Всех больше ораторствовали становой и хозяин, и каждый из них, по-видимому, хотел, чтобы все его слушали. Становой рассказывал о следственных делах, ругал станового Кирьянова, который сдал ему не все дела, и по его милости Антропов должен был заплатить деньги какие-то, ругал исправника и говорил, что он непременно уедет в губернский город, чтобы похлопотать об месте судебного следователя или заседателя в уездном суде; хозяин рассказывал о разных поездках в город и проч., причем спрашивал Егора Иваныча, каково там житье, каковы члены консистории ныне и т. д. Женщины сплетничали. Одна только Степанида Федоровна редко отвечала на вопросы, она часто уходила в комнаты и говорила с детьми, своими сестрами. Она уже облагородилась, научилась поднимать голову вверх, говорить свысока. Егор Иваныч сидит и думает: уйти бы отсюда домой скорее, а то как на иголках сидишь. Послушать нечего, говорят все вздор какой-то.

— Что это, Федор Терентьич, Александр Алексеич нейдет? — спрашивает хозяйка хозяина.

— Не знаю.

— Вероятно, дела, — отвечает становой.

— И что это нынче за мировые за такие? Без них было можно обойтись. Заставили бы нас исправить это дело, мы бы то же сделали. А то теперь жалованье маленькое такое, доходов мало, можно бы и нам дать жалованье; меньше бы даже можно дать, — говорил хозяин.

— Это так. Можно бы нам половину из этого жалованья дать, — подтверждает отец Василий.

— Правда ваша. Однако можно бы и нам поручить, — не соглашается становой. — Вот теперь судебные следователи — совсем лишние.

— Вся казна.

— Казна. А ведь начало-то у нас?.. Доходов теперь мало стало.

Пришел мировой посредник; поздравил хозяйку с днем ангела, хозяина с именинницей, остальным поклонился фамильярно и как-то гордо посмотрел на Егора Иваныча. Хозяин представил ему Егора Иваныча. Александр Алексеич сказал только: очень приятно познакомиться. Он сел к Степаниде Федоровне. Егор Иваныч стал следить за ними.

— И вы здесь? — спросил Александр Алексеич жену станового шепотом.

— Нельзя. Папаша обидится, — сказала она тоже шепотом.

— Вам нужно учиться французскому языку; вы еще так молоды.

— Я Максимку буду просить... Да к чему?

— Говорить здесь, в этой берлоге, нельзя обо всем.

— Они не осердятся.

— Видите ли, есть такие слова, которые не понравятся этой публике.

— Чем же вам эта публика не нравится?

— А вы послушайте, что они говорят.

— Они все хорошо говорят.

— Они говорят то, что меня не займет.

— Пожалуйте хересу, Александр Алексеич, — сказал хозяин.

Александр Алексеич выпил со всеми гостями. Пришли чиновники следственной комиссии. Они поздоровались только с хозяевами, становым приставом и мировым посредником, прочих только обвели глазами. На Егора Иваныча они не обратили внимания. Они часто

говорили между собой и с Александром Алексеичем на французском языке. Начался обед. Хозяин знал приличия светского общества, и потому обед был не за общим столом, а гости обедали каждый особо. Попы сидели с дьяконом, дьяконица с женой головы.

— Вы давно кончили курс? — спросил Егор Иваныч дьякона.

— Четыре года, да два года жил без места, а вам так счастье.

— Ну, что же, теперь хорошо?

— И не приведи Бог! Доходов мало.

— Плохо! А скоро женились?

— Я-то?.. Я выпью водочки... Пойдемте? — Дьякон выпил сразу две рюмки и начал рассказывать про женитьбу.

— Вы, Никита Фадеич, о чем рассуждаете? — спросил его становой.

— Тут роман, Максим Васильич. Отец дьякон ставленника учит... Не мешайте, — сказал хозяин.

— Вы в священники? — спросил Егора Иваныча мировой посредник.

— Точно так.

— Вы бы в университет шли.

— Куда уж нашему брату туда соваться! — сказал Иван Иваныч.

Начался всеобщий разговор. Дьякон продолжал.

Гости были, что называется, навеселе.

— Знаете ли, какое у нас пакостное было дело! — говорил становой. — Баба мужа зарезала.

— Ну, это у нас сплошь и рядом. А я вам скажу вот что, — начал хозяин, — приходит ко мне баба и говорит: «Батюшка, что я стану делать, муж меня бьет за все, слова никакого не дает сказать. Я, говорит, уж отравить его хотела, да совесть мучит, помоги ты мне».

— Экая барыня! — сказали женщины и становой.

— Что же вы? — спросил один чиновник.

— Ну, я положил на нее эпитимию.

— Вот так славно. Хорошенько бы ее, каналью, розгами. Вы бы ее ко мне послали, задал бы ей перцу с горошком, — сказал становой.

— За что же вы наказывать-то вздумали? — спросил мировой.

— А по-вашему, не следует?

— Она не виновата, потому что муж ее бьет.

— По-вашему, муж не волен бить свою жену? — спросил хозяин.

— Не имеет права.

— Как?

— Потому что женщина должна быть равна своему мужу.

— Это откуда вы взяли?

— А оттуда, что женщина такой же человек, как и мужчина, только разница в телесном ее сложении.

— Вы сами себе противоречите, Александр Алексеич. Она должна детей рожать.

— Так что же? Детей рождают даже все животные, которые между собой все равны.

— Ничего вы не знаете! В писании прямо сказано: жена да убоится своего мужа. Что, взяли? А?! — Все захохотали.

— Каково вас, Александр Алексеич, батька-то отделал! — сказал становой, хлопая в ладоши и хохоча.

— Да отделывать-то надо фактами, опытом.

— Уж вы лучше молчите.

— А я вам скажу вот что, например: наша Екатерина Вторая кто была?

— Женщина.

— Стало быть, она имела же право управлять целым царством... Королева Виктория тоже женщина...

— Эк вы куда хватили! Разве можно равнять царей с людьми?

— Я не хочу этого сказать, но доказываю, что женщина должна быть равна мужчине. Это у нас уже вводится. В Петербурге я знаю многих магазинщиц — женщин, занимающихся мастерством и торговлей без помощи мужчин: они совершенно независимы от мужчин и из своих заработков платят разные повинности.

— Ну, это еще не доказано.

— Как не доказано! Какое же вам еще доказательство, когда это все существует?

— Может быть, это только в вашем Петербурге, а здесь не то. Там все люди не такие.

— И духовные не такие?

Хозяин замолчал. Он обиделся.

Чиновники стали рассуждать о равенстве крестьян с чиновниками и прочею людскою братиею.

— Крестьяне должны быть равны, — спорил Александр Алексеич.

— Да, — подтвердил один приезжий чиновник.

— Нет, врете. Я чиновника не променяю на крестьянина и руки ему не дам, — спорит пристав.

— А староста разве не крестьянин?

Староста обиделся.

— Вы мою честь изволите задевать?

— Чести вашей мы не трогаем, а только говорим, что вы такой же крестьянин, как и другой, — бедняк.

— Эк куда заехал! Умны больно! А что сказано в писании: всяка душа властем предержащим да повинуется, — сказал хозяин.

— Если палочку я поставлю, то я могу сказать крестьянину: «Кланяйся, каналья», — и поклонится! — прибавил становой.

— Не та пора, батюшка, ныне. За обиду крестьяни-

ну вы, по закону, сами должны будете в ноги кланяться ему, — сказал мировой посредник.

— А вот что, батюшка, отчего это крестьяне на вас жалуются? А? Это отчего? — спросил мирового хозяин.

— А вам какое дело?

— Я пастырь, я должен защитить их.

— Вероятно, они жалуются на то, что им не нравится надел, хотя я их наделил даром.

— А! Дали им землю такую, которая никогда не даст хлеба, а себе хорошую взяли?

— И на вас, Федор Терентьич, жалуются крестьяне, что вы даром не крестите ребят. — Начался спор, ругань, и если бы тут были люди равные, непременно дошло бы до рукопашного боя.

— Что такое священник?

— Пастырь народа.

— Священник должен быть равен всем.

— Дудки.

— Господин ставленник, потрудитесь объяснить. Может быть, у вас поновее науки были.

— По наукам нас малому выучили, но я с вами согласен. Я хочу быть священником именно таким, каких еще не бывало.

Начался гвалт. Чиновники хвалили Егора Иваныча, прочие все остервенились на него. Однако мировой уладил все дело.

— Господа, не будем говорить серьезно. Будемте праздновать именины дружески.

— Образованные люди не должны сердиться из-за убеждений, — сказал один чиновник.

— Господа, сыграемте в карты! — сказал становой.

— Нам некогда, Максим Васильич: у нас комиссия, — сказал один из чиновников.

— Успеете еще. Пойдемте в сад.

Гости согласились сыграть в стукалку. Ушли в сад.

В саду были поставлены два стола: один с винами и закуской, а другой для играющих. Сели играть два губернаторских чиновника, становой, хозяин и Василий Гаврилыч. Александр Алексеич ходил по саду со Степанидой Федоровной, Иван Иваныч прикурнул в саду, а Егор Иваныч сидел с детьми.

Во дворе пировали крестьяне с женами. Федор Терентьич, по заведенному порядку, созвал несколько хороших крестьян с женами и детьми, выставил им ведро водки, два ведра пива и выдал из кухни два пирога с рыбой и две латки с двумя поросенками. Крестьяне напились: одни запели песни, другие кричали:

— Ай да отец Федор!

— Угостил, голубчик!

— Дай ему Бог много лет здравствовать!

— Эй, Терентьич! Скличь-ко матушку.

— Уж мы поблагодарим ее... Зови ее, Анну-то Митревну!

Терентьич ушел и воротился.

— Анна-то Митревна спать изволит.

— Умаялась, голубушка! Дай Бог ей здоровья! — вопят бабы и крестятся.

Трое крестьян борются, прочие хохочут.

— Эй, ты, Егорко! Ногой-то его, ногой! Вот так!

— Да вы вдвоем лучше.

— А что, братцы, кто лучше: отец Федор али отец Василий?

— Ништо. Отец Федор лучше.

— Нет, по-моему, отец Василий лучше.

— Все однако. А што, ребя! Водки-то маловато... Вали еще! Митюха, сбегай-ко в кабак за четвертой!

— Будет вам, лешие! Налопались и так! — кричат бабы.

— Ну вас к лешим! Пошли домой!

— А кто это там в саду-то?

— Да следственники, бают, по монеткам приехали.

— Братцы, поехали домой... Они, знаешь, штука!

— Подем. Поди, Митюха, зови отца Федора.

К крестьянам подошел Егор Иваныч.

— А, Егор Иваныч! Наше вам-с! Как поживаете, Егор Иваныч?

— Слава Богу.

— Присядьте, Егор Иваныч, с нами.

— Не трог! Што беспокоишь?..

Егор Иваныч сел.

— Ну, как, братцы, поживаете?

— Ништо. Вашими молитвами, слава те господи.

— А што, Егор Иваныч, бают, опять быть то б набор; бают, пятнадцать человек с тысячи?

— Не слыхал.

— Бают, война такая ли начнется — ужасти!

— Не знаю.

— Полно, Егор Иваныч! Вы ведь, бают, в священники скоро приделитесь. Уж вам эфти дела все известны, не то что нам.

— А война будет!

— Уж это так, без войны нельзя, потому, значит, отец Федор так баял.

— Ономедни в церкви читал, читал...

— Когда?

— А ономедни, помнишь, как ты ошшо прикурнул. Сколько смеху-то было!

Крестьяне захохотали; началась свалка: прикурнувшего в церкви крестьянина один дружески ударил по голове, другой щелкнул по носу, прикурнувший сдачи дал; пристали прочие. Егор Иваныч ушел в сад. За ним ушел и один крестьянин, старик Петр Егорыч. Он пользовался в селе всеобщим почетом и потому пошел от крестьян благодарить хозяина на угощении.

— Что, Егорыч? — спросил его хозяин.

Петр Егорыч поклонился и сказал:

— Покорно благодарим, батюшко, на вашем на угощении. Славно напились и наелись.

— Спасибо. Наелись ли ребятки-то? Сыты ли?

— Очень благодарны остаемся.

— Ну, спасибо. Да скажи им, чтобы они завтра мою траву скосили.

— Оченно хорошо-с.

Петр Егорыч стоит.

— Ну, что тебе еще?

— Мне бы, батюшко, поговорить с вами надобно.

— Теперь некогда.

Петр Егорыч все стоит.

— Убирайся, каналья! Тебе сказано, что некогда! — закричал становой.

Петр Егорыч, почесав затылок, ушел.

— Егор Иваныч, потрудитесь спросить, что ему надо, — сказал отец Федор Егору Иванычу.

Егор Иваныч ушел, Петр Егорыч пришел к крестьянам во двор.

— Ну что, Петр Егорыч?

— Ништо. Некогда, бает.

— А, дуй-те горой. Подем все! Вали!

— Да, некогда! Дела, вишь ты: в карты играют!

— Ну их к лешим!..

Крестьяне пошли на улицу.

— Отец Федор велел мне спросить тебя, Петр Егорыч: что вам надо? — спросил Егор Иваныч.

— Уж эфто дело мы сами знаем. Уж ему и скажем, а тебе нет.

Егор Иваныч ушел назад.

Высшее сельское общество только после ужина разошлось по домам.

— Ну, Егорушко, насмотрелись мы на людей. Говорят — просто уши вянут. Это, по-моему, оттого, что за-

знались больно, заважничались, — говорил Иван Иваныч, возвращаясь домой и пошатываясь.

— Нет, тятенька, это не от барства, а оттого, что они светские люди.

— Бойся ты этих людей. Ради Бога, бойся... А я, Егорушко, пьян! О, э-э, как пьян!.. А я, брат, хошь и пьян, а знаю, что у меня лошадка не поена стоит. Анна, дура, не напоит. Я хоть и пьян, Егорушко, а позови меня на требу — все сделаю... А позови Федора Терентьича или Василия Гаврилыча — не пойдут, ей-Богу, не пойдут...

«Экая скука!» — думает Егор Иваныч.

— А ты, Егорушко, не пьян?

— Голова болит.

— А ты, Егорушко, много пил. Грешно... Стыдно, Егорчик... Ты еще молодой, пример должен другим показывать... Уж больно мне не понравилось, как ты там с мировым в слово сказал. Они люди такие скверные... Ну, как можно обижать отца Федора?

— Я его не боюсь. Ведь я сам буду священником, да еще городским.

— У! Ты моя чечечка! Золото ты мое! — Иван Иваныч обнял сына и поцеловал пять раз. — Голубчик ты мой... — Иван Иваныч захныкал.

— Полноте, отец.

— Сыночек ты мой!

— Будет, завтра ехать надо.

Старик очнулся.

— А что, разве я не поеду? Я, брат, такую пляску задам! Всех удивлю.

— Надо бы сюртучок сшить.

Старик задумался.

— Ну, Егорушко, не тужи, все справим.

Рано утром Поповы закусили, запрягли лошадь в повозку, наклали в нее необходимые туалетные принад-

лежности, хлеба, пирогов и стали прощаться с Анной и ее мужем.

— Смотри, Анна, живи скромненько да домишко береги, — наставляет отец.

— Все, тятенька, исполню. Ты, тятенька, скорее приезжай.

— Ну, уж не знаю. Вы меня здесь совсем измучили. Живите скромненько. А ты, Петр Матвеич, смотри, не бей Анну: Бог тебя накажет.

Петр Матвеич молчит. Ему, как видно, жалко расстаться с стариком. Анна плачет. На прощаньях всегда как-то на человека грусть находит. Каков бы человек ни был: зол ли он, капризен ли, или просто дурак, но с которым живешь несколько лет, так оно грустно делается в то время, когда он уезжает. Поповы поцеловались со своими родными, те заплакали, заплакал и Иван Иваныч, хотя ему не следовало бы плакать; вероятно, он оттого заплакал, что ему представилось то, как Петрушка будет тиранить свою жену. Крестьяне и мальчишки хотя и не плакали, но им было жалко своего дедушки.

— Иван Иваныч, смотри скорей приезжай.

— Как женишь своего сына, так и приезжай.

— Прощайте, ребятки! — Старик со всеми поцеловался.

— Прощайте, братцы! — сказал Егор Иваныч.

Поповы тронулись. Крестьяне долго глядели на них, а встречные шапки скидывали и говорили: прощайте. Они поехали мимо дома отца Федора. Он уже встал и сидел в рубахе у окна, с папироской во рту.

— Прощайте, Федор Терентьич! — сказал Иван Иваныч.

— Прощайте! С Богом!

Старик погнал лошадь, и лошадь припустила шагу.

— В которую же сторону дорога идет в Столешинск? — спросил отца Егор Иваныч.

— А вот выедем — спросим.

— Куда это, Иван Иваныч? — спросил старика попавшийся письмоводитель станового пристава, шедший с пруда с удильщиком.

— В Столешинск, сына женить.

— Какое им, тятенька, дело, куда мы едем? Как глуп этот сельский народ!

— Экой ты глупый, Егорушко!.. Уж обычай такой. А вот ты женись-ка да посвятись — проходу не дадут, все будут спрашивать... Пустяки, пустяки, а тоже накось, попробуй, женись да посвятись!.. Раскуси-ко!..

Глава третья

НЕВЕСТА

Столешинск — город старый. Построен он между двумя горами и разделяется маленькой речкой, которая в июле месяце делается ручейком. Иной завод лучше выглядит, чем Столешинск. Он только и славится, что пятью каменными церквами архитектуры XVII и XVIII столетий. В нем только два частных каменных дома: один городничего, вышедшего назад тому десять лет в отставку, и благочинного Тюленева; остальные дома, за исключением казенных, все старые, построенные назад тому, может быть, сорок-шестьдесят лет. Тротуары существуют только около здания присутственных мест, здания, вмещающего в себе, за исключением духовного правления и почтовой конторы, все присутственные места, в том числе и тюрьму, называемую попросту острогом. Фонарей и извозчиков не имеется, нет также ни одного бульвара или места для гулянья, кро-

ме кладбища да леса, которого очень много около гор и дальше за городом; нет фотографии, типографии, театра, даже нет ни одного фортепьяно или рояля, и аристократия увеселяет себя органом городничего и шарманкой земского исправника. Все необходимые вещи для живота и наружного украшения получаются: первые — раз в неделю, именно в понедельник, а последние — каждый день или раз в месяц на Здвиженской площади и в гостином дворе, состоящем из деревянного амбара с двенадцатью лавками с двух боков, из которых торгуют только в пяти, а в последних, говорят, торговать нельзя, потому будто, что эти лавки устроились не на пригожем месте. Самая местность города до того, говорят, непривлекательна, что город надо бы построить не внизу, а на которой-нибудь горе, потому, говорят горожане, что весной и осенью грязь бедовая: «вода непроходимая и такая-то ли неприятность происходит по ночам от воров и разных ссыльных, что ужасти...» Уж если говорят так старые жители, никуда не выезжающие из города, то, должно быть, Столешинск незавидный город. Говорят, что кто-то из купцов хотел перевести город на другое место, именно на одну из гор, да жители не согласились: побранили того, кто первый выдумал строиться тут, посудили, что эти домишки денег стоят, а там опять стройся, да и камешек на одном месте обрастает, так и бросили вопрос о перенесении города на другое место и об улучшении этого города, решив, что ладно и так: жили же люди до нас, и мы прожили много лет. Ничего!..

Столешинские люди бедные, а бедные люди только при больших деньгах, полученных неожиданно, разбирают вкусы и проявляют барские замашки. Столешинск от губернского города в 300 верстах, и от него до губернского города идет одна дорога, летом грязная и до того трясучая, что каждый проезжий проклянет ее не

один раз, а зимой по ней ездят гусем и вываливаются в ухабах, от станции до станции, раз по пяти. Эту дорогу поправляют крестьяне только тогда, когда губернатору вздумается проехать в Столешинск для своего удовольствия. Торговля тут очень плохая. Мука привозится только зимой, потому что ее приплавляют летом в губернский город из других смежных губерний, и потому мука дорога; спросу на работы мало; сбыту различных материалов еще меньше. Город населяют две тысячи мужчин и женщин. Мужчины — народ почти весь занятой; женщины, которых больше мужчин, — или народ, работающий на мужчин и на разные семейства, или народ праздный. В число этих классов дети до восьмилетнего возраста не входят. Мужчины состоят из чиновников, служащих в разных присутственных местах, отставных и подсудимых, купцов, мещан, из которых 30 человек портные и сапожники, 14 крестьян, занимающихся постройкой и починкой домов, кладкой и перекладкой печей и прочим мастерством, инвалидной команды и нищей братии. В число мужчин входят также и духовные. Всех духовных в Столешинске полагается 27 человек, но их бывает только 21. Из женщин работают мещанки и чиновницы — на свои семейства и на мужей; прачки, стряпки — большею частью жены солдат и крестьянские вдовы.

Люди в Столешинске — большею частью получившие образование в Столешинске. Приезжие из губернского города немного их подвигают, потому что они едут не для просвещения и прочей пользы, а для денег и разных удовольствий; сначала скучают и смеются над городом, а потом сами привыкают к Столешинску. Столешинцы только и переняли от приезжих и бывалых людей, что научились, и то в аристократическом кругу, говорить свысока, или, проще сказать, говорить на а́, например: пажалуста, сделайте адалжение, пакорнейше

прошу и т. п., — и дамы теперь уже щеголяют в преогромных кринолинах.

В Столешинске для образования детей существуют два училища: духовное и уездное (светское), для мальчиков. Какой-то судебный следователь предлагал было жителям открыть училище для девочек и проект свой предлагал губернатору, да губернатора перевели и перевели также на другое место судебного следователя; жители решили, что образовать детей можно и дома, а по-училищному образовывать стоит много денег. Так и бросили толковать о женском училище... При таких-то условиях жители умеют попеть две или три песни, как, например: «Не белы снеги», «Выйду ль я на реченьку», «Среди долины ровныя», поплясать две-три кадрили, поиграть в карты на разные лады, посплетничать, передразнить кого-нибудь, погоревать и посмеяться; умеют лицемерить и угодить своим начальникам, но умственность их стоит с двадцатилетнего возраста нетронутою. Конечно, они могут сочинять отношения и разные канцелярские бумаги, но спросите вы их о предмете, касающемся их домашней жизни, они вам наговорят такую нелепость, что вы их дураками назовете. Там только и понимается «Сын Отечества», «Северная Почта» и «Биржевые Ведомости», которые читаются нарасхват, да и то понимаются с трудом, и каждый каждые новости судит, как он понимает. Надо заметить, что эти люди головоломных статей не могут понять: их только и занимают политика, разные новости и разные происшествия. Статьи по вопросам, помещаемые в этих газетах, даже в «Сыне Отечества», они не читают. Из журналов там выписывают один экземпляр «Модного Магазина», два «Иллюстрированной Газеты», три «Библиотеки для чтения» и два «Отечественных Записок». И в этих-то журналах они читают только беллетристику, а остальные статьи остаются нераз-

резанными, да и беллетристику они любят не серьезную, а смешную. Попадись им смешной или глупый роман или глупая повесть, хотя старых лет, они ее станут читать раза по четыре в год. Одни только учителя там люди образованные, но они светского училища, а не духовного, и так как их немного, то общество их не любит, потому что их почему-то назвали вредными людьми, и они завели свой кружок. Этих учителей там не любит даже сам смотритель, человек уже старый. Хотели они открыть воскресную школу, но им не дозволил городничий.

Внешнюю обстановку Егор Иваныч увидал, и ему город, после губернского, показался деревней. Присевший к ним с полдороги учитель уездного училища Алексей Петрович Мазуров рассказал то, что мы уже знаем. Егору Иванычу до образования дела мало было. У него только одно было в голове — жениться, а там, может, и хорошо будет.

Егор Иваныч еще вот что узнал от Мазурова.

— А что, Алексей Петрович, каков этот господин Бурдин? — спросил он Мазурова.

— Будрин-то?.. Вы смотрите не позабудьте, что он Будрин... Кажется, что он человек так себе. Только я знаю, что он человек деспот.

— Не может быть?

— Свою жену и детей он бьет, как мужик бьет свою лошадь.

— Ну, а дочь какова?

— Дочь ничего. Девушка такая забитая, что, кажется, она сама не рада своей жизни. Впрочем, она, поди, замужем.

Егора Иваныча дрожь пробрала.

— Неужели? — спросил он.

— Впрочем, не могу сказать, вышла она или нет. Видите ли, я отправился из города девятнадцатого ию-

ля, когда у нас публичный экзамен кончился. В это время за нее сватался заседатель уездного суда Удинцов. У него отец тоже священником в Крюкове. Не знаете ли?

— Нет.

— Ну, он человек хороший; кончил курс в семинарии, был секретарем в губернском правлении... Я думаю, что Будрин отдаст.

— Уж конечно. То заседатель, человек, поди, богатый, а мы что... — сказал Иван Иваныч.

— Вот этот Удинцов и сватался... Будрин было не соглашался, а потом говорят, что согласился.

— Экая досада! — сказал Иван Иваныч.

— И давно сватался? — спросил Егор Иваныч.

— Да в мае месяце еще говорили. Тут, видите ли, дело не просто: Удинцов-то живет рядом с домом Будрина... Ну, стало быть, его проняло, и ее проняло.

— Ой? — спросил Иван Иваныч, так что у него витень выпал из рук.

— Очень понятно. В эдаком городе вы не найдете хороших невест.

— Что ты?

— Напрасно едете.

— Ей-Богу?

— Видите ли, отец дьякон, народ у нас глупый.

— Полно!

— Право... Но, конечно, народ нетронутый.

— Значит, благочестивый?

— Не то я хочу сказать. Ум их нетронут.

— Ну его к Богу, с умом-то!.. Была бы невеста хорошая, все бы было хорошо... Так как, Егорушко?

— Плохо, тятенька.

— Дела как сажа бела. — Старик головой покачал и запечалился. — Не послать ли нам сватов? — сказал он немного погодя.

— А если она замужем?

— Тьфу ты, грех! Совсем сбился с панталыку. — Старик плюнул. — Так как, Егорушко? Ты ведь курс кончил, придумай. У тебя ведь голова-то, поди, не сеном набита.

— Право, не знаю. А вы, Алексей Петрович, не знаете на примете невест?

— Я всего-то пять месяцев живу в городе. Здесь ни с кем не знаком, да и не стоит знакомиться.

— А вы женаты?

— Я со стряпкой живу.

— Полно? Вы-то? Учитель-то? — проговорил Иван Иваныч хохоча.

— Что же вы тут худого находите, отец дьякон?

— Тяжкий грех.

. . . .

Они остановились против квартиры учителя.

— Я бы вас, отец дьякон, к себе пригласил, да квартира у меня небольшая, к тому же сестра с братом и матерью живут.

Егор Иваныч подумал, не жениться ли ему на сестре учителя.

— А она замужем, Алексей Петрович? — спросил он учителя.

— Вдова; с двоими детьми живет.

«Ну уж, не пара», — подумал Егор Иваныч.

— А ей сколько годочков от рождения? — спросил Иван Иваныч.

— Сорок шестой. Ничего, женщина добрая.

После прощаний и разных благодарностей учитель ушел в свой дом; Поповы остались на улице и поехали дальше.

— Где же мы, тятенька, остановимся?

— Ну, где-нибудь. Ты лучше придумай, как невесту искать.

— Что же я, тятенька, сделаю!.. Вы вот что скажите: много ли у вас денег?

— А тебе начто?

Егор Иваныч подумал, что он, пожалуй, обидел отца своим вопросом. Он ничего не сказал.

— Да денег-то маловато, Егорушко. На сено да на овес будет; пожалуй, и на квартиру хватит.

— Плохо, тятенька. А если мы да назад воротимся?

— Не тужи... На Бога надейся, все будет ладно.

— Не лучше ли нам, тятенька, на постоялый?

— Что ты, что ты! Нам-то на постоялый?

— Да что же тут худого! Не на улице же нам жить. Да и сами же вы говорили, что остановимся на постоялом.

— Глупый ты, Егорушко... Ну как же мне, дьякону, с мужиками в кабаке быть?.. Скажут, пьяница горькая, коли по кабакам трется... Да и господу Богу ответ дашь.

— А в селе вы разве не ходили в кабак?

— И не говори лучше. Осержусь — уйду. А я знаешь что придумал? — сказал он весело.

— Что такое?

— А вот что: поедем мы прямо вот к этой церкви и спросим, кто там дьякон, а потом узнаем, где его дом, и поедем туда.

— Это, тятенька, очень смешно будет.

— Ну, не ври...

— Мы лучше так сделаем: подъедем вот к этому дому и спросим, нет ли там квартиры; а если нет, то там, вероятно, знают, где есть квартиры.

— Пожалуй.

У ворот деревянного дома, покачнувшегося на левый бок, с тремя окнами, отчасти замазанными бумагой, стоял не то мещанин, не то крестьянин. Иван Иваныч подъехал к этому дому.

— Здравствуй, дядя! — сказал Егор Иваныч.

— Здравствуй, — ответил тот.

— Вот что, дядя, нет ли у тебя лишней комнаты?

— Нет, нету; сами живем, да чиновник один живет.

— Нет ли у кого другого?

— Да, право, не знаю. Оно, конешно, можно поискать, да надо обождать маленько.

— Где же ждать-то будем? На постоялый идти неловко...

— Оно, конешно, что неловко. А вы заведите лошадку-то во двор, поживете у меня денек-другой, я ужо схожу.

— А есть ли у тебя место-то? Смотри, чтобы не тесно было.

— Ну, день-другой можно. Там, в горенке, чиновник из суда с женой живет, там можно.

— Надо его спросить, можно ли еще.

— Чего спрашивать! Дом-то, поди-кось, ведь мой?.. А я с вас по пятиалтынничку возьму за день.

— Возьми десять.

За десять копеек хозяин согласился впустить их в горенку. В этом доме были две комнатки и кухня. Кухню и одну комнатку занимали сами хозяева — отставной солдат с женой, а другую — чиновник. Хозяин, Поликарп Федорыч, занимается столярным ремеслом — он и работает в комнатке днем. От его работы стоит стук, и во всем доме постоянно пахнет или маслом, или махоркой.

— Пожалуйте в мою горенку, — сказал Поликарп Федорыч Поповым, вводя их в комнату. Их встретили хозяйка с ребенком на руках и два бойких мальчика.

— Посидите здесь чуточку, я сейчас распоряжусь. — И солдат ушел.

— Вы из каких мест, батюшка? — спросила Егора Иваныча хозяйка.

— Из Ивановского села, Петровского уезда.

— Далеконько. К родне, чай, приехали?

— Нет, по делам разным, хозяюшка. Меня сюда назначили во священники, — сказал Егор Иваныч.

— Слышали давече... Так-тось!.. А мы к Знаменской церкви принадлежим. Отец Василий такой, Бог с ним, привередник.

— А что?

— Да как же... Горд больно, уж так-то ли важен, спаси Бог.

Между тем хозяин ругается со своим постояльцем.

— А коли так, долой с моей квартиры!

— Ну, и уйду! Эк, выдумал: жена скоро родит, я плачу полтора рубля, а он еще жильцов в мою комнату хочет пустить!

— Тебе говорят: я хозяин-то, а не ты. Сичас вон!

— И уйду.

— Экой гад! Два с половиной месяца живет всего-то, а за квартиру заплатил только за один месяц. Я, говорит, жалованья получаю три рубля... Мука просто с этими жильцами!

— Вы, хозяин, не беспокойтесь, пожалуйста: мы в другом месте поищем квартиры, — сказал Егор Иваныч.

— Уж вы не сомлевайтесь, я вам сам поищу квартиру-то; а теперь вы и в эвтой комнате поживите день-другой.

Поповы расположились в мастерской солдата.

— А у вас, отец дьякон, есть билет? — спросил хозяин.

— Начто?

— Без билетов мы никого не держим, потому, значит, начальство строго, а люди-то всякие бывают. Вот недавно какого-то беглого монаха поймали, все с книжкой ходил да деньги сбирал.

Иван Иваныч струсил. Он свои бумаги в селе оставил.

— Да у меня бумаги-то в селе... Позабыл, Поликарп Федорыч.

— А без паспорта я вас держать не стану.

Егор Иваныч подал хозяину свои бумаги.

— Уж я их к себе возьму, — сказал хозяин, посмотрев бумаги.

— Зачем?

— Уж так у нас в обычае.

— Да они мне нужны всегда.

Дело уладилось за водкой, которую купил Иван Иваныч и которою угостил хозяина с женой. За ужином говорили про дело.

— А кто здесь благочинный?

— Бог его знает. Говорят, самый старший здесь протопоп Антон в Преображенском соборе.

— Что он, женат?

— Женат. Говорят, детки есть.

— А дочери есть?

— Есть и дочери. Старшей годов семнадцать будет, а младшей годов восемь. Старшая-то модница такая — ужас!

— Вот, Егорушко, и невеста. Махни-ко!

— Да как подступиться-то?

— То-то вот и есть. Протопоп, да еще и благочинный... А мы вот что сделаем: пойдем завтра в этот собор и расспросим хорошенько, как и что.

— Это будет всего лучше, — сказал хозяин.

Когда Поповы легли спать, они долго рассуждали о своем деле.

— Плоховато, Егорушко. Надо бы нам, Егорушко, где-нибудь поближе сыскать невесту-то. А то заехали... Ишь ты, куда заехали, и уехать-то назад не с чем будет.

— Мы попробуем у протопопа посвататься.

— Легко посвататься-то? Нат-кось, протопоп, да еще

благочинный.. Так и отдаст! Знаю я этих благочинных-то. А впрочем, Егорушко, не тужи, авось обладим.

— Скверно, что у меня сюртук-то худой.

— Ничего. Скверно, что у меня вот денег-то маловато!.. Петру-дьякону написать — не пришлет, скажет: нужно на пято-десято самому. Лошадку продать — жалко.

— Я думаю, тятенька, если мне не посчастливится жениться, я в губернский поеду.

— Зачем?

— Буду проситься в академию на казенный счет.

— Не тужи, Егорушко; все перемелется — мука будет. Уж куда тебе в твои годы учиться?

— И в тридцать лет люди учатся.

— Ну уж, не езди... Поживи со мной; утешь меня, старика... А ты вот что сделай: поди завтра к благочинному...

— Что я буду делать у него?

— Покажи ему указ. На то он и дан, чтобы тебе поскорее жениться, на ком хошь. А жалко, Егорушко, что Будрина-то дочка замуж вышла... Поди, хозяин-то врет, что он нехороший человек.

— Завтра мы все узнаем.

Утром рано их разбудил хозяин своей стукотней. Напившись чаю, они пошли по городу. Навстречу им попался дьячок. Дьячок снял шапку.

— Зачем изволили приехать, отец дьякон?

— По делам.

— По невесту приехали?

— А вы как знаете?

— Помилуйте, весь город знает, что вы приехали с сыном и женить сына. Мы уже знаем, что вы назначены священником в Знаменскую церковь, — прибавил он, обращаясь к Егору Иванычу. — Зайдите ко мне на минуточку.

Поповы пошли.

— Вы какой церкви?

— Преображенского собора.

— Стихарь имеете?

— Точно так. А у нас, я вам скажу, у отца благочинного есть дочка, Надежда Антоновна. Посватайтесь-ко.

— Он, поди, ждет из академистов.

— Ну уж, в эдакую-то даль академисты не поедут.

Дьячок накормил их говяжьими пирожками и посоветовал сходить Егору Иванычу к отцу Антону.

Они отправились по церквам. Доро́гой дьячок рассказывал Поповым, что отец Антон сначала был дьяконом в губернском городе, потом его сделали священником в Столешинске, где он прослужил пятнадцать лет в соборе, и так как был учителем в духовном уездном училище, то его, за старание к воспитанию детей и по засвидетельствованию начальства о беспорочной службе, произвели в протопопы и назначили благочинным в собор. Отцу Антону осталось служить до отставки только год, и он имеет в городе каменный двухэтажный дом. Должность его такая: он заведует всеми церквами города и уезда, состоит смотрителем духовного уездного училища и миссионером по делам раскольников, и поэтому его боятся как старшие, так и дети мужеского пола. Служит он в церкви сколько ему угодно, делами занимается так же, в училище, помещенное в его доме, ходит каждый день и каждый день делает там расправу посредством розог. Говорят, что в престольные праздники он сказывает проповеди, но проповеди эти идут одного и того же содержания вот уже десять лет. Если придется сказывать проповедь при владыке, то он просит сочинить своего зятя, священника Благовещенской церкви. В Знаменской церкви полагается два священника, один дьякон, дьячок и по-

номарь. Приход этой церкви небольшой, хотя к ней приписаны три деревни с одним селом, в которых церковь пока еще строится; жалованье небольшое, и то выдается по третям. Казенных квартир ни для одного церковнослужителя в Столешинске нет. Поповы узнали также, что невесты есть еще у одного столешинского священника, одного дьякона и двух дьячков. Стало быть, горевать не о чем.

— Так-так-тось, Егорушко! — сказал весело Иван Иваныч сыну. — Невест много, хоть любую бери.

— Все это хорошо. Надо еще смотр им сделать да стороной узнать, каковы они.

— Все они, кажется, ничего. Можно... Только у отца Петра дочка немножко рябовата. Да это что!..

Дьячок привел их опять в свой дом и купил водки. К нему пришел соборный дьякон, отец Андрей Соловьев. Отец Андрей был еще молодой дьякон, получивший место назад тому полгода, человек веселый и очень беспокойный в пьяном состоянии. За буйство его два раза исключали из архиерейских певчих, и только за хороший голос и большие способности его сделали сперва дьячком в кафедральном соборе, а потом и дьяконом в Столешинске. Он был знаком Егору Иванычу. Явилась водка; началось угощенье.

— Уж я, Егор Иваныч, так-то покучу на свадьбе — любо! А апостол так отчитаю, что рамы будут трещать, или так, чтобы венцы у вас попадали с голов.

— Зачем венцы?.. Если венцы спадут — плохо, — заметил Иван Иваныч.

— Верьте вы им! — сказал Егор Иваныч.

— Да как же! — ершится Иван Иваныч. — Уж такая примета давно у нас. Каждый ребенок знает, что если венец упадет, то этот человек умрет прежде обручающегося с ним.

— Ох вы, старые люди! Знаешь ли, дядька, куда тебя надо?.. Ну, да не скажу.

Этот дьякон, отец Андрей Филимоныч, пригласил к себе Поповых, угостил их там и дал одну комнатку для жительства их. Они уговорились так, что за квартиру Поповы платить не станут, а будут платить только за хлебы, и то или после свадьбы, или тогда, когда Егор Иваныч будет священником.

На другой день Егор Иваныч, вымывшись утром в бане, отправился к отцу Антону Иванычу Тюленеву. Протопоп помещается во втором этаже. В прихожей Егора Иваныча принял пономарь, исправляющий должность лакея и подчас кучера самого Тюленева и его семейства. Комнаты чисто барские: из них пахнет мускусом.

Егор Иваныч прождал часа два до тех пор, пока не услыхал из боковой комнаты охриплый голос:

— Егор!

Пономарь было вздремнул, а при этом возгласе он очнулся.

— Скажи обо мне, — сказал Егор Иваныч.

— Ладно. Только он сегодня сердит... — Пономарь ушел.

Через полчаса вышел из залы в прихожую сам протопоп, в шелковом подряснике и в туфлях. Он уже сед, и видно, что очень горд и важен. Егор Иваныч подошел под благословение.

Они вошли в кабинет. Кабинет убран тоже на барский манер. Тут были бронза, серебро, фарфор, вещи под чехлом, шкафы с бумагами и книгами. Протопоп сел.

— Я слышал, вы назначаетесь сюда во священники?

— Точно так-с.

— Очень рад. Егор! Принеси чаю. Да-с... садитесь.

Молчание. Протопоп зевнул. Егор Иваныч стоит.

— Давно кончили курс?

— Нынешнее лето.

— Скоренько-таки изволили место получить.

Егор Иваныч показал ему свои бумаги.

— Хорошо. Владыка будет здесь?.. Что вы не садитесь?

Егор Иваныч сел.

— Нет. Преосвященный на будущий год собирается сюда.

— А отец ректор?

— Нет.

— Вы учителем можете быть?

— Могу.

— Мне нужно учителя арифметики. Сделайте одолжение.

— Очень хорошо-с.

Молчание.

— Ну-с... Да когда вы будете посвящаться?

— Его высокопреосвященство сказал мне и на прошении написал, чтобы меня посвятить в октябре.

— Как поздно! Отец Василий Будрин просто смучился. У него очень много занятий; он законоучителем в светском училище.

— Я слыхал, что там, ваше высокоблагословение, классы бывают только два раза в неделю.

— Все-таки... Да, одному очень трудно. Вот тоже в той церкви и дьякон захворал. А дьякон такой примерный, трезвый, услужливый. А это самое главное. Да-с.

Молчание. Принесли чай.

— Кушайте.

— Ваше высокоблагословение, купец Татаринов пришел, — сказал пономарь, — да какой-то дьячок.

— Это чистая беда быть благочинным. Светские говорят, что быть благочинным делать нечего и что мы

напрасно только жалование получаем. А и не знают того, что, сверх главной обязанности быть священником, у меня так много других тому подобных обязанностей, как, например, быть благочинным, то есть управлять округом. А вы еще не знаете, каково возиться с духовенством... Тоже вот теперь смотрительская должность... Это каторга с ребятишками. А тут еще миссионерство возложили: обращать и всячески стараться о просвещении раскольников... Владыка такой, право, что я не могу придумать, как бы освободить себя от всех этих обязанностей. Видит, что я хороший и старый человек... ну и... Однако я пойду. Вы посидите немножко.

«Эк он размазывает... Миссионерство, говорит, надоело... А сам дом каменный состроил... Ишь, какое богатство!» Егор Иваныч стал смотреть в зал. Но так как он был близорук и без очков, то ничего там не видел, а слышал только разговоры. Хотелось ему, по привычке, подслушивать, подойти к двери, да он боялся. Подслушивание он считает подлостью.

— Я это безобразие выведу из вас. Я приберу вас к рукам... — кричал благочинный.

— Отец благочинный, я не виноват: я был выпивши, — говорил кто-то тоненьким голосом.

— Пьянствуете только вы. Убирайтесь, мне некогда.

— Ваше высокоблагословение... — Егор Иваныч услыхал грохот.

«Ну, — подумал он, — виновный, верно, в ноги кланяется».

— Ваше высокоблагословение, у меня семейство большое... Вы знаете, я всегда был честным...

. . . .

Стоящий или сидящий в зале купец в это время встал против отпертых дверей в кабинет благочинного. Он был не то красен, не то желт и почесывал свою бороду. Благочинный подошел к нему.

— Ну-с, господин старовер, что скажете?

— Вы обо мне напрасно пишете в консисторию, что я не обращаюсь в православие, тем более, что ныне, как я вычитал в газете, нас более не преследуют.

Благочинный увел купца в другую комнату. Оттуда слышалось только:

— Я не боюсь вас... Каждый человек, господин благочинный, должен делать что хочет.

Вышли. Купец ушел, а благочинный пошел в кабинет и сел на кресло, тяжело отдуваясь.

— Ох, как устал! Просто мука с этими людьми. Слышали, какие они буяны?

— Очень плохо слышал.

— Мученье. Нет, надо будет приняться серьезно за них, надо будет объехать их всех. Ну, а этот раскольник — это зверь, дурак чистейший, а говорит — как собаку съел.

Егор Иваныч хотел сказать, что раскольники люди не глупые и терпят напраслину, но мог ли он сказать это благочинному, у которого он искал защиты? Он хотел идти, но ему хотелось попросить об невесте.

— Егор!.. Егорка!.. Это он, шельма, вероятно, с дьячками да дьяконами возится. Надо его будет назначить в звонари. Сходите, пожалуйста, туда. — И благочинный указал Егору Иванычу рукой на угол, а сам, достав из кармана пачку ассигнаций, положил их в стол.

Егор и Егор Иваныч вошли в кабинет.

— Сходи на почту. На! — И благочинный дал Егору записку, на которой было написано: возвратить пакеты за № 312 и 313 в консисторию.

— Ваш отец — дьякон?

— Точно так.

— Отчего же вы в академию не едете? Вы бы прямо из академии в благочинные вышли, а то эдак очень долго ждать вам благочиния. В другом месте вы, при

иных условиях, получите, как это, впрочем, будет зависеть от владыки. Здесь я благочиние предоставлю своему зятю.

— Я, отец благочинный, теперь никак не могу продолжать учиться, потому что у меня отец очень стар и очень беден... Брат в бедном месте дьяконом.

— Ну, это ничего. Вы хорошее дело сделали, что не поехали. Нынче академисты народ глупый стали, больно важный. Вон мой зять, кандидат академии, сначала обошелся со мной так вежливо, а теперь и знать меня не хочет. Все училище в руки взял, почти всех учителей я через него переменил. Они, говорит, больно стары и ничего не смыслят, хотя все народ молодой были.

— Стало быть, он прав. Он больше их знает, да и в семинариях теперь обучают не по-старому.

Егор Иваныч начал размазывать о семинарии, что они и учителя тамошние все хорошие люди: для того, чтобы показать, что он неглупый человек, — даже похвастался своею проповедью. Он сначала подивился, что благочинный принял его очень вежливо и разговаривает как с приятелем. Он даже подумал: вероятно, у благочинного много грехов лежит в консистории и архиерейской канцелярии. «Постой же; пугну я тебя. И мы тоже любим похвастаться. Здесь нельзя не сподличать...»

— Нынче у нас отец ректор славный человек в отношении семинарии, не то, что прежде, и человек очень строгий.

— Да, да. Слышал в прошлом годе в городе.

— Он мне сам предложил сюда, а потом хотел похлопотать, чтобы меня перевели в кафедральный собор. Когда же я буду посвящен, он обещал мне дать диплом на звание учителя. Он даже советовал мне открыть воскресную школу и хотел написать вам об этом предмете.

— Ну, вы с воскресными школами пропадете.

— Нет, отец благочинный. Этой бесплатной школой...

— Как бесплатной?

— В воскресных школах обучают даром, без различия — и детей, и взрослых, преимущественно крестьян.

— Поговаривали у нас об этом, да будет-то это бесполезно.

Вошла жена благочинного, толстая, высокая, старая женщина, расфранченная, как попадья или купчиха. Егор Иваныч поклонился ей. Та слегка поклонилась.

— Благочинный, иди обедать, — сказала она мужу.

— Ладно. Надя встала?

— Одевается.

— Эк ее, нежится. А Петька и Васька, поди, на улице?

— Нет, в саду.

— Ведь я же звал сюда Ваську... Где письмоводитель?

— Он пошел купить Наде табаку.

— Вечно у них амуры. Я эту дрянь прогоню, коли замечу что-нибудь. Смотри ты у меня, смотри в оба... ни за чем не хочет приглядеть... Ну что за табак девке!

— Да ведь ты куришь, благочинный!

— Молчать!

Егор Иваныч пошел к двери и поклонился благочинному.

— Прощайте. Приходите ко мне завтра. Я вас испытаю, можете ли вы быть учителем моему сыну и вообще в училище. А как вас зовут?

— Егор Иваныч.

— Хорошо.

— Это кто? — спросила без церемонии жена благочинного.

— Не твое дело. Пошла!

Егор Иваныч ушел.

«Вот дубина-то! — подумал он. — Это просто черт знает кто. Ах, я и забыл попросить его дозволить мне сказать здесь проповедь. Сил не пожалею, чтобы она понравилась. Впрочем, я покажу ему ту, которую в губернском сказывал. А гадко я сказывал, здесь лучше скажу».

Иван Иваныч был в восторге от рассказов Егора Иваныча и обещался отслужить заздравный молебен, когда только он женится на протопоповой дочери.

— Ты у меня, Егорушко, ум!.. Сила!..

Андрей Филимоныч передразнивал благочинного, как он ходит, говорит, кланяется, ругается, ест, пьет, передразнивал также и жену его. Все до слез хохотали.

— Да полно, Андрюшка! — унимала его жена.

— А я тебя по лбу! — И дьякон ударил ее по лбу кулаком.

— У, дурак, больно!

— А тебе не довольно? Я тебе покажу, как благочинный Егорку бьет.

— Перестань.

— Выйди на роста́нь! Ах, Егор Иваныч, как я вам расскажу, что мы выкидывали на нашей свадьбе, не так еще рты-то разинете, не так еще свои зубищи выпучите.

— Да будет тебе.

— Ну, я тебе задам еще ночью... Я еще в семинарии научился всякой ловкости. Просто сорвиголова!.. Всякого, конного и пешего, передразнивал, фигляр превосходный был, такой, каких днем с огнем не сыщешь... Поставили, знаете ли, у нас на балу стул поперек ножками среди полу, а позади спинки его рюмку водки и говорят: коли ты больно хитер... Да еще что говорят-то...

— Да перестань, Андрюшка!

— Ну, я вам обоим на ушко скажу. — И дьякон сказал им что-то на ушко, те захохотали. — Ну, достань, говорят, рюмку через голову зубами и выпей... Каково? Ну, думаю, черт вас дери, стоит не стоит — все равно... Что, говорю, дадите? Один дьякон говорит: ведро пива на голову... Я и говорю: сам съешь, а вот как достану и выпью, то на тебя вылью ведро пива, а с компании ведро сладкой водки. Ну, они заартачились... Согласились-таки...

— Ну, что, достал? — перебил его нетерпеливый Иван Иваныч.

— Погодите. Вот я лег на спину промеж ножек, голову загнул назад... смеются канальи, а эта шельма, Анютка, говорит: отстаньте, Андрей Филимоныч (никак не могу выбить из ее головы эти слова — *отстань* да *полно!* Ну, смеются, неловко так, а я все-таки сцапал рюмку во весь рот и держу водку — чуть не захлебнулся, черт возьми. Потом, как выпил, схватил ведро с пивом и сейчас же облил им дьякона Максима, и прочим досталось. Уж мы очень больно веселились. Как утром в баню шли, так на ухваты платки надевали, — свахи шли с ухватами впереди, и вся компания нас то водой обливала, то сажей мазали щеки... Песни как задирали!.. Здесь бы так за страм сочли, а там всегда так.

Веселая компания разрушилась с приходом дьячка, который сказал, что требует отец Василий свадьбу венчать.

Егор Иваныч пошел с дьяконицей смотреть свадьбу, а Иван Иваныч пошел разыскивать, не играет ли кто в шашки. Так как играющих на дороге не оказалось, то он тоже поплелся в церковь, думая: уж теперь я до тех пор не пойду смотреть свадьбы, когда мой Егорушко не станет венчать. Уж я тогда рядышком с ним стану: коли ошибется, подскажу. Поди, у бедненького руки будут дрожать.

В церкви все смотрели на Егорушку как на приезжего: одни показывали на него пальцами и спрашивали: кто он? — а другие говорили, что он приехал свататься за дочь благочинного, и говорили такие вещи, что Егора Иваныча коробило.

После венчания дьякон с Иваном Иванычем ушли на свадебный пир. Напились чаю. Дьяконица стала починивать подрясник мужа, а Егор Иваныч стал читать «Отечественные Записки» прошлого года. Он скоро положил книгу.

— Какая дрянь! — сказал он.

— Что?

— Да напечатано в этой книге все ложь. Действительной жизни нет.

— Полно-те, тут хорошая повесть есть, смешная такая.

— А вы что читаете?

— Я повести читаю, а дьякон критику любит. Когда мы лягем с ним спать, покою нет от него: лежит и читает вслух; я спать хочу, а он как щипнет в бок, просто до слез проймет. Слушай, говорит, учись, пока я жив.

— Я замечаю, отец дьякон, кажется, любит вас.

Дьяконица покраснела.

— А подчас такое слово загнет, что хоть вон беги... Ономедни пришел пьяный-препьяный и орет во всю ивановскую: близко не подходи, изобью. Я было хотела скрутить его, да он такую затрещину дал в эту щеку, что и свету божьего невзвидела... Уж так-то мне было обидно!.. Плакала, плакала я, а на другой день корила, корила его!.. В ногах вывалялся... Если хотите, Егор Иваныч, я вам сосватаю невесту.

— Какую?

— Дочь нашего соборного дьякона Алексея Борисова Коровина, Лизавету. Ей в сентябре восемнадцать

будет. Я ее знаю, она моя подруга. Девушка хорошая.

— Красивая?

— Ну, нельзя сказать, чтобы красивая, а только рукодельница, смирная.

— Что же она так долго не замужем?

— Как долго? Ей ведь теперь семнадцатый, а в один год не скоро найдешь женихов, да Алексей-то Борисыч под суд попался, поэтому хорошие женихи обегают ее.

— За что он попался?

— Знаете ли, он любит выпивать, а в церкви перед евангелием случалось выпивать... Зато у него голос огромный, у моего дьякона хуже голос, верно, оттого, что он еще молод. Был он, знаете ли, на похоронах: жену чиновника похоронили. Там напился, что называется, душа в меру. А он пьяный любит ругнуться всякими словами, и если его заденет кто-нибудь, он и рукам волю даст, а он как ударит, так и повалит на пол. Поспорил он с городничим, жену его как-то обозвал, тот его обозвал пьяницей. Алексей-то Борисыч не посмотрел, что он городничий, схватил его за мундир и оторвал две пуговицы совсем, с сукном. За это его, бедного, и отдали под суд. А жалко! Добрый какой; главное, голос у него здоровый: как рявкнет, окна звенят! Архиерей хотел было его к себе в протодьяконы взять, да вот, как эта беда вышла, ну, его и отставили. Теперь мой муж стал старшим, а он служит редко, все пьет.

— Он богат?

— Какое богатство! Вот уж полгода, как ничего не получает, ну, а прежде все пил. Может быть, у него и есть деньги, да только едва ли. Лиза говорит, что мать ее, Дарья Ивановна, берегет деньги от мужа. Право, соглашайтесь. Лиза славная девушка. Что вам в протопоповой дочери? Правда, она красивая и разговорами собаку съела, только вам не пара. Она слишком горда.

С нами не говорит, а поклонишься ей — нос на сторону воротит. Да едва ли и отец протопоп отдаст ее за вас.

— Я думаю тут попытаться у отца протопопа.

— Как знаете, дело не мое... Только я бы не советовала вам. Лучше взять бедную, да хорошую жену, а не модницу какую-нибудь.

Егор Иваныч спал на сарае. Пробудившись утром, он услышал разговоры отца с дьяконом. Дьякон басил и крякал; Ивана Иваныча — едва слышно.

— Так-то-с, Иван Иваныч!

— То-то. А голова болит, надо опохмелиться.

— А черт их дери! Опохмелиться надо, встать только лень.

— И мне тоже.

— А мы-таки дерябнули.

— Залихватски!

— Так ты как думаешь насчет Коровина?

— Думаю, можно. Надо бы сегодня...

— Скорее лучше. Знаешь, что я сделаю?.. Пойдем сегодня сами без него к Коровину: если он пьян, разбудим, не пьян, к себе приведем.

— Ладно. Да у меня, брат, денег нет.

— Ну! Эка беда!.. Нам бы не поверили в долг? Поверят. Вот Коровин говорит: я забирал, забирал из кабака водку, не платил целый год, говорю: счет подайте в церковь. Те и подали. Ну, благочинный говорит: это не мое дело. Так тот с носом и остался.

— Да, трудно жить на свете... Только я смекаю, ловко ли будет у Коровина-то высватать?

— Уж не беспокойся. Я сам хотел свататься, да отец посоветовал эту взять. И как, слышь, вышло: только что стал я свататься, вдруг указ из консистории: переводится-де он в село. Вот те и раз! Ну, перевелся,

там я и женился, потому что от благородного слова неловко отказываться.

— У тебя, брат, жена славная.

— Да ничего...

— Хозяйка хорошая.

— Это правда. Этим меня Бог не обидел... А мы пойдем, выпьем?

— Да рано...

— Ну, толкуй! Смотри, солнышко-то куда поднялось! Пойдем?

— Пойдем. Да к Коровину пойдем же?

— Непременно. Тут дело верное.

— Надо ему сказать, чтобы он к протопопу не ходил.

— Нельзя, ведь он здесь будет служить. Если Егор Иваныч не пойдет сегодня к нему, то он съест его.

— Все бы подождать не мешало: авось протопоп-то и отдаст за него свою дочь.

— Ну уж!

Дьякон ушел. Егор Иваныч тоже слез с сарая и ушел в дом.

За чаем шел такой разговор:

— Ты, Егорушко, лучше на дочери Коровина женись. Я уж это дело всякими манерами обдумал.

— Мне все равно.

— Оно не все равно. Пондравится — женись, не пондравится — можно другую найти. А насчет отца благочинного вы не беспокойтесь: не стоит овчинка выделки. Она хотя и нашего поля ягода, но как дочь благочинного, так заважничалась, что годится разве в жены какому-нибудь благочинному или светскому человеку вроде исправника и т. п.

— Я теперь ничего не могу сказать.

— Как знаете. А мы все-таки Алексея Борисыча приведем сюда, как раз к обеду.

Егор Иваныч подумал и пошел к благочинному.

Благочинный был уже одет. На нем была шелковая ряса голубого цвета, камилавка и два креста — один наперсный, а другой в память 1853—1856 года.

— Здравствуйте! — сказал он Егору Иванычу. — Мне нужно съездить кое-куда по делам. Пожалуйста, займитесь моим Васей. Я часа через три-четыре буду. Пойдемте. — Благочинный повел Егора Иваныча в комнаты.

Прошли две комнаты, убранные хорошо, с цветами и с удушливым запахом мускуса и резеды. В третьей сидела дочь благочинного, Надежда Антоновна, девица лет двадцати, очень румяная, здоровая, разодетая в шелк и в кринолине.

— Пошла прочь! — сказал ей отец.

— Там, папа, очень душно.

— Вечно ты у окна торчишь! Пошла, тебе говорят! — Дочь ушла.

Вошли в четвертую комнату. Там играли дети. Мальчик двенадцати лет возил по комнате с мальчиком пяти лет деревянного коня, девушка тринадцати лет сажала на коня куклу.

— Пошли прочь! Я вас, гадины! — Дети присмирели. — Вам говорят? Вася, останься. — Дети ушли.

— Вот тебе новый учитель... Смотри слушайся его. А вы, если он будет шалить, так на колени и ставьте, и пусть он, негодяй, до моего прихода на коленях стоит. — Благочинный ушел и вскоре, вернувшись, взглянул в щелку дверей и ушел назад.

Егору Иванычу неловко сделалось быть учителем в доме благочинного, и притом учителем в первый раз. Он хотел учить крестьян, а не детей подобных родителей. Василий сначала робел, утирая рукавом свой нос, щипал рубашку и пялил с любопытством глаза на нового учителя, но когда новый учитель заговорил с ним, он стал отвечать резко, с некоторою важностью.

— Вы давно учитесь? — спросил его Егор Иваныч.

— А вам начто?

— Мне хочется знать потому, чтобы легче было заниматься с вами.

— Я первую часть грамматики прошел.

— Кто с вами занимался?

— Отец Петр Иваныч.

— Хороший человек?

— Мы в училище его потом прозвали...

— За что?

— А он царапается больно. Когти у него на руках острые.

— Прочие учителя каковы?

— А вы к нам в учителя?

— Я после посвящения, может быть, поступлю.

— А у вас хорошие учителя?

— У нас профессора учат. Они сами в академии учатся.

— А я в академию скоро поступлю?

— Надо прежде кончить курс в семинарии. А когда вы кончите курс там, то будете такой же, как и я.

— Неправда, неправда!.. Я нынче поступлю в академию. А вас как зовут?

Егор Иваныч сказал.

— А вы учителей любите?

— Нет.

— Учителей надо любить...

— Неправда, неправда! Они секут больно.

— А вас секли?

— А вас?

— Меня много раз секли. Прежде по три раза в день секли.

— А теперь?

— Теперь не смеют, потому что я кончил курс.

— Меня-то учителя не смеют сечь, да папаша сечет. Больно сечет...

С час Егор Иваныч протолковал с Васей об ученье. Он понравился мальчику. Они начали урок с арифметики, которую Егор Иваныч плохо смыслил.

— А у вас, Василий Антоныч, большое семейство?

— Большое. Сестра Надя — невеста...

— Чья невеста?

— Так невеста: она уже большая... Папаша ждет жениха от архиерея. Петя брат, я да сестра Танька. Сестра Александра замужем, за отцом Павлом. Злой такой. А Анна, что всех старше, та за лекарем.

Пришла жена благочинного. Поклонившись важно Егору Иванычу, она важно села на диван.

— Ну, что у вас там хорошего, в губернском? — спросила она Егора Иваныча.

— Ничего; веселее здешнего.

— Ах, какая здесь скука проклятая!..

— А вы родом отколе?

— Я в губернском родилась. Отец у меня протопопом был. Знали Первушина?

— Слыхал. У нас Первушин есть профессор.

— Это дядя мой. Ну, а отец ректор каков?

Пришла дочь Надежда.

— Ты зачем?

— Мамаша, одолжите шелку!

— А ты разве весь издержала?

— Весь. — Она взглянула на Егора Иваныча; Егор Иваныч на нее глядел. Она ему понравилась, то есть ему понравилось ее лицо, платье и голос и не понравилось то, что он заметил в ней какую-то гордость и она, вошедшая в комнату, не поклонилась ему.

Жена благочинного вышла, за ней вышла и дочь, взглянув еще раз на Егора Иваныча. До прихода благочинного их не было видно.

Пришел благочинный.

— Просто смучился весь... Ну, как Вася?

— У него есть способности.

— Да, я это замечаю, только он баловник, каналья.

Стали обедать все и к обеду пригласили Егора Иваныча. За обедом говорили о лицах губернского города. Егор Иваныч робел, руки тряслись, и он говорил невпопад. Благочинный приглашал его выпить рюмку наливки, он отказался, говоря, что он ничего не пьет.

Когда Егор Иваныч стал прощаться с благочинным, то сказал ему:

— Я, отец благочинный, осмеливаюсь побеспокоить вас: мне нужна невеста, а я не знаю, где высватать.

— Уж не на моей ли дочери вы хотите жениться? — спросил тот улыбаясь.

Егору Иванычу стало стыдно. Он ничего не мог ответить.

— Впрочем, я подумаю.

— Могу я надеяться?

— Завтра я вам скажу ответ.

«Нужно быть только смелым, все будет хорошо. Ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам... Теперь все дело обделано», — думал Егор Иваныч, придя домой.

Надежда Антоновна росла и воспитывалась матерью и отцом на барский манер, с тем различием, что родители держали ее очень строго. Она не умела стряпать, а умела шить себе платья, вышивать, читать и писать. Читать светское ей запрещалось, и она доставала украдкой книги от своей сестры Анны, которая за лекарем. Дни ее шли скучно. Ее будили к обедни, в праздники она должна была идти в церковь, после того должна сесть за работу, после обеда спать, или вышивать, или читать книги духовного содержания, обучать брата Петра и сестру Татьяну; вечером, после чаю, опять что-

нибудь делать. Гулять в Столешинске не в моде. Светское общество она видела только у сестры Анны, но так как лекарь женился на Анне с год и уехал в другой город, то она мало поняла обычаи этого общества, тем более общества уездной аристократии. Там, и вообще в гостях, она вела себя как богатая невеста, говорила отрывочно, не умела держать себя по-барски, не умела танцевать, говорить по-светски, но считала каждую женщину или девушку и каждого мужчину дрянью. Ей хотя и хотелось вырваться из дому куда-нибудь, но всегда делалось досадно, что она бывает в этих обществах. Начитавшись светских книг, она сначала плохо верила им, потом стала бредить о различных героях, а когда бывала в обществе светских людей, она там видела все обыкновенных — глупых — людей и ругала это общество и книги.

Ей надоела жизнь с отцом, хотелось уйти куда-нибудь. Но куда уйдешь? У отца все-таки почет. Авось жених какой-нибудь посватается. Но какой жених? Чиновников она ненавидела; военных тоже. Молодых семинаристов она видела мало. Ей хочется жениха в камилавке и с наперсным крестом...

Когда Егор Иваныч пришел домой, там кутили Иван Иваныч, Андрей Филимоныч и Алексей Борисыч Коровин. Коровин был толстый, здоровый мужчина, с оплывшим лицом, густыми черными волосами и бородой. Он говорил октавой.

— Здравствуйте, здравствуйте! Что, по невесту приехали? — спросил его Алексей Борисыч.

— Да.

— Доброе дело, доброе дело.

Алексей Борисыч выпил. Заставил выпить и Егора Иваныча.

— А если хотите, Егор Иваныч, берите мою дочь.

— Надо еще подумать, Алексей Борисыч.

— Думают только одни немцы да индейские петухи.

— Славно сказано! — сказал Иван Иваныч, уже опьяневший.

Вечером компания отправилась к Алексею Борисычу. Он живет в своем доме, уже старом, с пятью окнами на улицу и с четырьмя комнатами и кухней. Их встретила жена его Дарья Ивановна, худенькая низенькая женщина.

Гости вошли в комнату. Лизавета, румяная девушка в ситцевом платье желтого цвета, что-то вышивала у окна. При входе гостей в комнату она поклонилась им. Егор Иваныч тоже поклонился робко. Лицо ее ему очень понравилось.

— Лиза, поставь самовар, — сказала ей мать.

Дочь ушла. По какому-то обстоятельству на ней было надето новое платье, которое, как она шла, шумело. И это понравилось Егору Иванычу. «Она, кажется, славная девушка. Немножко рябовата, да ведь и я-то неказист», — думал он.

— Какой вы гордый! Нет, чтобы раньше прийти к нам, — сказала Дарья Ивановна Егору Иванычу.

— Извините, что не мог, потому что не был знаком с отцом дьяконом.

— А ты, дьяконица, где давече была? — спросил ее Андрей Филимоныч.

— По грибы ходила. Нынче ужас сколько их! Лиза сказала, что вы были и хотели прийти, — я и принарядилась.

— Зачем принарядилась-то?

— По-вашему, и ходить так, как в будни? Ведь гости, пожалуй, ни на есть что скажут про меня.

— А ты, Дарья, дай водки, — сказал Алексей Борисыч.

— Ох, уж эта мне водка!

— Для гостей, дура! А я только смотреть стану.

Лиза принесла самовар, чайник, чашки, сливки, малины и сдобных крендельков. Мать велела ей принести поднос, чтобы угощать гостей с подносу; но Андрей Филимоныч отговорил, сказав, что мы сами будем брать чашки со стола. Лиза стала разливать чай.

— А ничего, Лизанька — невеста хоть куда! — сказал Андрей Филимоныч.

Лиза закраснелась. Она и мать ее знали, зачем Попов пришел.

— Я не невеста, — сказала робко Лиза.

— Какая она еще невеста! — заметила мать.

— Полно вам притворяться-то! Вот моя жена в девушках говорила, что она ни за кого замуж не пойдет, а обречет себя монашеской жизни, а вышла-таки за меня.

— Да вы человек славный. Такого жениха не скоро найдешь.

— Полно вам лясы-то точить! Выпьем, — сказал хозяин и налил три рюмки.

Дарья Ивановна стала расспрашивать Егора Иваныча о разных дьяконах и рассказывала про свою родню и несчастье ее мужа.

Егору Иванычу было очень неловко при Лизе. Прежде он мечтал только об девушке, представлял ее красивой, смирной, умной, представлял такой, какую он вычитал в книге и которая ему чем-нибудь понравилась. Теперь девушка налицо, и эта девушка от одного его слова может быть его женой. Она ему нравится, взглядывает на него так ласково, никакой гордости незаметно, а заметно, что ей хочется замуж. Надо бы поговорить с ней, но как заговорить и что говорить? Протопопская дочь ему не нравилась теперь, и он сожалел, что просил протопопа о невесте. А что, если протопоп согласится выдать свою дочь за него? Оно,

конечно, лучше: больше почету тогда будет; а если жениться на этой, то весь век останешься священником, да еще протопоп, пожалуй, обидится, напишет владыке, и тебя турнут в такое место, что весь век будешь каяться, а я уж знаю, каково быть бедным священником. Так рассуждал про себя Егор Иваныч. А Лиза между тем уже начала вздыхать... Она была рада и не рада, что наконец-то ей Бог послал жениха и она будет женой городского священника. «Кто его знает, какой он, — думает она, — некрасив, да что толку; обрастет бородой, лучше будет... Уж скорее бы». Мать и дочь простились с Егором Иванычем очень любезно, и даже сама дочь сказала ему: ходите к нам, Егор Иваныч, почаще.

— Ну, что? — спросил дорогой Егора Иваныча Андрей Филимоныч.

— Ничего.

— Нравится?

— Да, ничего. Надо бы с ней поговорить наедине.

— А мы завтра пошлем просвирню к ним.

— Зачем?

— Свататься и уговариваться о приданом.

— Не рано ли?

— Знаете пословицу: куй железо, пока горячо, — чем скорей, тем лучше.

— Лучше через день.

— Ну, как знаете.

Отец очень обиделся тем, что Егор Иваныч откладывает сватовство так долго.

— Ты, Егорушко, уж больно привередничаешь. Как не было ни одной невесты, так ты говорил: где найду, да как женюсь; а как есть они, ты и заважничал: не хочу, подумаю. Нечего тут думать, я тоже не думал. А вот тебе сказ: чтобы завтра же сваха была послана.

— А если я не хочу?

— Ну, так и Бог с тобой. Я не то и уеду.

— Вы, тятенька, не сердитесь, а предоставьте это дело мне одному.

— А я тебе кто: отец или пес?

— Я вас люблю как отца, но в этом деле прошу не мешать.

— Коли ты так, я сейчас же уеду.

— Послушайте, тятенька, ведь с женой жить не вам, а мне.

— Мне все равно, а я уеду.

Отец стал собираться.

— Полно, Иван Иваныч, егозить. Он правду говорит, — уговаривал Ивана Иваныча Андрей Филимоныч.

— А я хочу, чтоб ты по-моему делал, — и все тут! — сердился Иван Иваныч.

— Воля ваша.

— Так ты соглашаешься?

— Подождите до завтра. Завтра я схожу к благочинному и получу от него ответ.

— Посмотрим, что скажет тебе благочинный... Поди-кось, дурак твой благочинный, поди-кось, он так и отдаст за тебя, за голь, свою дочь... Да хотя и отдаст, так мне житья от нее не будет. Вот что!

— Почему вы так думаете?

— Почему!.. Не знаю будто!.. Ты еще только на свет-то ворвался, а я уж пожил, слава тебе господи.

В тот же день благочинный получил от ректора письмо следующего содержания:

«Отец благочинный! Во-первых, целую вас братскою любовию и посылаю вам свое благословение. Во-вторых, уведомляю вас, что, давши вам зимой обещание послать к вам для вашей дочери Надежды жениха из академии, я, при всем моем старании, не могу утешить вас на этот счет, так как у нас теперь в городе только два академиста, из которых один уже женился на дочери протоиерея кафедрального собора, а другой не имеет

намерения жениться. Поэтому я решился выбрать из кончивших курс семинарии отличного студента, диаконского сына Егора Попова, выпросил для него у преосвященнейшего владыки место в вашем городе и послал к вам. Он отличный студент и может быть хорошим мужем вашей дочери, которой я посылаю мое благословение...»

Благочинный долго думал, прочитавши это письмо, отдать ему за Попова дочь или нет. Он некрасив, но, кажется, смирный. Если не выдать, то обидится ректор, сменит с смотрительской должности. Он решил выдать; одно только беспокоило его: отец у него дьякон, куда поместить их? В доме — загрязнят все... Он не любил заштатных дьяконов и священников, хотя у самого назад тому четыре года умер отец, заштатный дьякон.

— Егорка!

Вошел Егорка.

— Позови Марью Алексеевну.

Пришла жена его, Марья Алексеевна.

— Как ты думаешь, жена: что нам делать с Надей?

— Что с ней делать-то?

— Дура! Ведь ее замуж надо выдать.

— За кого бы ты ее выдал? Уж не за вшивика ли письмоводителя?

— Э, да что с тобой толковать! У тебя башка вечно сеном набита.

— Бога бы ты побоялся так издеваться надо мной... Ведь в прошлом годе сватался судебный следователь, хороший и богатый человек.

— Я сам знаю, кто лучше... Богат он, хорош — это все дудки. Он сватался ради денег — вот что. А я придумал. Вот слушай, что пишет отец ректор...

— Так неужели ты за этого приезжего вшивика хочешь отдать?

— А что бы ты на это сказала?

— Ты посмотри, у него и сапоги-то с заплатами.

— Не твое дело. Уж коли сам отец ректор просит так, так уж я прекословить его воле не стану. А отца ректора владыко любит. Знаешь, что я через это выиграю?

— Делай, как знаешь. Все бы не мешало подождать.

— Нет уж, матушка, ждать я не стану. Ты думаешь, что я ничего не замечаю? Я, матушка, вижу ее амуры с письмоводителем. А что, если, Боже упаси, она развратится?.. Понимаешь?

— Понимаю.

— То-то и есть. Что тогда про меня скажут?.. Уж такая девка взбалмошная родилась: то ей дай, другое дай, в слезы сейчас. А ты думаешь, я стар, так меня так и проведешь! — дудки, сорока-то надвое сказала!.. Ономедни она любезничала с сыном отца Александра, да я промолчал. Я ей еще не такую поронь задам, если она будет противиться мне.

— Как знаешь, Антон Иваныч...

— Так ты согласна?

— А ты?

— Я тебя спрашиваю!

— Как знаешь.

— Я согласен. Он сегодня просил меня об этом.

— И ты согласился?

— Я ничего не сказал, потому что ждал письма. Мне смешно показалось его желание, а теперь, как получил письмо от отца ректора, я готов уважить отца ректора.

— Делай как знаешь.

— Много ли у Нади платьев?

Благочинный взял бумажку и карандаш.

— Шелковых семь, ситцевых восемь.

— Салопов?

— Летних три мантильи, домино из губернского выписано; два зимних: один соболий, другой беличий. Четыре шляпки.

— Я думаю, больше ей не надо шить?

— К венцу надо платье заказать.

— Пожалуй.

— Шляпку надо тоже купить.

— Ну, уж шляпку пусть муж купит... Вот подумаешь: копишь-копишь на них, а куда все идет? Подвернется какая-нибудь дрянь. Все для начальства делаешь. А ты думаешь, я так-то и отдал бы ее Попову?

— Нет.

— То-то. Теперь денег, я полагаю, будет с них и ста рублей. Рясы у меня и подрясники есть, есть и шляпы, и пояса. Дам ему пока по одной штуке, да как поедет посвящаться, надо отцу ректору послать сколько-нибудь.

— Сколько ты думаешь?

— Это не твое дело. Попову на издержки дам сто рублей.

— Будет.

— Кольца у Нади есть?

— Есть одно, золотое с бриллиантовым камнем.

— Покажи.

Марья Алексеевна принесла ящичек с драгоценными вещами. Благочинный пересмотрел их, выбрал несколько колец, браслетов, сережек, завернул их в бумажку и сказал: это Наде, а эти пусть хранятся для Тани.

— Где же будет Попов жить?

— Во флигеле живет зять. Поместить разве его сюда наверх, в три пустые комнаты, а Попова во флигель.

— Как знаешь, надо бы с Надей поговорить, Антон Иваныч. А?

— Что с ней говорить-то?

— Неловко как-то... Пусть она знает, что у нее есть жених.

— Ну, позови ее сюда.

Пришла Надя.

— Послушай, Надежда Антоновна, — начал отец, — тебе уже двадцатый год; за тебя сватались многие, но я не хотел выдавать тебя, сама знаешь почему. А в девицах тебе сидеть неловко, да я уже стар и слаб становлюсь, того и смотри, что, грешным делом, помру. При мне-то тебе хорошо, а что будет без меня... Понимаешь?

— Понимаю, папаша.

— Ну, так вот, что я тебе скажу: ты скоро выйдешь замуж.

— Я, за кого? — сказала дочь дрожа.

— Видела ты сегодня учителя Васи?

— Видела.

— Ну, так за него.

— Тятенька!

— Что еще?

— Он мне не нравится.

— В монастырь, что ли, захотела?

— Нет-с.

— Я уже решил: ты должна выйти замуж за Егора Иваныча Попова. Слышишь!

— Тятенька... — Надежда Антоновна заплакала.

— Это что за слезы?.. Знаешь каретник?

— Тятенька... Я не могу за него выйти...

— Марья, позови Егорку...

Дочь упала на колени в ноги отцу.

— Марья! Тебе говорят?

— Антон Иваныч, полно... Что же, если она не хочет!

— Знать я ничего не хочу. Что мне, по вашей милости, прикажете без куска хлеба сидеть? Егорка!

Пришел Егорка.

— Позови дворника.

— Тятенька, умоляю вас.

— Что, за письмоводителя небось хочется?

— Нет...

— Встань, нечего рюмить... — Дочь встала. — Ну, какого же тебе жениха надо?

— Протопопа.

— А?!! — Отец захохотал. — Послушай, Надя, что я тебе скажу: Попов тебе не нравится потому, что он некрасив. Но где же ты возьмешь хороших женихов? А ты прочитай вот письмо ректора. — Он подал ей письмо. Она взяла робко, робко прочитала и отдала отцу.

— Ну, что скажешь? — спросил отец.

— Тятенька, нельзя ли повременить? Я подумаю.

— Думать тут нечего... Я хочу, чтобы ты вышла, и все тут.

— Послушай, Надя, отец тебе не желает худа, ты будешь за священником.

— Когда ты выйдешь за него замуж, я попрошу владыку, и сам к нему поеду, чтобы он назначил Попова в Егорьевскую церковь священником, вместо Полуектова, которого попрошу перевести в другое место. Кроме этого, я сделаю его учителем в училищах, духовном и светском, в нашем он будет обучать грамматике, а в том закону божию. Ну, что, и этим не довольна?

— Воля ваша, папенька.

— Подойди ко мне.

Дочь подошла. Отец благословил ее и поцеловал; то же сделала и мать.

— Я тебя силой не выдаю, но желаю счастия с хорошим человеком.

— Только он мне очень не нравится.

— Понравится. Это вы все так говорите до замужества. К завтрашнему дню ты, смотри, оденься получше.

— Хорошо. А он будет?

— Как же.

— А он, тятенька, очень некрасив... Обращение у него какое-то смешное такое.

— Что ты, шишки, что ли, у него на носу заметила?

Дочь улыбнулась.

— Ну, ничего... Ты с ним в губернский поедешь. Впрочем, и я поеду, а то он там денег много истратит. Смотри, Надя, помни все, чему я учил тебя. Если ты будешь ему худой женой и если он станет жаловаться на тебя, я вступаться не буду.

— Потому-то, папаша, мне и не хочется идти за него замуж.

— Тебе все академиста нужно... Ничего, матушка; уж коли сам ректор хлопочет, стало быть, человек хороший. Ты так и думаешь, что я зря отдаю тебя?

После этого началось совещание при зяте и его жене: сколько истратить на свадьбу, кого пригласить, кого сделать шаферами, тысяцким и прочими. Тысяцким назначено было просить богатого купца Илью Афанасьевича Печужникова, старосту собора. В тех местах тысяцкий, или болярин, — главное лицо на свадьбе. На обязанности его лежит вся забота по венчанью: он должен нанять лошадей, которые, конечно, ничего не стоят, потому что хозяева их сами дают лошадей, для того, что будто бы бывает счастье тому хозяину, который дал лошадей, на коих ехал свадебный поезд; должен зажечь паникадило, свечи на свой счет, из своего же кармана заплатить духовенству и певчим за венчанье. Шаферами невесты назначены письмоводитель духовного правления Василий Иваныч Конев и учитель духовного училища Матвей Карпыч Алексеев. Послезавтра назначен вечер, или просватанье, а завтра семейный обед.

Егор Иваныч ничего об этом не знал. Невеста его, Надежда Антоновна, всю ночь не спала. Она больше половины ночи плакала. Сколь ни тяжела была ей

жизнь с родителями, сколько она ни перетерпела от них разной брани, все же она была барышней; все люди заискивали ее расположения, в особенности богатая и чиновная молодежь судила об ней с такой стороны, что она богатая невеста, но подступиться к ней трудно. Как я сказал выше, ей хотелось мужа протопопа, стало быть, вряд ли она согласилась бы выйти замуж за богатого и очень чиновного светского. Впрочем, по приказу отца она могла бы выйти замуж и за дьячка, если бы так приказал владыка, чего, конечно, со стороны владыки не могло бы быть, а если бы было, так разве наказанием для отца за его прегрешения... Она раньше никак не могла себе представить, чтобы она могла выйти замуж за простого священника, каким был муж ее сестры, которого она недолюбливала за форсистость; ей непременно хотелось мужа с камилавкой и наперсным крестом, о чем ей твердили раньше отец и мать. К этому она прибавляла то только, что этот господин должен быть непременно молод и красив. Поэтому неудивительно, что Егор Иваныч, которого она видела раз у отца и на которого с первого разу не обратила внимания и обозвала его при Васе бедным и голодным учителишком, ей очень не понравился. Каково же ей перенести то оскорбление, что сами родители приневоливают ее выйти замуж за это чучело! «Он только в огород и годится, дылда эдакая! — думала она ночью. — Зачем же это отец и мать твердили мне, что мне нужно держать себя как протопопской дочке, потому что мне следует выйти за протопопа; а потом, как выросла, они и отдают какой-то чучеле... Уж я-таки постою на своем! Чтоб я стала любить его, уважать — держи! Если бить станет — убегу! Ишь, далась я им; делают что хотят со мной. Нет уж, теперь не бывать этому: я вольный казак буду, я муженька сама бить буду...»

На другой день Егор Иваныч, получив родительское благословение, с трепетом шел к благочинному. Он никак не думал, чтобы благочинный отдал за него свою дочь, и шел просить его присутствовать на венчании его с Лизаветой Алексеевной. «А дочка его хороша, надменна немножко, но после бы обтерлась. Только благочинный не согласится, а если согласится, что я стану говорить с ней?» На нем надеты сюртук, брюки, жилетка и сапоги Андрея Филимоныча, и все это, как говорится, мешком сидело на нем.

— Здравствуйте, Егор Иваныч, — сказал приятельски благочинный в кабинете. Он приказал Егору, чтобы Попов шел прямо к нему в кабинет.

Егор Иваныч подошел под благословение.

— Садись, мы будем говорить дело. — Егор Иваныч сел. — Скажите, пожалуйста, это ваши вещи, что на вас?

— Мои-с, — соврал Егор Иваныч.

— Еще что у вас есть?

— Больше ничего нет, потому что мой отец бедный человек.

— Я знаю многих семинаристов, у которых отцы беднее вашего отца; они богатые.

— Не знаю, отец благочинный... Певчие архиерейские — богатые люди, а из остальных разве имеют деньги те, которые кондициями занимаются, то есть учат детей.

— А вы не обучали раньше?

— Я не имел времени, я все занимался своими лекциями... Уверяю вас, если бы не отец мой, я бы был или в академии, или в университете.

— О, в университете! Избави Бог! Если мой сын захочет в университет, я его и ногой не пущу в свой дом.

— Оттуда, отец благочинный, как и из академии, можно хорошую должность получить.

— Знаю, каковы эти должности. Вон у нас судебный следователь в университете учился, а что он сравнительно с нашим братом?.. Наш брат и священник — много значит. Я очень сожалею, что выдал свою дочь за лекаря. Пьяница такой, прости господи! — Благочинный плюнул.

— Зато он образованный человек. Говорят, что все кончившие курс в медицинской академии образованные люди.

— Это я знаю и эту академию больше уважаю, чем университет... Но вот что, Егор Иваныч... Вчера вы просили невесту...

— Точно так-с.

— Я нашел.

Егор Иваныч встал, поклонился и сказал:

— Покорнейше благодарю, отец благочинный.

— Этого мало. Я вам должен сказать, чтобы вы уважали вашу жену, а иначе я могу сделать с вами что хочу. Тогда вы погубите и себя, и свою жену. Я отдаю вам свою дочь Надежду Антоновну.

Егор Иваныч остолбенел.

— Поняли вы это?

— Очень вам благодарен.

— Смотрите, чтобы жалоб не было. Я это делаю из любви христианской, из уважения к отцу ректору, который ходатайствовал у меня за вас. Поняли?

— Покорнейше благодарю, отец благочинный.

— Подите занимайтесь.

Егор Иваныч, как вышел в зал, перекрестился: «Слава тебе господи. Ай да отец ректор!»

В той же комнате, где он занимался вчера, он застал детей за играми и подошел к Васе.

— Здравствуйте, братец! — сказал Вася.

— Это почему? — спросил удивленный Егор Иваныч.

— Братец, братец! — кричали остальные дети и окружили Егора Иваныча.

— Я ничего не понимаю.

— А гостинцев принесли? Жених!

— Какой жених?

— Дайте гостинцев — скажем.

— Господа, мне заниматься надо с Васенькой.

— Жених, жених! Надин жених!

— Вы Наденьке какое платьице сошьете?

— А мне, братец, лошадку хорошенькую купите...

Вошла Надежда Антоновна. Увидела Егора Иваныча, косо взглянула на него. Егор Иваныч поклонился ей. Она отвернулась.

— Петя, Таня, пошли к мамаше!

— Не хочем. Мы с братцем посидим.

— С каким братцем?

— А с Егором Иванычем.

Надежда Антоновна ушла, а Егор Иваныч покраснел — и Бог знает, что бы он сделал в это время с детьми.

Пришла Марья Алексеевна. Он поклонился ей.

— Мое почтение... Как вас звать-то?

— Егор Иваныч.

— Егор Иваныч... Прошу любить и жаловать. — Она очень строго глядела на Егора Иваныча.

Егор Иваныч поклонился.

— Пошли вон! Пошли! — сказала она детям и прогнала их из комнаты подзатыльниками. Потом подсела к Егору Иванычу. Егор Иваныч стал заниматься с Васей, а Марья Алексеевна молча смотрит на него, подперши подбородок правой рукой. «Чтоб те провалиться», — думает Егор Иваныч.

— Вася, ступай к детям, — сказала мать.

Вася ушел. Егор Иваныч остался один на один с

протопопшей. Протопопша молчит. Егор Иваныч поклонился ей и сказал:

— Прощайте.

— Куда же вы?

— К отцу благочинному.

— Он теперь занят.

— Так я домой пойду.

— Вам протопоп говорил что-нибудь сегодня?

— Насчет чего-с?

— Насчет Нади?

Егор Иваныч покраснел и тихо сказал:

— Да.

— Вы напрасно не в свои сани садитесь.

Егор Иваныч молчит и переминается с ноги на ногу.

— Надя вам не пара: она протопопская дочь, как бы то ни было, а вы сын диакона.

— Я, матушка (он забыл ее имя), кончил курс по первому разряду.

— Я знаю, что кончили, все-таки дочь моя вам не пара.

— Я, матушка, силой не напрашиваюсь: это воля отца благочинного.

Минут пять молчание.

— Ведь мы много вам не дадим приданого; на наши карманы не надейтесь.

— Я, матушка, не прошу ничего.

— Все-таки кое-что надо. Вам надо и ряску получше, так как вы не священническую берете; ну, кое-что еще дадим, а об остальном и не заикайтесь.

Егор Иваныч не знал, что лучше сделать — сказать ли ей: покорнейше благодарим, — или поклониться. Он промолчал.

Опять молчание.

— Вы мою дочь берегите как зеницу ока. А будете обижать, несдобровать вам! Помните, что вам бы следо-

вало жениться на дьяконской дочери; а если мы и отдаем вам дочь, так только из уважения к отцу ректору, потому что он начальник наш. — Марья Алексеевна ушла.

Егора Иваныча зло взяло. Он вышел в залу, стал ходить и думать: «Что они важничают-то! Я же ведь не напрашивался, сами суют. Ишь, отец ректор им дался!.. Уж лучше, кажется, отказаться от этой барской невесты».

В приемную, а потом в зал вошли Павел Ильич Злобин и его жена. Павел Ильич был худой бледный господин с коротенькими волосами и маленькой рыжей бородой; они поклонились Егору Иванычу очень важно.

— Если не ошибаюсь, вы Егор Иваныч Попов? — спросил Злобин.

— Точно так.

— А я Павел Ильич Злобин, а это моя жена Александра Антоновна, урожденная Тюленева.

Егор Иваныч поклонился.

— Папаша дома? — спросил Павел Ильич Егора Иваныча.

— В кабинете.

Зять с женой вошли в кабинет; немного погодя они вышли с благочинным. Благочинный представил их Егору Иванычу и им Егора Иваныча, сказав: мой нареченный зять, — потом с дочерью ушел в другие комнаты.

Через несколько минут вошел благочинный с женой, за ним разодетая и нарумяненная Надежда Антоновна и дети с Александрой Антоновной. Благочинный взял правую руку дочери и повел ее к Егору Иванычу.

— Знаешь ты его? — спросил он дочь.

— Нет, — отвечала она робко и гордо.

— Тем лучше для тебя. Вот твой жених, — сказал благочинный.

Дочь ничего не сказала.

— Что же ты молчишь?

— Что мне говорить прикажете?

— Согласна ты или нет выйти за него замуж?

— Согласна, тятенька, — сказала дочь нерешительно.

— Ну, и делу конец. Возьмите руки.

Егор Иваныч конфузится, конфузится и дочь благочинного.

— Что же вы? — говорит строго отец.

— Надя, возьми руку Егора Иваныча, — говорит мать.

Надя строго смотрит на мать и сердито берет руку Егора Иваныча.

— Смотри у меня! — кричит отец.

— Садитесь рядом.

Все сели. Егор Иваныч сел около Надежды Антоновны. Семейные начали говорить о непокорстве дочери, жених и невеста слушают. Егор Иваныч смотрит на невесту, невеста смотрит в сторону. Так они просидели до обеда. За обедом то же самое. После обеда жених и невеста пожали руки. Завтра воскресенье, и по этому случаю Егор Иваныч показал благочинному сочиненную им и сказанную при архиерее проповедь. Благочинный велел ему сказать ее в соборе и после обедни прийти к нему. Просватание отложили на три дня.

— Ну, что? — спросил у Егора Иваныча отец, как только он вошел домой.

— Хорошо. Сегодня благочинный представил меня зятю и невестке, а через три дня и просватанье.

— Ну, и слава тебе царю создателю! Как же теперь, Алексея-то Борисыча мы обманули, выходит?

— Разве вы давали ему слово?

— На́ вот! А зачем мы вчера у него были?

— Я же ведь вам говорил, что торопиться нечего.

— Ну ничего... Как же ты, Егорушко, дела-то обделал?

Егор Иваныч рассказал все, с некоторыми прикрасами, а именно, что невеста девушка смирная, послушная и что ректор приказал благочинному отдать за него дочь.

— Слава Богу, слава Богу!.. Уж я непременно молебен отслужу. Свечку рублевую поставлю. А что же он меня-то не звал?

— На просватанье, должно быть, позовет.

— Экой гордый! Ну, да где мне с благочинным дружбу водить! Так-тось...

— А вы, тятенька, если вам случится быть у благочинного, ведите себя скромнее.

— Уж я знаю. Да что я, разве не отец тебе? А, Егорушко?

— Через вас я могу лишиться невесты.

— Полно-ка ты толковать-то... Разве невест-то мало?

Егор Иваныч рукой махнул и пошел на улицу. Отец остановил его.

— Ты куда?

— Пойду прогуляюсь.

— Пойдем вместе.

— Я один.

— Ну, Бог с тобой!.. Вот они, Анна Пантелеймоновна, каковы ныне, сынки-то!.. Ты их воспитывай, обучай, а они, как вылупятся на свет божий, и знать тебя не хочут.

Егор Иваныч обиделся этим.

— Тятенька, на что тут сердиться? Мне хочется одному заняться самим собой.

— Ну и занимайся. Ты ведь священником будешь, протопопа получишь, а я так заштатным и умру... Куда уж мне! Ступай, ступай, Бог с тобой, я пойду спать...

На другой день утром Егор Иваныч прочитал про-

поведь о блудном сыне. Когда он прочитал ее, она ему не понравилась, потому что тут почти ничего не было действительного, а написаны цитаты, тексты и разные фразы. На сарае крыша была высокая, и свет проходил сквозь отверстие, сделанное в простенке. Егор Иваныч встал, сделал важную позу, посмотрел вперед, направо и налево, как будто представлял народ, постоял немного и начал спокойным голосом читать. Прочитав вслух немного, он остановился: «Ей-Богу, никто ни одного слова не поймет... Как тут лучше сделать? Постой... Проповедь благочинный не читал, я расскажу историю блудного сына, применяясь к нынешней, введу тут один рассказ из нашей современной жизни. Ловко ли будет? Нет, рассказ из нашей современной жизни в церкви неловко говорить, а расскажу историю блудного сына как можно яснее, без тетрадки, как говорят у нас приезжие профессора. Надо сказать так, чтобы их всех ошеломило. Конец об начальстве я выкину, а заменю другими словами. Вот она, наука-то! Четыре человека сочиняли, четыре головы работали, а написали очень плохо. Впрочем, и писали-то про начальство». Он начал опять читать сначала. Позу он выдержал. «Только бы в церкви не сконфузиться. Я думаю, что будут слушать, тем более, что здесь еще молодые люди не говорили проповедей».

Егор Иваныч напомадил волосы, надел белую манишку и пошел в церковь уже во время херувимской и там сквозь густоту людей гордо пробрался в алтарь, так что многие стали в недоумение: кто это? Полгорода уже знали, что приезжий семинарист, жених протопопской дочери, будет сегодня сказывать проповедь. Поэтому народу собралось более обыкновенного. В этот день должен быть царский молебен, и потому священники изо всех церквей собрались в собор.

Вышел Егор Иваныч в стихаре, в белом галстуке,

с причесанными волосами. Он прошел важно, по-протодьяконски, к налою, окинул глазами весь народ и у правого клироса увидал Марью Алексеевну с Надеждой Антоновной. Сердце екнуло у Егора Иваныча, но он взглянул на налой, помолчал, вытащил тетрадку, поправил ее, перекрестился и начал проповедь громко и спокойным голосом, ударяя на каждом слове. Из церкви никто не шел, а народ лез вперед, к налою, к молодому проповеднику. Он читал почти наизусть, изредка поглядывая в тетрадку, а прочие слова говорил, смотря то направо, то налево. Он замечал, что все смотрели на него, даже невеста с матерью впились в него глазами. Егор Иваныч здесь выдержал проповедь: он говорил, как ни один в этом городе не говорил такой проповеди, — именно, он рассказывал спокойным, ровным голосом. Даже пришедшие из других церквей на молебен дьякона и священники вышли из алтаря, слушали его. Но вот он остановился, облокотился правой рукой на налой и начал рассказ о блудном сыне, примешивая изредка кое-что из современного. В народе шептались, потому что Егор Иваныч не смотрел в тетрадку; шептались и Тюленевы. Когда он стал кончать проповедь, то объяснял тексты священного писания без тетрадки. Он видел, что Марья Алексеевна утирала платочком глаза, а Надежда Антоновна улыбалась.

Когда Егор Иваныч вошел в алтарь, его окружили священники: славно! славно вы сказали слово! великолепие какое!.. Протопоп, радуясь, улыбался.

По окончании обедни протопоп был очень любезен и весел. Егор Иваныч подошел к Марье Алексеевне и Надежде Антоновне, поздоровался с ними.

— Ах, как хорошо вы сказали! Я никогда не слыхала такой проповеди, — сказала Марья Алексеевна. — На что Надя не охотница до проповедей, и той понравилось.

— Неужели, Надежда Антоновна?

— Да. Я в первый раз слышала, как вы без тетрадки сказывали. Я думаю, трудно?

— Гораздо легче, чем по тетрадке, — похвастался Егор Иваныч.

— А вы прежде сказывали проповеди? — спросила его Марья Алексеевна.

— В семинарской церкви часто сказывал. Нас пробовали сказывать на рассказ... Эта проповедь, по-моему, не очень хороша, да я не успел составить другую, потому что у меня нет под руками книг, какие надо мне: тетрадки, по которым я сказывал в семинарии и крестовой, я роздал на память товарищам.

Подошел Иван Иваныч. Егор Иваныч рекомендовал его Тюленевым.

— Это мой папаша, Иван Иваныч.

— Очень приятно познакомиться, — сказала Марья Алексеевна.

— Вы, должно быть, любите петь? — спросила старика Надежда Антоновна.

— Страсть моя!

— Пожалуйте к нам, вместе с Егором Иванычем, — пригласила старика Марья Алексеевна.

— Покорнейше благодарю. Куда уж мне со старыми костями!..

— Ничего, приходите, — сказала Надежда Антоновна.

«Ну, дело идет на лад», — подумал Егор Иваныч.

Подошел благочинный в рясе и с тростью. Егор Иваныч представил ему отца. Отец подошел под благословение благочинного. Благочинный пригласил его к себе обедать. По выходе из церкви благочинный с женой сел в коляску.

— Папаша, я с вами! — сказала Надежда Антоновна.

— Пройдись пешком с Егором Иванычем.

Надежда Антоновна не хотела идти пешком, и притом с женихом, но надобно было идти, потому что благочинный уехал. Егор Иваныч в первый раз шел с девушкой, и притом с барышней-аристократкой. Он не знал, как занять ее. Однако он начал:

— Надежда Антоновна!

— Что?

— Вы на меня не сердитесь?

— Я... за что?

— За то, что я просил вашей руки.

— Это воля папаши...

— А вы что скажете?

— Я ничего не могу сказать... Воля папаши.

— Знаете ли, Надежда Антоновна, — начал опять Егор Иваныч, — иду я вчерась вечером мимо Егорьевской церкви. Прошел два-три квартала, завернул в переулок, смотрю, по-видимому, кажется, дьячок или пономарь ругается из своего дома через улицу с какой-то бабой. — Ты, — говорит дьячок, — бесстыдница, воровка. — Та говорит: — Ты сам вор. — Кто, — говорит, — я вор? Подойди сюда. — Я прижался у заплота и слушаю, что дальше будет. Что же бы вы думали? Вдруг выбегает на улицу дьячок, перебегает улицу и подходит к тому окну, из которого ругалась баба. Только что он подошел к окну, как оттуда ему что-то вылили в лицо. Дьячок заругался, а стоявшие на улице люди, вероятно мещане, человек с двадцать, такой хохот подняли, что срам да и только.

— Это у нас часто бывает.

— Ну, у нас в губернском этого сделать нельзя.

— Еще бы в губернском!

— А вы были там?

— Нет.

— А побывать не мешает.

— Что же там хорошего? Там, говорят, есть хорошего много, но, может быть, не лучше нашего.

— Там театр есть, гулянья, река. Удовольствий пропасть, только надо деньги.

— Я сколько раз просила папашу свозить меня туда, да он не соглашался.

— Там удовольствия даются только для светского общества, и поэтому ваш папаша, судя по себе, думал, что и вам там делать нечего.

— Может быть, мне и нельзя.

— Кто вам сказал? Женщина везде имеет право быть. Когда вы выйдете за меня замуж, я вас везде повожу раньше посвящения.

— А вы думаете, что я выйду за вас?

— А вам не хочется?

Надежда Антоновна посмотрела на него и сказала:

— А отчего это у вас шишки на носу? — Она захохотала.

— Это от природы.

— Как от природы?

— Таким родился.

— Вам который год?

— Мне двадцать третий.

— Неправда, вам сорок.

— У меня есть метрическое свидетельство.

Вошли в дом благочинного. Надежда Антоновна пошла в свои комнаты, а Егор Иваныч с отцом остались в зале.

Разговор пошел насчет проповедей и продолжался до обеда. В это время старик, успевший выпить две рюмки хересу, разговаривал с детьми благочинного. Он понравился детям, и они лезли к нему на колени, щипали его бороду. Надежда Антоновна толковала с сестрой Александрой. Обед прошел весело. Говорили все. Благочинный говорил что-то про отца Феодора, Марья

Алексеевна про городничиху, Александра про Лизу Коровину, Егор Иваныч говорил с Павлом Ильичом и благочинным, больше отвечая на их вопросы; старик толковал детям, как он любит ловить на сеннике мух. Все были заняты, казалось, все родные, и в будущем не ожидалось никакой перемены.

После обеда все распрощались любезно. Егор Иваныч был приглашен Марьей Алексеевной на чай. Он попросил почитать книжки, ему дали книжку «Дух Христианина».

Когда ушли Егор Иваныч и Злобины, благочинный спросил Надю:

— Ну, что скажешь: понравился ли тебе жених?

— Нет, папаша.

— Я удивляюсь, какой тебе дьявол вбил в голову ра́зной дичи! Ну, чем он худ? Правда, он некрасив, беден, но зато умен; а дело не в красоте, а в уме. Пример ты можешь брать со Злобина... О чем вы давече толковали, как шли дорогой?

— Право, забыла.

— Послушай, Надежда, если ты будешь так отвечать мне, я откажу этому жениху, напишу ректору, что ты не хочешь идти замуж, а с тобой знаешь что сделаю?

— Воля ваша.

— Я тебя в монастырь пошлю, слышишь!

Надежда Антоновна заплакала.

— Что, губа-то не дура!.. Выбирай одно из двух: монастырь или идти замуж. Слышишь?

— Папаша, дайте мне подумать.

— Нечего тут думать. А знай, что послезавтра будет просватанье. Сегодня будет он сюда, займи его.

Благочинный с этими словами вышел, оставив дочь в слезах.

— Ну что, Егор Иваныч, каковы дела? — спросил Егора Иваныча Андрей Филимоныч, как он пришел домой.

— Да досада страшная! Никак не могу поговорить с ней наедине. Только скажешь ей слово, то Злобин подойдет, то отец с матерью пристанут.

— Ну, когда женишься, успеешь наговориться, — заметил отец.

— Эх, тятенька, не понимаете вы, что такое женитьба...

— Ну, и врешь. Я тридцать один год прожил с женой. — Отец обиделся.

— У вас совсем был иной взгляд на женщину. Вам нужна была женщина и только, а о чувствах ее вы не заботились. Прежде на любовь так смотрели, как бык смотрит на корову.

Иван Иваныч плохо понял.

— Чего же тебе еще недостает?

— Знаете ли, тятенька, мне наперед нужно знать от самой невесты, может ли она быть мне женой.

— А отчего же она не может?

— А если она меня не любит?

— Женишься — полюбит!

— Нет уж, тогда поздно будет. Я понимаю женитьбу так: жена моя должна быть другом мне, а никак не рабой, то есть она может иметь полную свободу во всем и была бы моим утешителем.

— Дурак ты, Егорушко.

Егор Иваныч ничего не стал говорить больше с отцом. Он заговорил с Андреем Филимонычем на латинском языке. Старик осердился и ушел к Коровину.

— Вы, Егор Иваныч, поговорите с ней о любви.

— Неловко говорить-то. Ведь я знаком с нею только два дня.

— Как жених, вы можете поговорить. Скажете, я,

мол, люблю вас. Скажите по совести, полюбили ли вы ее?

— Нет, я женюсь по необходимости.

— Отец ваш отчасти прав. Я сам женился на Аннушке для того, чтобы скорее получить место. Сначала, как шел я смотреть невесту, меня холодом как будто обдавало, когда я увидел ее, мне стыдно стало. Она мне нравилась и не нравилась, любви настоящей не было, судя по-вашему. Ну, вот прожил уж полгода, теперь полюбил. Ведь наша женитьба заключается в получении местов. Не женишься — места не получишь, а полюбишь девушку — места не найдешь.

— Да, это правда: мы женимся для местов, а о любви и дела нет. Гадко. После этого знаете ли, что мне хочется сделать? Мне хочется в светские выйти.

— Полноте вы дурачиться. Поверьте, что из тысячи браком сочетавшихся людей нашего сословия разве десять обоего пола венчаются, полюбив друг друга.

— Все-таки мне хочется поговорить с ней о любви.

— Напрасный труд. Как провинциальная барышня, не читавшая того, что мы читали и поняли, она любовь понимает по-своему. Ведь вы же говорите, что вам кто-то сказал, что ей надо жениха протопопа.

— Ну, я все-таки попытаюсь узнать ее способности.

— Попробуйте. Только знайте, что вам теперь от нее отказываться поздно. Отец ее обидится, и вы, пожалуй, лишитесь места.

На другой день Егору Иванычу привелось быть наедине с Надеждой Антоновной в ее комнате.

— Вы, Надежда Антоновна, читаете что-нибудь? — спросил Егор Иваныч Надежду Антоновну.

— Читаю.

— Что читаете?

— Большею частию духовные проповеди Филарета, жития святых, «Дух Христианина».

— Я думаю, вы наизусть все это знаете?

— Много очень книг, всего не запомнишь.

— А наш брат целые четырнадцать лет учится всякой премудрости.

— Недаром вы и мужчины.

— И женщины могут знать все, только, конечно, при различных условиях.

— При каких же?

— Это зависит от родителей: если родитель будет заботиться об умственных способностях девушки, сам будет проводить истинные идеи, а не старые идеи, и если он сам умный, современный человек, то из девушки выйдет умная женщина, равная по уму мужчине. А надо вам заметить, что мужчины не все умны. Пример этот мы можем видеть в чиновниках здешнего города.

— Это точно: народ здесь такой глупый, что ужас.

— Конечно, не все глупы, есть между ними и умные, только эти умные люди скоро гибнут здесь.

— Нет, здесь ни одного умного нет.

— А муж вашей сестры, Павел Ильич?

— О, дурак набитый!

— Полноте, пожалуйста! Я с ним говорил, мы разрешали некоторые вопросы. Он неглупый, но человек несовременный. Знаете, что такое современный человек?

— Знаю... А по-вашему, что такое?

— Нет, вы наперед скажите!

— Нет, вы!

— По-моему, человек нынешнего времени — человек, проводящий идеи настоящие, настоящего времени.

— Какие же идеи?

— Мало ли у нас идей! Идеи бывают различные. Главная идея теперь проводится — это идея правды и равенства между всеми людьми и полами, без различия. Вы знакомы с светской литературой?

— Как же.

— Что вы читали?

— Я читала «Дух Христианина».

— Знаете ли вы, что такое литература?

— Все, что печатается в книгах или газетах, называется литературой.

— «Дух Христианина» называется духовной литературой. Светская литература состоит из светских журналов или книг, выходящих каждый месяц, как-то: «Библиотека для чтения» и проч.

— Я «Библиотеку для чтения» читала.

— Что вы читали?

— Я читала какой-то роман — забыла...

— Знаете вы, что такое роман?

— Ах, Боже мой, да вам начто?.. Могу ли я знать все!

— Конечно, вы бы могли знать очень много, если бы вас обучали хорошие учителя. Кто вас обучал?

— Папаша... Папаша у меня очень строг.

— Вероятно, он запрещал вам читать светские книги?

— Да!

— Это-то вот и плохо... Еще один вопрос, Надежда Антоновна: как вы понимаете слова — муж и жена?

— Какой вы неотвязчивый!.. Право. Ведь вы это знаете, зачем же меня-то спрашивать?

— Видите ли, в чем дело: завтра ваше просватанье, потом скоро свадьба, и вы знаете с кем. А так как быть женой и быть мужем — вещи важные, то нам не мешало бы прежде брака серьезно поговорить и обдумать наше будущее положение.

— Что же тут думать, коли папаше так угодно?

— Стало быть, вам не хочется выйти за меня замуж?

— Нет!

— Так вот что, я так и скажу отцу благочинному, что вы не желаете быть моей женой.

Надежда Антоновна замолчала и задумалась.

— Послушайте, Надежда Антоновна, что я вам скажу: человек я честный и добрый, это знает мое начальство, иначе бы оно не выдало мне свидетельство на брак. Сюда я ехал найти невесту потому, что здесь же и мое место будет... Несмотря на то что я беден, я бы мог найти невесту в городе, у купца или у кого-нибудь другого; но вы мне понравились, и я решился просить вашей руки у благочинного не из каких-нибудь честолюбивых видов, а именно ради вас, не из того, что вы протопопская дочь, — я бы мог жениться на пономарской дочери, — но мне хочется дать вам свободу: со мной вы будете свободны, потому что, понимая женщин, я не хочу стеснять вас. Если вы не выйдете за меня замуж, вы выйдете все-таки за кого-нибудь, за какого-нибудь приезжего студента. Может быть, вы полюбите кого-нибудь здесь, что очень может быть, — то наживете себе горе, потому что ваш папаша не выдаст вас за здешнего чиновника или кого-нибудь другого. Поверьте, что все наше сословие вступает в брак так, как я с вами хочу вступить. Ваш папаша так же женился, Злобин тоже, все здешние священники и дьякона так же женились, и так же женятся у нас в губернском. Что вы скажете на это?

Надежда Антоновна задумалась. После проповеди Егора Иваныча она уже иначе смотрела на него: он начинал нравиться ей. Не лицо его ей нравилось, а что-то такое, что она не могла понять. Отец ее и Злобин, по уходе Егора Иваныча, долго толковали об нем, называя его умным человеком, и дивились: какие нынче молодцы выходят из семинарии. За ужином благочинный сказал ей: — Ну, Надя, я хорошего жениха нашел тебе, — и как она ни дула свои губы за эти слова,

однако, подумав, пришла к тому убеждению, что лучше выйти замуж за этого: хотя он и не протопоп, но ему будет почет от отца, со временем он сам будет протопопом. И она решила выйти за Попова замуж. Несмотря на суровый нрав отца, она все-таки уважала его, боялась, думая, что отец что́ скажет, то и свято, он же, в некоторых случаях, особенно добр для нее. Но все-таки ей неловко было расстаться с своим намерением выйти замуж за красивого, и ей хотелось покапризничать над ним, самой узнать: умен ли он хоть на сколько-нибудь?

— Поверьте, Надежда Антоновна, я буду вам хороший муж. Буду любить вас, и у нас не будет никаких неприятностей, какие бывают почти в каждом доме.

Надежда Антоновна молчит.

— Надежда Антоновна!

— Что?

— Согласны вы за меня замуж?..

— Ах, отстаньте... — Она убежала в другую комнату.

«Дура! — сказал про себя Егор Иваныч. — Она ровно ничего не смыслит, а еще протопопская дочь, — ищет себе Бог знает кого».

Благочинному он ничего не сказал про свой разговор. В этот день благочинный заставил его сочинять рапорт владыке.

— Ну, как дела? — спросил Егора Иваныча отец.

— Как сажа бела. Ни тпру ни ну. Я всяческими манерами подделывался к ней: с одной стороны начнешь речь — не понимает, с другой — скажет слово и молчит.

— Не сердится?

— Нет, в глаза смотрит.

— Хочется, значит...

— А впрочем, она, кажется, дельная, — прихвастнул Егор Иваныч.

— Ну, и слава Богу, Егорушко. А я, брат, вчера у Коровина был, там и ночевал, сегодня только после обеда пришел. Ну, наделал же ты там кавардак!

— Чего им там недостает?

— Эта Лиза сердится, плачет; мать тоже. А сам Коровин ругает тебя всячески.

— Ну, и пусть их.

Когда пришел Андрей Филимоныч, то Егор Иваныч рассказал ему свой разговор с Надеждой Антоновной.

— Теперь вам пока надо молчать. Вы ее ничем не урезоните, она ничего не поймет; а вы начните образование ее после.

На обрученье собрались Злобины, Егор Иваныч с отцом, который напомадил свои уцелевшие волосы помадой, городничий, исправник, почтмейстер, городской голова, письмоводитель и учитель Алексеев. Надежда Антоновна была разодета и сидела с матерью, около которой сидели Поповы. После обрученья, причем жених и невеста по приказу родителей поцеловались, вечер тянулся скучно; говорили много, но тихо; все вели себя чинно, хотя и выпивали. Даже Иван Иваныч выпивал меньше обыкновенного. Он все поддакивал Марье Алексеевне. Свадьба назначена в воскресенье.

Дни до свадьбы шли хорошо. Егор Иваныч блаженствовал, невеста уже не косилась на него. Иван Иваныч скучал и ходил к протопопу редко, потому что тот не говорил с ним.

В воскресенье утром все было готово. Судья обещался прислать двух лошадей с коляской Егору Иванычу, а исправник четыре лошади с двумя колясками для невесты, городничий тоже хотел прислать лошадей. В субботу Егор Иваныч сходил к Будрину и попросил жену его, Матрену Степановну, быть его посаженой

матерью — она согласилась; также согласился быть шафером семнадцатилетний брат ее, Иван Степаныч Морозов, обучающийся в словесности.

В воскресенье Егор Иваныч не пошел к обедне. После обедни за ним прибежал Егор от благочинного. Егор Иваныч взял напрокат у одного чиновника — знакомого очень хорошо Андрею Филимонычу — только что сшитый сюртук, брюки, жилетку, фуражку; манишки и галстуки были у Соловьевых.

— Вы готовы? — спросила Марья Алексеевна при входе его в зал.

— Совсем.

— Смотрите не ударьте лицом в грязь; чтобы у вас венец не спал; свечка чтобы ровно с Надиной свечкой горела.

— Хорошо, а Надежду Антоновну можно видеть?

— Начто вам?

— Да нужно бы сказать кое-что.

— Скажите мне, я ей скажу.

Егору Иванычу хотелось только посмотреть на невесту, и он не думал любезничать с ней.

— Что же?

— Да нет уж, я после скажу.

Марья Алексеевна ушла. Немного погодя вошла невеста в шелковом голубом платье с кринолином, с распущенными волосами.

— Здравствуйте, Надежда Антоновна. — Егор Иваныч подошел к ней и подал руку.

— Мое почтение. Что нужно?

— Вы уже готовы?

— Да. А вы?

— Как видите.

— В этом-то? Ах, страм какой! Неужели вы в этом будете стоять со мной в церкви?

— Что же тут худого?

— Я не хочу, чтобы вы в этом венчались. Иначе я убегу из церкви.

— Дело не в этом, а я хочу спросить вас: охотой вы идете замуж или нет?

— Мне некогда, — сказала невеста и ушла.

«Вот те и раз! — сказал Егор Иваныч про себя. — Комедия не комедия, а черт знает, что такое. Жаль, что я не поехал с Троицким... Ну, да была не была — женюсь».

Благочинный наговорил Егору Иванычу очень много: что он выдает дочь единственно из уважения к ректору и поэтому он не должен выходить из послушания благочинного; что она делает большую жертву, выходя за него; что отец его, Иван Иваныч, должен вести себя чинно и знать только свою комнату и к нему, благочинному, не должен соваться, иначе благочинный прогонит его, как лишнего человека; что он, если будет учителем, должен учить так, как будет приказывать благочинный, и проч. Свадьба назначена в семь часов вечера.

К семи часам вечера народ толпами валил в церковь. По распоряжению тысяцкого головы, городничим были посланы казаки, чтобы в церковь пускать только одних чиновников, а прочих гнать вон. Поэтому народа около церкви много терлось. Егор Иваныч сидел дома со своим шафером и отцом, расфранченный и надушенный. Сердце его билось. Ему почему-то страшно казалось ехать в церковь, он, пожалуй, готов был отказаться от женитьбы.

— Что, Егорушко, запечалился? Не на смерть ведь готовишься, — сказал отец, тоже напомаженный.

— Тяжело, тятенька, с холостой жизнью расставаться.

— Полно глупить-то!

— Скверно, что я свою невесту не узнал хорошенько.

— Ну, не тужи...

Приехали лошади. Отец благословил сына иконой.

— Ну, с Богом, Егорушко. Дай Бог тебе счастья. — Старик прослезился.

Сын сел с шафером в коляску.

— Ну, с Богом. Я побреду к благочинному.

— Не рано ли, тятенька?..

— Я там в саду посижу.

— Смотрите не усните только.

У церкви была страшная давка. Лишь только подъехал Егор Иваныч к церкви, народ взволновался: жених, жених! — говорили вслух.

Говорить про венчанье не стоит, потому что нет человека, который бы не был знаком с этим предметом. Невеста, одетая в белое, стояла печальная и на Егора Иваныча не глядела.

Когда муж и жена сели в карету, Егор Иваныч сказал жене:

— Вот, Надежда Антоновна, мы и обвенчались.

Жена молчит.

— Теперь уж не воротить.

Она все молчит.

— Что же вы, Надежда Антоновна, молчите?

— Что же говорить мне?

— А ведь сегодня великий для нас день.

— Может быть, для вас, но не для меня.

— Почему?

— Так, воля папаши...

— Стало быть, вы отдаетесь мне бессознательно, единственно из уважения к вашему отцу?

— Да.

— Глупо! Но, Надежда Антоновна, ведь вы жена мне.

— Жена.

— А обязанность жены знаете?

— Неужели я стану работать на вас?

— Нет. Будете ли вы любить меня?

— Не знаю.

Егор Иваныч обнял ее и поцеловал. Жена толкнула его, сказав:

— Отстаньте!

Начался пир. Благочинный с женой веселились, гости тоже, молодые скучали, хотя и сидели рядом. Молодым нечего было говорить друг с другом, и на поздравления они отвечали поклоном или словами: покорно благодарим. Гости увеселялись органом и под музыку его танцевали в честь молодых, хотя благочинный терпеть не мог никаких плясок и светских песен. Больше всех веселился Иван Иваныч. Никто так не был весел, как он. Он ко всем лез.

— Что же вы-то? — обратился он к судье, показывая рукой на стол, на котором стояли вино и закуски.

— Я уже пил.

— Ах, дуй-те горой! Пей, и я выпью.

— Не могу, отец дьякон.

— А я на тебя наплюю... А ты не хочешь пить за моего Егорка. А?

— Да говорят вам, пил.

Старик к другому подходит.

Андрей Филимоныч тоже скучал.

— Эх, Иван Иваныч, скучно! То ли было на моей свадьбе!

— Нельзя, вишь ты... Все знать собралась.

— А мы попляшем.

— Давай. А напередки выпьем, ведь за вино-то не деньги платить. — Выпив водки, Иван Иваныч с Андреем Филимонычем пустились плясать, припевая: «Ах, вы сени мои сени...» Гости хохочут.

— Уж не посрамлю себя! — И старик снова пляшет.

— Иван Иваныч, ноги отшибешь! — говорит благочинный хохоча.

— «Ты лети, лети, соколик, и высоко, и далеко...» — поет старик и пляшет. Потом подходит к сыну и целует его.

— Ах ты, золото мое!

— Ах ты, пушечка моя! — целует он молодую. — Кралечка! Вырасти-ко ты экова сына — вырасти, матка... — И он не знает, какую любезность сказать молодой.

Через час Иван Иваныч скрылся. Об нем так и позабыли. Гости разошлись. Молодых повели спать. Смотрят, Иван Иваныч спит на полу около кровати, свернувшись кренделем, и подушки нет.

— Ах, бесстыдник какой! — сказал один шафер.

— Невежа! — сказала молодая.

— Тятенька, пойдемте в другую комнату, — сказал сконфуженный Егор Иваныч.

— Зачем?

— Здесь наша спальня.

— А я что? Разве не отец тебе?

— Тятенька, уйдите, мне спать хочется.

— Экая фря... А я хочу здесь остаться.

Вошел благочинный.

— Иван Иваныч!

Старик ушел спать в сад.

. . . .

Есть, впрочем, счастливцы, которые блаженствуют хотя в первые дни супружества, женившись и вышедши замуж, — вроде Егора Иваныча и Надежды Антоновны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Столешинске Егор Иваныч прожил с женой целый месяц. Благочинный уступил ему на время три комнаты в своем доме, а Ивану Иванычу отдали прихожую к этим комнатам, но он в ней не жил, а устроился в первой комнате, рядом с прихожей. Отношения молодых были такие, что со стороны можно было думать, что они живут как знакомые и что каждому чего-то недостает. Егор Иваныч мучился с женой, стараясь развить ее на сколько-нибудь, допытываясь, любит она его или нет, говорил ей любезности, как умел, жена только говорила: «Отстань, бесстыдник» и проч., или: «Я мамаше пожалуюсь». Вставали они поздно; пили чай вместе, то есть с благочинным, женой его и Иваном Иванычем; потом благочинный поручал ему перебрать разные бумаги или прочитать донесенья, сочинить предписания, рапорты. За обедом сходились все, после обеда спали, потом чай, после чаю какие-нибудь разговоры, касающиеся семейной жизни, потом ужин и ложились спать. Надежда Антоновна большую часть дня проводила с матерью или в своей комнате. С матерью она что-нибудь перебирала, что-нибудь говорила; в своей комнате сидела или лежала, о чем-то думая. Егору Иванычу хотелось дать ей какую-нибудь работу, чтобы она не скучала, но он никакой работы не мог приискать ей, да она и не хотела ничего делать. Достал он и светских книг ей, она возьмет книгу, начнет читать и положит. Стал Егор Иваныч сам читать ей книги вслух; она или дремлет, или спросит его о каком-нибудь постороннем предмете, или уйдет. Егор Иваныч скучал, скучал более оттого, что не умел говорить, не знал, как развлечь жену; он даже шутить не умел. Пойдут они гулять по городу, говорить нечего и ходят молча. Придет Злобин или жена его, и тут не весело.

Злобин хочет показаться умным, спорит; Егор Иваныч находит, что он человек отсталый и ему не пара; жена его сплетничает и наказывает Надежде Антоновне, как нужно обращаться с мужем, то есть не уважать его. Егор Иваныч пробуждался рано. Пробудится он, жена спит. Он полежит и пойдет к отцу, который сидит на улице у ворот. Поговорит с ним и пойдет в спальню, жена все спит. Поспел чай, он разбудит жену, она говорит: «не хочу» — и опять спит. Встанет она поздно и просит чаю; если чай не готов, она сердится на мужа: отчего нет чаю теперь.

— Да ведь я же будил тебя!

— Мало ли что будил; я хочу теперь пить.

— Самовар поставлен.

— А я не хочу дожидаться. — И не станет пить, и капризится целый день. Хотел Егор Иваныч проучить ее, то есть лишить чаю на целый день, но ему жалко было жены. «Пусть покрасуется, надоест», — думал он. Надежда Антоновна жила барыней и ровно ничего не делала. Скажет ей Егор Иваныч:

— Надежда Антоновна, вам скучно?

Она молчит.

— Надежда Антоновна!

— Да что вы пристали ко мне?

— Зачем же вы вышли за меня замуж?

— Зачем вы сватались?

— Вы бы могли отказаться, тем более, что я вас раньше спрашивал: охотой ли вы выходите за меня? Мало ли что ваш папаша приказывает вам.

Надежда Антоновна начинает плакать.

— Об чем же вы плачете?

— Отстаньте, Егор Иваныч. Уйдите!

Егор Иваныч отойдет от жены и смотрит на нее.

— Надежда Антоновна, разойдемтесь на время.

— Как разойдемся?

— Вы спите в спальной, а я здесь. Мы не будем сходиться к обеду, чаю и ужину, не будем видеться друг с другом.

— Зачем? — Она опять плачет.

— Наденька! Зачем ты плачешь? — А дальше не знает, что сказать ей.

Раз Егор Иваныч подслушал разговор жены с матерью.

— Ну, Надя, каков твой муженек?

— Урод, мамаша.

— Полно, Надя. Он смирный такой; он уважает тебя.

— Он все по-своему хочет делать. Никакого покоя нет от него.

Мать за обедом напустилась на Егора Иваныча:

— Мы, Егор Иваныч, не для того отдали вам свою дочь, чтобы вы ее мучили.

— Я Наденьку не мучу. Надежда Антоновна, чем же я мучу вас?

— Всем вы меня мучите.

— Смотри, Егор Иваныч, чтобы это было в последний раз! Слышишь? — сказал строго благочинный. Егор Иваныч не мог оправдаться и не стал трогать жену.

Наконец нужно было ехать в губернский. Егор Иваныч стал звать с собой жену, она не соглашается ехать. Однако, по резонам и приказу отца, согласилась. Благочинный написал два письма: одно к ректору, в котором он благодарил за Попова, а другое секретарю консисторий, в котором просил, чтобы Егора Иваныча поскорее отправили в Столешинск. Благочинный дал Егору Иванычу рясу, подрясник, шляпу и сто рублей деньгами и наказал, как нужно вести там дела, также дал Егору Иванычу свою повозку, и они, то есть Егор Иваныч с женой и отцом, отправились в губернский город.

Летом в губернском городе у мещан квартиры стоят пустые, потому что семинаристы уезжают к отцам, а других постояльцев не находится, вероятно, потому, что эти комнаты слишком нехороши. Квартиры занимаются семинаристами в первых числах сентября, а так как Егор Иваныч приехал уже в конце сентября, то его квартира была отдана двум философам. Троицкий, как сказал хозяин, уехал в какой-то университет, и его комната тогда была отдана под постой семинаристов. Егор Иваныч нашел квартиру рядом, у мещанина Удавина Василья Михайловича. Он нанял на месяц за четыре рубля две комнаты. Надежде Антоновне квартира эта показалась слишком грязною.

— Я, Егор Иваныч, не могу жить в такой берлоге.

— Ничего, Наденька. Другие квартиры слишком дороги, а здесь мы проживем не больше как недели две.

— Лучше дороже заплатить, чем в этой жить.

— Надо, матушка, деньги беречь: здесь расходов много будет.

Сколько ни ворчала жена, а Егор Иваныч не переменил-таки квартиры.

На другой день Егор Иваныч отправился в семинарское правление. Письмоводитель Василий Кондратьич сказал, что ректор переведен в другую семинарию и назад тому пять дней уехал.

— Куда уехал Троицкий?

— Он уехал с Кротковыми в Петербург. Старший Кротков в медицинскую академию хочет попасть, а младший в духовную. Один только Троицкий в университет хочет.

— А где живет секретарь Крюков?

Василий Кондратьич рассказывал.

Секретарь, прочитав письмо благочинного со вложением нескольких ассигнаций, любезно принял Егора Иваныча.

— Не беспокойтесь, Егор Иваныч, теперь все будет зависеть от меня. Завтра я пойду к преосвященному и доложу об вас. А как только посвятят вас в священники, я тотчас же велю написать указ, и этот указ вы можете с собой взять. Да! Антон Иваныч прислал сюда рапорт и при нем прошение Полуектова, священника Егорьевской церкви. Полуектов просит, чтобы его перевели в Знаменскую церковь, а ваш тесть — чтобы вас назначили в Егорьевскую. В Егорьевской вы будете один священник.

— Да, мне Антон Иваныч советовал.

— Я завтра скажу преосвященному. А вы все-таки завтра к нему явитесь.

На другой день Егор Иваныч явился к преосвященному.

— Что тебе надо?

— Я Попов.

— Место просишь?

— Я, ваше высокопреосвященство, тот самый Попов, которого рекомендовал вашему преосвященству отец ректор.

— А, я и забыл. Женился?

— Точно так.

— На ком?

— На дочери благочинного Тюленева.

— Хорошо. Кто в нынешнее воскресенье назначен к посвящению? — спросил преосвященный письмоводителя.

— Диакон Егоров во иереи и кончивший курс семинарии Крестодвиженский во диаконы.

— А в Покров?

— Кончивший курс семинарии Карионов во диаконы.

— В следующее воскресенье за Покровом назначить Попова.

— Слушаю-с.

— Ты будешь посвящен через две недели.

Эти две недели прошли скучно для мужа и жены. Главное, у них ни в чем не было согласия: захочет Егор Иваныч купить чего-нибудь — жена денег не дает, позовет ли он жену пройтись — она нейдет: мне неловко, совестно, говорит она. Егор Иваныч почти каждый день ходил то в семинарию, то к своим товарищам; товарищи поздравляли его с женитьбой и с получением места, просили водки; он покупал; ходили к нему первую неделю, пили, целовались, кричали и пели, жена сердилась.

— Чего это, Егор Иваныч, за сумасброды такие! Зачем это они ходят сюда? — говорит Надежда Антоновна мужу после гостей.

— Это мои товарищи.

— Хороши товарищи!

— Это все умные люди.

— А я не хочу, чтобы они ходили к нам. Если они будут ходить, я уеду к папаше.

Егор Иваныч никак не мог уговорить жену, чтобы товарищи его ходили к нему хотя так, поговорить. Она ни за что не соглашалась, и семинаристы не стали ходить к нему.

Егор Иваныч все-таки находил развлечения, но Надежде Антоновне не было никакого развлечения. Встанет она поздно, спросит самовар у Егора Иваныча, Егор Иваныч сам принесет самовар, за чаем разговаривают или о посвящении, или о городе, вспоминают Тюленева, после чаю она сидит дома, больше одна, скучает. Придет хозяйка, заговорит что-нибудь, Надежде Антоновне тошно слушать хозяйку. После обеда спит, там чай, опять скука после чаю. Она теперь скучала даже, что нет долго Егора Иваныча.

— Как вы, Егор Иваныч, долго. Я ждала, ждала... Скука такая, что не приведи Бог.

После этого Егор Иваныч просиживал с ней целый

день; полдня она была веселая, остальное время скучала.

— Надя, пойдем в театр, — сказал Егор Иваныч однажды вечером.

— Зачем?

— Там ты людей посмотришь. Богатых людей увидишь, главное, ты увидишь, как изображают жизнь.

— Можно ли нам?

— Теперь можно еще.

— Пожалуй.

Они пошли в амфитеатр. Играли какую-то комедию. Надежде Антоновне все понравилось в театре: и музыка, и люди, и представление.

— Ну, что, Надежда Антоновна, хорошо?

— Хорошо, Егор Иваныч.

— Мы часто будем ходить.

И стали они ходить в театр. Теперь она начинала любить Егора Иваныча.

Наступил четверг. Егор Иваныч пошел к преосвященному. Он благословил Егора Иваныча, велел ему сходить к эконому и протодиакону, чтобы те приготовили его к посвящению, а накануне посвящения прочитать за всенощной шестопсалмие.

Эконом сказал Егору Иванычу, чтобы он пришел к нему для исповеди в субботу, а протодиакон дал записку, на которой написано было, что ему делать при посвящении.

— Вы, Егор Иваныч, не робейте. Закусочку только хорошую сделайте.

— Подрясник надевать или нет, отец протодиакон?

— Нет, можно и так. Впрочем, утром, после молитв, можете надеть подрясник.

Егор Иваныч радуется и боится, что его будут посвящать при народе. Жена тоже радуется и не верит.

— Ты, поди, все обманываешь? — говорила она.

— Нет, Надя, скоро... Все сердце издрожало. — Он чуть было не сказал, что оно не дрожало так перед свадьбой.

— Не тужи, Егорушко, Бог не без милости, — заметил отец.

После посвящения в дьяконы и священники Егор Иваныч делал обеды. На последнем обеде у него народу было много. Тут были и кафедральные священники, и дьякона разных церквей, секретарь и столоначальник консистории Попов. Веселились и пили много. Иван Иваныч плясал и целовал то Егора Иваныча, то Надежду Антоновну. Надежда Антоновна тогда была весела, несмотря на буйство гостей.

Егор Иваныч ходил по городу уже в рясе и в очках.

Жена его долго смеялась над очками, но потом привыкла к физиономии Егора Иваныча, который очень важничал в своем наряде.

— Вот, Надя, и я священник.

Жена говорила только: «Да».

КУМУШКА МИРОНИХА

Рассказ
из горнозаводской жизни

Май месяц в исходе. Пять часов утра. У фабрик Веретнинского казенного горного завода, отстоящего от губернского города Приреченска в трех верстах, зазвонили в колокол, которым давали знать, что пора рабочим идти на работу и пора работавшим ночью отправляться по домам.

В заводе в это время было уже большое движение: выползали из ворот зевающие рабочие — мужчины от двадцати до сорока пяти и ребята от двенадцати до девятнадцати лет, — с мешками на плечах, лопатами, туесками в руках. Выползая из ворот, они поворачивались то налево, то направо, смотря по тому, как расположены дома по улице, и широко крестились, смотря кверху в одну сторону: этим они выражали то, что они молятся на церковь, стоящую в логу, откуда ее из-за домов не видать. Все они шли по одному направлению — к фабрикам; навстречу им попадались рабочие, возвращающиеся домой. По одному шли немногие, а шли больше человек по пяти, по семи, то молча, то перекидываясь словами. Встречные не скидывали им фуражки, а просто перекидывались словами и шли своей дорогой.

— Здорово, Парамоныч!

— С добрым утрицьком!

— Кланяйся нашим.

— Э-э!

— А Мирониху не видал ли кто?

— Куму-то?

— Ну!

— Помират!..

— А штоб ее... В девятый раз помират, чертовка!

Женский пол тоже встал: одни доят коров, другие топят печи, третьи в огородах растения поливают, свежий зеленый лук щиплют, четвертые кринки, туески, чашки и ложки моют... Рано встали люди и рано принялись за работу, как будто каждый спешит куда-то... Даже вон и гульные коровы возвращаются с поля и, останавливаясь у ворот, чешут свои морды о перекладинки, упираются рогами в ворота, как будто желая пробить себе дорогу во двор, и мычат.

— Тпрука! тпрука! тпруконька! — слышатся из дворов восклицания женщин, и затем ворота отпираются, появляются женщины разных лет, держа в руках то лучину, то палку, то веник, и, любезно ударяя по коровам этими оружиями, приговаривают: — У, ты! междудворная!.. — на что коровы, взмахнув хвостами, бегут вовнутрь двора и останавливаются перед опрокинутым железным или деревянным ведром и стараются своими мордами как будто поставить его на место.

Встают спавшие у заплотов и середи дороги овечки, умильно взглядывают на вышедшее из-за горы утреннее солнце и подходят тоже к воротам, стараясь перегнать друг дружку; только одни свиньи там и сям роются около заплотов и около помоев в лужах.

У одного четырехоконного дома с разрисованными ставнями стоит красная с белыми пятнами корова и, бодаясь в ворота, мычит. Эта корова, с первого раза, производит на человека такое впечатление, что он не может скоро оторваться от нее: высокая, здоровая, с большой головой и рогами, торчащими прямо, с большим выменем, она, при всем своем страшном виде, кажется красивой и одной из лучших во всем заводе.

Из соседнего дома вышел мальчик лет восьми, в одной рубашонке, босой, с белыми волосами. Он пошел

налево, но оглянулся — и побежал направо. Остановился он перед коровой; та поглядела на него. Мальчику, по-видимому, хотелось что-то сделать с коровой. Вдруг он схватил щепку, подошел близко к корове и, как стрелец, отставя ноги на случай обороны, щепкой ткнул корове в морду. Та двинулась; мальчик хотел бежать, но запнулся, упал и вмиг висел уже на рогах коровы, то есть корова зацепила рогами рубашонку мальчика. Корова поворачивала головой, а мальчик ревел.

Выбежала из калитки соседнего дома женщина лет двадцати восьми и, ахнув, подбежала к корове.

— Ах ты проклята!.. Ах! — И она начала хлестать корову толстой палкой. Корова лягалась и побежала прочь от дому. Мальчик висел и ревел.

— Марфа! — послышалось из окна четырехоконного дома. Окно отворилось, и в нем показалась женщина лет под сорок.

— Да чтой-то, кума, у те корова за разбойник! Просто проходу ребятам нету.

— Ой ты, девка!.. Тпрука, тпруконька! — закричала кума из окна охриплым голосом. Корова подошла к воротам, наклонила голову, и мальчик свалился кубарем на землю, нагой; рубашонка висела на рогах. Мать мальчика нарвала крапивы и стала наказывать, приговаривая:

— Будешь ты баловать, чертенок! Я тебя куда послала?

— Брось ты парня-то, дура! — крикнула вышедшая из калитки кума.

— Да как же, кума; баловник какой! — сказала молодая женщина, бросив крапиву и сняв рубашонку с рогов коровы. Кума загнала корову на двор и вышла на улицу.

— А ты, Марфа, не видала ли овечек-то?

— Кто их знает...

— Ты уж такая. Знаешь, я нездорова...

— Опять; выздоровела...

— Молчи!

— Ей, Мирониха? Здорово! — сказал сидящий у окна противоположного дома мужчина лет тридцати, кум Марфы.

— Дома молодуха-то? — спросила в свою очередь Мирониха.

— Дома. Здорова ли? — спросила показавшаяся в том же окне женщина лет двадцати, с хлебной чашкой в руках.

— Слава Богу, молодуха.

— А мы думали, што уж и конец... А в который раз-от?

— Што ты, девонька: в девятый вчера... — И Мирониха ушла во двор.

Управившись с коровой, то есть давши ей корму, сделавши ей пойло в ведре, Мирониха сбегала в огород, который тянулся по горе семисаженными грядами, с четырьмя парниками. На грядах росли преимущественно лук, картофель, капуста, морковь и редька. Все это, кроме лука, плохо еще поднималось. В парниках росли огурцы; они уже цвели. Походивши около гряд, посмотревши и удостоверившись, что все обстоит благополучно, она взглянула в соседние огороды.

— Ишь, плехи! И тут, что есть, смекальства нет, лежебокие! — сказала она громко и пошла в баню. Выдвинула она одну половицу, спустилась в сырое мокрое место, пощупала что-то там, вышла оттуда, задвинула доску и пошла во двор. Во дворе она подоила корову и выгнала ее на улицу, перекрестив ее предварительно и сказав: ступай с Богом!

В это время вышел на крыльцо, находящееся во дворе и выходящее из сеней ее дома, человек лет со-

рока восьми, очень невзрачной наружности. Он был в халате и босиком. В зубах он держал трубку.

— Эк те подняло ни свет ни заря! — сказала ему Мирониха, входя на крыльцо.

— Голова болит, Матрена Власовна.

— Голова болит! Кто велит пьянствовать-то?

Мужчина стал умываться из висящего на веревочке железного рукомойника, похожего на кружку с носом-рожком.

Вошла Мирониха в кухню, какой позавидуют, да и завидовали, приреченские чиновницы, навещавшие Мирониху. Направо большая печь, обеленная, с приступками, против печи широкие полати, у двух стен лавки; в переднем углу стол. Стены хотя и не выбелены и не оклеены бумагой, но, несмотря на то что дом сделан из бревен, обтесанных по эту сторону, они так гладки и желты, как будто моются каждую неделю. Стена против печи, под полатями, чуть не вся исписана мелом какой-то грамотой: идут целые ряды оников, крестиков, палочек и каких-то кривых линий. Пол, лавки, стол и приступки у печи очень чисты и желтоваты, что доказывает то, что они часто моются. Она вошла в комнатку с двумя окнами, тоже чистую, веселенькую. На окнах стояли цветы: бальзамины, алоэ, розан. На одной стене висят в рамках пять картин литографированных, разного содержания. Против окон у стены стоит кровать с периной и подушками, под кроватью валяются сапоги, и все это задергивается ситцевою занавескою, или, по-заводски, *пологом*, а в углу, между кроватью и кухонною печью, выдающеюся сюда одним боком, стоят два больших сундука. Комната даже нисколько не отличается от городской: в ней есть большое, но простенькое зеркало, восемь стульев, два крашеных стола и половики на полу.

Мирониха сняла половики и вытащила их на крыльцо. Мужчина уже утирал лицо какой-то большой чистой тряпкой.

— Ефим! Тряси-ко половики-то.

— Дай утереться.

— Туды же еще и умываться вздумал! — И она ушла в кухню. Там под лавкой лежал веник в ведре. Она спрыснула из рта пол в комнате и стала мести его. Немного погодя Ефим принес половики в кухню и держал их перед дверьми в комнату, смотря, как Мирониха, нагнувшись в три погибели, метет пол, то справа налево, то слева направо.

— Чего ты стоишь-то? — крикнула она на Ефима. Ефим вздрогнул.

— Чево там! — произнес он.

— Запылю половики-то! Положи на лавку, образина!

— Самовар-от ставить?

— Ишь! А ты дал мне денег-то на чай?

— Ну... опять, — сказал смиренно Ефим.

— Чево? На шкалик небось надо?

— Хм! — улыбнулся широко Ефим.

Смешон казался в это время Ефим. Пожелтелое небритое его лицо принимало различное выражение; глаза то семенили направо и налево, то смотрели на Мирониху. Он походил теперь на собаку, готовую по первой кличке броситься к хозяину. Его кожа на лбу то сморщивалась, то лоснилась, отчего стриженные гладко волоса то поднимались, то садились на свое место, уши растопыривались. В нем проявлялась то боязнь, то покорность, выражаемая тем, что он, высовывая из-за печки голову, держал руки назади, щипля пальцами свой халат. В это время можно было, наверное, сказать, что он думает: «А надую же я тебя, чертова кукла».

— Ну, што ты стоишь, как корова?

Ефим съежился, потом выпрямился.

— Пошел, неси дрова-то да руби говядину.

Ефим беспрекословно повиновался повелениям Миронихи. Загорели дрова, Ефим рубил в маленьком корыте говядину, самовар уже шумел; а Мирон/иха между тем справляла свою работу: поставила в печь горшок с водой и мясом, завела тесто и куда-то сбегала, что-то принесла под полой.

— Игнатьич! — кликнула вдруг из комнаты Мирониха, стуча чашками.

Ефим Игнатьич стрелой бросился в комнату, так что халат разорвал о плиту, высунувшуюся наружу.

— Поди-ко, сбегай к брату; спроси, не пойдет ли он в город. Пойдет, так пусть зайдет ко мне.

Ефим Инатьич стоит, ежится, как приказный, и что-то хочет сказать.

— Кому я сказала?

— Я думал...

— Пошел! Перед пирогами получишь...

— Голова болит...

— Будь ты проклят, дурак! Вот пустая-то башка!..

Ефим Игнатьич ушел и скоро воротился с известием, что брат Миронихи в город не пойдет сегодня, потому что нездоров.

— Ну, садись, нето, трескай, — сказала Мирониха Ефиму Игнатьичу.

Самовар стоял в кухне на столе, на самоваре стоял чайник с изломанным рожком и две чашки с надписью: *в день ангела*. Чашки были налиты, но чай не пили ни Мирониха, ни Ефим Игнатьич, потому что первая жарила на сковороде пять пирожков с говядиной, а последний только слюни глотал, глядя на плиту, нюхая запах от пирожков и вслушиваясь в верещанье масла, подложенного под пирожки. Пирожки поспели, и Ми-

рониха, выложив их на тарелку, поставила тарелку на стол перед чашкой Ефима Игнатьича. Ефим Игнатьич только мигает, а до горячих пирожков не дотрагивается.

— Ты што модничаешь-то? — крикнула на него хозяйка.

— Горячи...

— А водку пить не горячо?

Поспели еще две сковородки, и Мирониха села к столу; но предварительно она принесла из комнаты косушку водки и рюмку.

— Пей! — сказала она Ефиму Игнатьичу, подавая налитую водку. Тот выпил, крякнул, взял пирожок и в два приема съел его. Выпила рюмку водки и Мирониха.

— Хошь еще?

— Давай.

С четверть часа они сидели за столом. Ефим Игнатьич, после двух рюмок водки, выпил пять чашек чаю со свежими сливками и съел восемь штук пирогов, а Мирониха то пила чай, то бегала к печи вытаскивать шипящую сковородку, ругая пирожки анафемами. Вдруг Ефим Игнатьич сказал со вздохом:

— Дела как сажа бела! Хоть бы здесь, на заводе, должность получить!

— Вот уж экому пьюге, прости господи!

— Пьюге!.. Я дело свое делаю...

— Делаешь ты. Чуть не тридцать лет прослужил, а что выслужил?

— Все, ишь ты, молодых определяют.

— Ой ты, чучело! Только бы тебя и следовало в огороде поставить, ворон гонять.

— Хоть бы ты-то молчала, Матрена Власовна.

— Чего молчать-то: с дураком и Бог неволен.

— Тебе говорят, што я тут, как... — Он плюнул. — Я писец, и больше ничего по-ихнему, а кем стол дер-

жится? Ну, отчего мне не дадут помощника? — Он прослезился.

— Все у вас рыжий советник-то?

— Все.

— Ты молчи, а я ужо схожу сегодня. Я этой советнице ономедни брюхо правила, чаем напоила, да что мне ее-то чай?.. Разе у меня своего нет?.. Уж я молчала, а она говорила...

— Што?

— А уж я сама про то знаю... Ну, што же ты не собираешься?..

Нехотя Ефим Игнатьич оделся: надел брюки, манишку, жилет, повязался галстуком, натянул и сюртук. Оделась и Мирониха: надела ситцевое розовое платье и повязала голову платком. Когда Ефим Игнатьич собрался совсем, он перекрестился и сказал Миронихе: благословляй!

— Ступай с Богом.

— Так попросишь?

— Ну, что ты пристал? Ступай знай.

Ефим Игнатьич ушел, а минут через десять вышла из калитки на улицу и Мирониха. На плечах у нее висело коромысло, которое она обхватывала обеими руками. На коромысле висели: на одном крючке — узел с свежим зеленым луком, две бутылки сливок, на другом крючке — пять берестяных небольших туесков (по-заводски — бураков) с молоком. Как только она вышла на улицу, ей попались навстречу две женщины, тоже с коромыслами, на которых болтались узелки с луком и туесками.

— Гляди, Офимья, — кума-то!

— Здорово, кумушка! — проголосили женщины и остановились.

— Ну, чего стали?

— Да как это ты, кума: вчера соборовалась, а сегодня... ишь ты...

Спустились с горы, пошли по большой дороге, идущей в город. Погода была отличная, тихая, солнечная. По дороге шло много женщин, кучками и поодиночке, с коромыслами, на которых что-нибудь да болталось. Они шли скоро, голосили между собой громко. Здесь слышались бабьи сплетни, сетования на мужей, суждения об огородах и о том, как бы лучше сделать так, чтоб капуста выросла хорошая. Говорили и о нарядах.

— Я, девонька, как скоплю три с полтинкой, беспременно куплю кренолинко.

— Што ты?

— Вот те Христос! Штой-то, в сам деле, все ноне кренолинки носят!..

— Да мы, почесь, и говорить-то не умеем: карналин зовется...

— Это, бабы, не пристало заводчанкам карнолины заводить. Потому наши мужики — рабочий народ. Да и штой-то за страм! — голосила соседка Миронихи, шедшая с ней рядом.

— А сама, помнишь, в Николу какой напялила! Экое колесо! — заметила Мирониха. Бабы захохотали.

— Чтой-то, кума, у те Работкин-то все пьет? Ты бы его приучила к рукам-то.

— Гляди, сбежит. Все оберет.

— Ах вы, подлые! Да с чего ево мне унимать-то, разве я ему родня какая далась!

— Мотри! Не знам, што ли!

— Отсюда видно!

— Што, небось губа-то не дура!

— Отсохни мой язык, штобы я соврала!

— Ну, ну! Не впервой божиться-то, кумушка. Вот што!

Так дошли до города, и потом все разошлись по разным улицам, и скоро заслышались пискливые голоса веретнинок: луку, луку купите!!! молока-то, молока не надо ль!..

Матрена Власовна Мирониха — тип горнозаводских женщин, которые не только не уступают мужчинам, но даже превосходят их. Они не боятся мороза, сильных ветров, дождей, грозы, а их только беспокоит пьянство, лень мужей, безденежье, которое часто происходит не от них, а от божеского послабления, как они сами выражаются. Поглядите вы из окна или просто пройдитесь в хорошую погоду по заводским улицам: вы увидите играющих ребят обоих полов в одних рубашонках, — частию не от недостатков родителей, как мы это увидим после, а по вкоренившемуся убеждению родителей, что детей не стоит наряжать в экие годы; они веселы, бойки, умеют осмеять кого угодно и далеко превосходят своею развязностью и находчивостью крестьянских мальчиков. Поглядите вы в ненастную погоду из окна, выходящего на большую заводскую улицу, — и вы увидите тех же ребятишек, не играющих, а бегущих куда-то в одной рубашке, босыми, с непокрытыми головами. Их и гром не задерживает, и зимой босиком бегают по снегу, — конечно, не играют, а перебегают от соседа к соседу. Чем старше ребята, тем больше вы замечаете за ними ловкости, смышлености и видите в них уже работников. Вон даже теперь за Миронихой идут две девочки: одной двенадцатый год, а другой четырнадцатый. Та, которая поменьше, тащит в обеих руках по туеску, другая тащит коромысло с туесками. Отчего это так, а не иначе, — мне бы следовало объяснить здесь, но я, для краткости рассказа, должен только сказать, что в Веретнинском заводе, имеющем постоянное сообщение с городом, люди не живут замк-

нуто, выражаются без стеснений, и жизнь ихняя сложилась как-то по-полугородски, но зато веретнинцы в десять раз практичнее приреченцев.

Все это я говорю к тому, чтобы не писать много истории о Миронихе. Она была мастерская дочь. С двенадцати лет она стала ходить в город продавать молоко и скоро научилась добывать деньги, так что от продажи молока, огородных овощей, ягод и грибов она к свадьбе своей, бывшей на восемнадцатом году, помимо приданого, накопила пятьдесят рублей серебром. Тогда она была красивая девка, как ее называли на заводе, толстая, высокая, краснолицая. Да и теперь, когда ей скоро стукнет сорок лет, она не только не уступит иной купчихе ни ростом, ни толстотой, ни лицом, но даже заткнет за пояс любого купца. Она часто надувала первостатейных плутов на молоке, на ягодах, и эти первостатейные плуты никак не догадывались: отчего это Мирониха, когда ей не отдашь тотчас деньги, через месяц, кажется, насчитывает лишнее, — и какие ты тут ни подводи счеты, никак бабу с толку не собьешь: закричит, перекричит — словом, горлом берет, подлая... Да примеров много, где их пересчитаешь. Замуж она вышла, конечно, не по своему желанию, но с мужем свыклась в первый год. Муж был молод, красив, столяр, почему он много добывал денег, работая на городских господ, которых он с Миронихой называл *вареными раками*. Муж, конечно, попивал по праздникам, но жена так умела ладить с ним, как нарядчик командует над рабочими: пропьет он рубль — она лишит его чаю и заставит проработать усерднее, чтобы он заработал этот рубль; погрубит он пьяный — она побьет его, свяжет и уложит на постель, куда и сама ляжет. Если муж кусаться станет, она его теребит за волосы, зажмет рот и доведет до того, что он угомонится, и потом пьяного развяжет. Сделавшись хозяйкой в своем доме (дом у ее

мужа был свой), она всячески старалась нажить копейку. А нажить денег было очень легко. Со времени основания Приреченска веретнинцы стали извлекать оттуда выгоду и довели дело свое до того, что почти все горожане постоянно покупают у них молоко, огородные овощи, ягоды и проч. Поэтому Мирониха была постоянно, с утра до вечера, на ногах. Летом — утром сбегает в город, продаст все, что принесет туда, потом отправится по ягоды и опять летит в город; только зимой ей было скучновато; тогда она только раз в день ходила в город, но зато находила иногда работу там: мыла полы, стирала белье.

С мужем жила она недолго; через семь лет он умер, и она осталась с двумя дочерьми, которые помогали ей в хозяйстве, и с помощию их она привела огород в отличное состояние, так что у ней скорее всех поспевали хорошие огурцы и рождалось всегда больше других картофелю и капусты, до которых приреченцы страшные охотники. Жить ей было можно, но она увеличила свой доход таким образом: в городе у нее было много знакомых, которые за молоко или за какие-нибудь овощи платили ей не тотчас, а через месяц или через три месяца. Она и писала счет на стене в своей кухне против печки: одна палочка обозначала долг за один бурак, который стоил пять или три копейки. Она никогда не смешивала вместе разных долгов. Так, у нее в одном месте значился долг чиновницы Перекувыркиной, в другом — купчихи Алапаихи, в третьем — семинаристов из такого-то дома. Зато она к каждым пяти палочкам приписывала себе за труды шестую палочку, думая: «Небось вы за ходьбу-то не прибавляете. А што мне нужды, што вы меня чаем-то поите?» А так как она денег не тратила по пустякам, то у нее часто просили в долг соседи или городские знакомые. И эти долги она пишет на стенку, только рубли обозначает ониками, а

гривны крестиками. Если же кто не отдает ей долгов, она ходит жаловаться к начальникам, и если уже дело идет на ссору, приписывает к трем оникам еще оник, а девять крестиков зачеркивает, загораживает клеточкой и сверху пишет оник.

В заводе она всем известна за продувную бабу, и все ее зовут не иначе как кумушкой, — не потому, чтобы она ребят принимала, а потому, что она всем готова услужить и угодить. Еще до замужества она была, что называется, вострая девка, не спускала ни одному мужчине и ни одной женщине криком и руганью. В замужестве и во вдовах она решительно никого не боялась, на том основании, как она выражалась, — «с нас взятки гладки! закона такого нету, штобы командовать над нами». А это проистекало оттого, что на заводе все женщины добывали деньги помимо мужей, которые, сами получая за работу немного, брали у жен деньги в долг, только без отдачи, и если куражились над женами, то сидели голодом. Один год она носила молоко двум холостым молодым чиновникам; те сперва платили, потом стали оттягивать. Полгода она носила им молоко, денег не дают. Перестала она носить и взяла с одного расписку и с этой распиской пошла в то присутственное место, где служил чиновник. Оказалось, что чиновник вышел в отставку; она к начальнику, Пузатову.

— Что тебе, баба? — спросил он ее.

— Да вот, ваше благородие, взыщи с чиновников долг. Тутока один подписался, с него и взыщи. Я ужо тебе малинки принесу.

Велел Пузатов подать ей прошение; она подала. Через полгода узнала, что дело ее сдано в архив, потому что чиновник оказался несовершеннолетний, то есть ему был только двадцатый год, и поэтому-де чиновник не имел права давать расписки, и закону такого нет,

чтобы с несовершеннолетнего взыскивать долги через полицию. Обругала Мирониха Пузатова вахлаком и пошла к начальнику постарше.

— Ваше благородье! Где такие порядки написаны, чтобы долги не получать? — заголосила она, увидев начальника в приемной. Она всех чиновных людей называла *благородьями.* Начальник даже струсил бабы.

— В чем дело?

— Да вот твой-то, Пузатой, смотри што наделал... Ты думаешь, мне не дороги деньги-то? Поди-кось, я бы и с тебя не стала взыскивать?.. Ты там с других бери што хошь, а нас не обижай: мы вас кормим, потому без веретнинок вам бы трескать нечего было...

Начальник улыбнулся; улыбнулись втихомолку чиновники, стоявшие в приемной.

— Ты, баба, очень дерзка, — сказал ей начальник.

— Не эдаких видала! Я самого главного начальника видала. Вот што! У нас свой начальник... Найдем и повыше тебя! — закричала Мирониха, рассердившись.

Думал-думал начальник и повернул направо кругом, а Мирониха хотела было принести жалобу лично главному начальнику горных заводов, да ее разговорили заводские бабы.

Часто она хлопотала у советников за своих заводчан, которые служили в городских присутственных местах; и так как она носила молоко к ним, то часто выигрывала дело в таком роде: если человека гнали из присутственного места, то он опять оставался там или переходил в другое место. Часто она улаживала браки по любви и получала за это небольшие подарки.

Ефим Игнатьич Работкин был для нее совсем чужой человек. Он сначала служил в каком-то казенном заводе писцом и там решительно ничего не приобрел, кроме того, что сделался пьяницей и запуганным человеком.

Перед волей его произвели в урядники, а в волю уволили из горного ведомства, с предоставлением ему права продолжать службу по гражданскому ведомству с званием канцелярского служителя. Вот он и покатил в Веретнинский завод к сестре его жены (жена у него давно умерла). Но сестра тоже умерла, а о смерти ее он узнал от Миронихи, разыскивая в улице дом сестры. Оказалось, что и муж сестры его жены не живет здесь, а живет в другом заводе, с новой женой. В городе у Работкина знакомых не было, Мирониха и пустила его в свою комнатку. Проболтался Работкин месяц без места, прожил даром на счет доброй хозяйки, надоело так жить — и стал надоедать своими жалобами хозяйке. Мирониха с первой же недели заметила, что ее жилец человек смирный, услужливый: дров принесет, в печку их складет и даже пол выметет, только табак курит, ну, да кто ныне не курит. Вот она один раз приходит домой из города и говорит ему:

— Ну, Ефим Игнатьич, говори: слава Богу!

— А што?

— Говори!

— Ну, слава Богу.

— Место тебе нашла, в коронную принимают, даром почесь.

И стал Работкин ходить на службу в город. Уходил он ровно в семь часов утра, а приходил домой в двенадцатом часу ночи, потому что он занимался и по вечерам в присутственном месте, и за это ему платили восемь рублей в месяц. Спросил он Мирониху, сколько она возьмет с него за квартиру со столом; она сказала: «А ничего! Ты не Бог знает сколько съешь, все равно бросить придется». И стал жить Работкин у Миронихи, превознося ее, и сам не замечал, как мало-помалу подчинялся ее команде. Она стала больше и больше заставлять его помогать ей в хозяйстве, вскрикивала на

него, когда он делал не так, бранила его, что он пропивает деньги, и наконец забрала его совсем в руки. Работкин этим не обижался, а даже, как говорится, таял перед Миронихой, которая могла заставить его обежать весь завод из-за косушки водки; но подчас Работкину становилось невыносимо скучно без Миронихи. Он так привык к ней, что ни за что бы, кажется, не расстался с ней, и поэтому в голове его бродили разные мысли с разными желаньями. На службе товарищи часто корили его тем, что он снюхался с Миронихой, живет с нею гражданским браком; это его бесило, и он задумывался все больше и больше — и приходил к тому заключению, что ему не худо бы жениться на Миронихе, потому что она женщина работящая, да и с ним в хороших отношениях, но заговорить об этом с Миронихой не решался. С своей стороны, у Миронихи и помышления не было выйти замуж за кого бы то ни было, потому что она сама добывала себе пропитание, даже с излишком, постоянно была в ходу и, умаявшись днем, скоро засыпала ночью, не думая ни о чем другом, кроме того, чтобы у ней были здоровы и целы курицы, корова, овечки и т. п. Поэтому, значит, заводские женщины и мужчины говорили на нее напраслицу, что она находится в близких отношениях с Работкиным. Работкин был ей и нужен, и лишний человек, смотря по времени; нужен — потому, что он заменял ее дома своей особой; лишний — потому, что болтался около нее в такое время, когда ей хочется скорее сделать что-нибудь. Она, с своей стороны, тоже привыкла к нему, как к человеку, прожившему с ней десять лет. Поэтому она, видя робость и послушание, так и командовала над ним. Но порой на нее находил какой-то страх, и она боялась, чтобы Работкин не украл у нее деньги, которые хранились в бане под полом; и она притворялась больною и выздоравливала на другой день после

соборования. Во время болезни ее Работкин на квартире жил редко, а приходил домой только спать, а это не нравилось Миронихе. Но Работкин даже и не догадывался, что у Миронихи есть большие деньги, потому что соседки, во время ее болезни, ухаживали за ней и на свой счет приглашали к ней священника.

Пришла Мирониха в кухню, принадлежащую к квартире советника Толстобрюхова. В кухне увидала ее жена советника, Марья Алексеевна.

— Здравствуй, Матрена.

— Здорова ли, матушка Марья Алексеевна?

— Слава Богу, после твоих рук поправилась... Радуюсь, что ты выздоровела, а то без тебя молоко и сливки дрянные продавали.

— А дома у те сам-то, Савелий-то Павлыч?

— Дома. Одевается.

— Как бы мне с ним покалякать?

— Опять просить за кого-нибудь?.. Нынче у нас такой в присутствии начальник, что беда. Все сам...

— Ну, уж супротив Савелья Павлыча где ему!

Вошла Мирониха в кабинет, где Толстобрюхов напяливал на себя вицмундир.

— Здорово, батюшко. Не досужно, поди-ка?

— Здравствуй, Матрена... Ну что?

— Да опять к тебе. Нет ли местов-то у те?

— Как нету, два даже.

— Так нельзя ли моево-то квартиранта, Работкина, назначить?

— То-то што нельзя. Пятьдесят рублей дают, да мало...

— Ишь ты... Я уж тебе припасла пять фунтиков чухонского масла. Славное, сливошное...

— Эк, она! Масло само собой, а деньги само собой.

— Полно-ка, сударик!..

— Нельзя.

— А ты сколько бы взял с меня?

— Да сотню надо бы.

— Ишь ты, гостинодворец... Так, нето, как?

— Да для тебя уж так и быть — шестьдесят.

— А я думала бы пятитку.

— Што ты, што ты!

— Экой ты, какой несговорчивой. Ты думаешь, што твое место клином сошлось? Да я другова советника попрошу. Я и к самому вашему старшему пойду; скажу: вот, мол, тебе двадцать пять, хошь — бери, не хошь — наплевать.

— Да ты чево за чужих-то хлопочешь? Хошь, я тебе жениха найду?

— Мне?

— Ну, и должность ему дам. Чиновник, молодой.

— Наплевала бы я на твоих-то чиновников. Я уж замуж не пойду, а твоему чиновнику, если хошь, найду невесту с домом, только Работкину дай место.

— Ну, уж давай, нето, двадцать пять.

— А ты определи, да потом и проси.

Через неделю Работкин получил должность помощника. И как же он радовался этому! В ногах вывалялся у Миронихи, которая теперь еще пуще прежнего стала командовать над ним.

Стали похаживать к Работкину гости из города, стал он угощать их; денег у него хватало; а Мирониха не сердилась на это, потому что она говорила: должностному человеку нельзя не иметь компании с должностными людьми. Работкин стал больше и больше юлить перед Миронихой и раз, сидя за чаем, сказал ей:

— Матрена Власовна, выходи за меня замуж.

— За тебя-то? С какой стати я пойду замуж за дурака?

— Я должность имею.

— А кто тебе должность-то достал? В состоянии ли ты сам-то что-нибудь сделать?

Так Работкин и перестал говорить ей о женитьбе, только замечал, что Мирониха что-то реже ходит в город, мало разговаривает с ним, как будто дуется на него, больше задумывается.

Сидели они как-то вечером за ужином, Мирониха и говорит Работкину:

— Вот што, Ефим. Я тебе нашла должность; теперь ты имеешь кусок хлеба свой, и мне уж тебя кормить не приводится, потому на меня сплетничают. Иди на другую квартиру.

— Да я к тебе привык, Матрена Власовна.

— Мало ли што! Женись.

— Не хочу.

— А зачем за Марьей Степановой подглядываешь? Я будто не знаю. Вот и женись. Дом тебе в городе выстроят, денег дадут.

Согласился Работкин жениться на Марье Степановой и через два дня переехал на квартиру в город, а в этот день вечером у нее сидел гость, один молодой чиновник, Семен Семеныч Кольчиков, который часто приходил в гости к Работкину.

— Отчего ты не женишься? — спросила его Мирониха.

— Да денег все нет. Вот бы должность надо получить, да все наследства дожидаюсь.

— Хошь, я попрошу.

— Сделай одолжение. А я, Матрена Власовна, влюблен.

— В кого?

— В тебя.

— Поди ты!

На другой день Мирониха уже летела в город и через полчаса стояла в прихожей нового советника, на-

значенного вместо Толстобрюхова; но этого советника она видела всего раза два в кухне.

Лакей спросил ее: кого нужно?

— Не тебя, конечно, — самово...

— Ково самого?

— Советника Любкина.

— Дома нет его.

— Я те покажу — нет дома, рыжий черт! Скажи, веретнинка пришла, и все тут.

Вышел советник, молодой человек.

— Ваше благородье, што возьмешь за место?..

— Что такое?

— Вот теперь у тебя в отделении вакансья есть, а у меня хороший человек есть...

— Ты куда пришла? — крикнул советник на Мирониху.

— Ты не кричи, не таких видали!

— Иван, выгони ее.

— Ну-ко, смей! У меня еще не отсохли руки-то. А ты скажи: дорого ли ты берешь? Вон Толстобрюхов, так тот и масло забирал.

Лакей вытолкал Мирониху. Обидно ей сделалось.

— Подлый народ эти ваши-то! — сказала она Кольчикову, вызвав его на крыльцо.

— Надо подарить. Ишь, ныне новенькие-то начальники только треску задают, а берут помного.

— Я бы дала сотню, да ты-то как заплатишь?

— Я тебе десять копеек на рубль буду платить, только подмажь колеса-то.

Согласилась Мирониха дать ему под расписку сто рублей и пошла прямо в свою баню. Открыла осторожно половицу, спустилась туда — и ахнула. Корчаги с накопленным ею в тридцать лет капиталом не оказалось. Порыла она везде под полом — нет. Как ошалелая, она вышла из бани, прибежала в комнатку и села

на стул. Так она просидела с полчаса. «Кто украл?» — думала она.

«Работкин! Ах, злодей! Больше некому!» — додумалась Мирониха.

Вечером зашел к ней Кольчиков и удивился, что она все молчит, такая бледная, и не слышит, что он говорит ей.

— А ты не слыхала, что Работкин-то творит в городе?

— Чево?

— Дом купил.

— Врешь!

— Ей-Богу. Говорит, кто-то подарил ему из родных четыреста рублей. Я просил у него, да не дает. Триста рублей дал за дом.

Целую ночь Мирониха не спала. Начнет она дремать — ей кажется, что кто-то душить ее собирается... В семь часов она уже летела в город, но без молока, а только с луком. Порасспросила она там, правда ли, что Работкин покупает дом, и, удостоверившись, что правда, она кинулась прямо в то присутственное место, где служил Работкин. Она пошла прямо в ту комнату, в которой занимался Работкин. Оглядевшись и увидев Работкина, она подошла к нему. На нее смотрели все служащие.

— Здравствуй, — сказала она ему.

— Здравствуй, — сказал он. Чиновники захохотали.

— Чему вы, псы, смеетесь? Вы поглядите на этого варнака... Куда ты деньги девал, подлая ты рожа? — заголосила Мирониха на все отделение.

Работкин побледнел, затрясся.

— Какие деньги? — спросил он. Стол окружили все чиновники этого отделения.

— Ах ты, пес эдакой!.. На какие ты деньги дом-то

покупаешь? А! Ну, говори: куда ты корчагу-то девал?! Ведь я тридцать лет копила...

Работкин встал и пошел.

— Куда ты пошел?! Держите вы его, подлеца!.. Уйдет! Уйдет! — закричала Мирониха, вцепилась в Работкина и давай трясти его, приговаривая: — Я тебя даром кормила! Место тебе выхлопотала, твоим Толстобрюховым услуживала... Отдай, штоб не околеть, корчагу!..

— Господа, она сумасшедшая! — крикнул Работкин. Пришли сторожа и вытолкали Мирониху из отделения, а Работкина стали стыдить товарищи; но он говорил, что она давно уже с ума сошла. За Мирониху заступились веретнинцы, служащие в этом отделении, но большинство стояло за Работкина. Между тем Мирониха не утерпела: она ворвалась в кабинет начальника Чучелы и запричитала:

— Ох, ограбили! Ох, мои матушки!..

Чучело пришел в ярость, потому что баба прервала его дельные мысли. Он зазвонил в колокольчик. Пришел вахмистр.

— Позови сторожей да вытолкай ее.

— Меня? Веретнинку?! Врешь! Я к самому главному пойду; тебя упеку в острог!..

Однако Мирониху вытолкали усердные сторожа на улицу, и пошла она в завод, причитая: «Батюшки! Голубчики! Тридцать лет копила деньги, за всех хлопотала... А тут?.. Пятьсот рублев ведь украл Работкин-то, со всем, и с корчагой!..» Попадавшиеся ей навстречу веретнинки издевались над ней:

— Как же это так?

— Ох, в бане были!..

— Ну вот, так и есть! Говорили мы тебе: огреет он тебя.

— В тихом-то омуте и водятся черти.

— Ну, не будет теперь лишние оники да палочки приписывать!

— Что ж ты теперь, кумушка?..

— Ой, бабы, живот болит!.. Ой! И сама не знаю, што я буду делать!

Прошло с полгода с этих пор. Мирониха много изменилась: похудела, пожелтело лицо, сделалась раздражительною. Она по-прежнему работает; по-прежнему копит деньги, кладя их в чулок, а потом засовывая под нары в голбце, но как только сделается ей скучно, задумается она об украденных у ней деньгах, купит косушку, выпьет, угостит мужчин и под пьяную руку раздаст все деньги в долг, а пробудившись утром, опомнится, станет припоминать, кому она давала деньги, подойдет к стене: все стерто. Пойдет она к соседкам:

— Бабы, кто у меня вчера был из мужиков?

— А кто те знает, с кем ты амуришься.

— О, подлая! Ведь целый рубль растащили!

— Да куда тебе и беречь-то? Ведь у тебя детей махоньких нет.

— Дайте, бабоньки, опохмелиться.

Те дадут пятак; она пойдет в кабак, выпьет и говорит: «Вот вчера украли у меня, а сегодня заняла свои же деньги...» За Миронихой ухаживают рабочие, поят ее, целуют, дразнят ее корчагой; она злится, отвертывается от них и уходит из кабака пьяная и, пошатываясь, поет песню:

По горенке хожу,
В окошечко погляжу,
С помиленьким потужу!
Тужит, плачет девица,
Уливается слезами...

и т. д.

Веретнинцы и веретнинки останавливаются, дают ей проход и смотрят на нее.

— Што шарыте уставили?! — крикнет она на них.

— Што это доспелось (сделалось) с кумой-то? — спрашивают мужчины.

— Ишь, Работкин-то, ее любовник, корчагу с деньгами уволок!

— И как это она наскочила? Ах, кумушка, кумушка!..

— А он все служит?

— Все. В свой дом переехал. Сказывают, на городской хочет жениться.

На другой день Мирониха уже не пирует, а идет в город с молоком или огородными овощами — и опять копит деньги до новой выпивки. И славная она в это время, зато уж не ходит хлопотать ни за кого, только разве сосватает кому-нибудь девицу. Но хозяйство ее начинает подламываться: в огороде плохо растут овощи, на покосе сено воруют, корова худеет, четыре курицы околели, две самые лучшие овечки неизвестно куда делись. Как посмотрит она на свое хозяйство, сердце защиплет у нее — и заплачет она:

— Все подлец Работкин да простота моя... Уж я ли не молодец была, а доконали-таки... И зачем это я совалась везде, скотинская скотина!..

И хватит Мирониха водки в кабаке, да и закутит так, что заснет там, проспит до другого дня и встанет с синяками на лице.

А Работкин все служит. Он получил чин и женился на дочери какого-то отставного чиновника, который хотя за дочерью не дал денег, но может выхлопотать Работкину хорошую должность.

ТЕТУШКА ОПАРИНА

Рассказ

Бывши в дороге прошлым летом между Е. и Т., я захворал. Ехал я на порожних: обозный ямщик ехал в Т. за кладью. И несмотря на то что мы ехали с пустыми телегами, лошади шли шагом, и ямщик не понуждал, говоря, что надо же и им, то есть лошадям, вольготность дать. А так как лошади шли тихо, то телегу сильно трясло, так что, проехав таким манером двести пятьдесят верст, я подумывал отдохнуть где-нибудь.

Объявил я о своей болезни ямщику, тот ничего не сказал. Объявил в другой раз — он улыбнулся и как-то недоверчиво посмотрел мне в лицо. Однако я потом уже надоел ему.

— И!.. Што ж такое — болезь!.. И отчего у те болезь?..

Я стал его уверять, что болезнь и с ним может случиться; он с этим согласился и рассказал, как в котором-то году он так захворал в дороге, что его чуть не мертвого привезли в село, и как его вылечила тетушка Опариха; потом он вдруг спросил меня:

— Больно болит-то?

— Больно, хоть помирать, так в ту же пору.

— Эко дело!.. Гм... На постоялый не пустят, потому — помилуй Бог... возня! А ихнее дело тоже... где вожжаться!.. Одново разу этак семинарист на постоялом захворай... Так што ж бы ты думал?.. Все от него захворали!.. Беда!.. Увели к одному мужику — и там все захворали... Оказия!..

— Ну, моя болезнь не такая.

— Кто тебя знает... А ты ужо потерпи денек-то...

право! Может, ветер-то и разнесет... Может, и пройдет... А тут к Опарихе.

— Что же это за женщина?

— Женщина? — Ямщик замолчал и немного погодя начал: — Женщина, скажу я тебе, вот какая: супротив ее никто!.. Право. Мекаю я: ума у ней напрятано везде много... Баба, скажу я тебе, особая!

— Как так?

— Да так: на все мастерица. Нашим бабам — и!.. В науку бы их всех к ней... Ну, и опять тоже баба — ходок... Такой ходок, што я и не слыхивал, окромя ее. Вот те Христос!

— Чем же она занимается?

— Всем. Чем ни захочешь — всем!.. Што ни вздумай — это она... Вот она какая!..

Ямщик замолчал, и как я ни просил его определить мне занятия Опариной, он сперва только хвалил ее, а потом сказал:

— Увидишь. На што вот это: ежели бы ты, помилуй Бог, слышать перестал — вылечит!.. Ей-ей, вылечит, да так, что ты и слышать-то лучше станешь. Пра!..

Я так заключил, что тетушка Опарина — местная лекарка. Подобных лекарок я знаю много, и поэтому меня нисколько не удивила восторженность ямщика. Однако я спросил его:

— А что, если я не в состоянии буду ехать дальше, можно остановиться у Опарихи?

— Без сумления. На меня положись — все сделаю, только ежели застанем ее.

— А она разве не всегда дома бывает?

— Не всегда. Может, в город уехала.

— Что ж она там делает?

— Што? Мало ли у ней хлопот-то?.. Может, и продавать што уехала, а может, што и выглядеть.

Итак, Опариха еще торговка, а может быть, у нее

есть еще какие-нибудь занятия. Тетушка Опариха стала интересовать меня. Перебирая в памяти различных женщин, занимающихся каким-нибудь ремеслом без мужской помощи и приобретающих себе пропитания настолько, насколько нужно для существования простой сельской женщины, я пришел к тому заключению, что Опариной трудно одной иметь несколько дел и в селе и в городе. «Вероятно, у нее есть какой-нибудь помощник», — думалось мне.

— Опариха замужем? — спросил я ямщика.

— Овдовела годов чуть ли не пятнадцать. А што?

— Значит, она старуха?

— Старуха! — Ямщик захохотал и прибавил: — За пояс заткнет десятерых молодых, вот што...

— Семейство у нее есть?

— Нету — одна.

На этом мы и покончили разговоры об Опарихе. Мне захотелось познакомиться с нею; ямщик сказал, что, коли я дам на полштоф, он все дело справит как нельзя лучше.

Через день мы приехали в село. Село это стоит в нескольких верстах от большой дороги; ехали мы через него для сокращения пути. Как и везде, село не отличается изяществом построек, и окружающая его местность не очень привлекательна. Расположено оно на ровном месте, пересекаемом двумя маленькими речками, через которые сделаны мосты в том месте, где идет дорога. Дома большею частию двух- и трехоконные, с высокими крышами, с покрытыми соломой сараями. Все они выходят кривою линиею на широкую дорогу—единственную в селе улицу. Перед несколькими домами насажены черемуха, береза, рябина, но эти деревья или еще довольно молоды, или уже засохли, и посажены они, как объяснил ямщик, не из желания иметь перед глазами дерево или ради украшения, а по приказу ста-

нового пристава; «суть» приказа становой не объяснил крестьянам, но крестьяне думают, что они растут для того, чтобы в случае расправы не ходить далеко в лес за вицами. В селе есть деревянная невысокая церковь, окрашенная желтой краской. Церковь огорожена простенькими перилами, и вокруг нее недавно насажены деревья. Люди тоже не щеголяют костюмами: мужики ходят в синих изгребных рубахах и штанах, босые; женщины в синих изгребных сарафанах, с платками и без платков на голове, босые; девушки в таких же сарафанах и, в отличие от женщин, с открытыми головами и болтающимися сзади косами, без лент, завязанными ветхим и замасленным до чрезвычайности шнурком. Нельзя также сказать и того, чтобы как девушки, так и мужчины были красивы, но здоровьем и дородством обладал по преимуществу женский пол. Около дворов, позади построек, огородов нет, а огородные овощи растут на поле, вперемежку со льном. Направо, смотря с дороги, за селом, по холмистой местности расстилаются пашни с желтеющею рожью или с серою кочковатою землею; налево растет мелкий кустарник.

Когда мы приехали в село, был полдень; погода стояла пасмурная. Я чувствовал себя лучше, но мне хотелось пожить здесь с неделю, и мой ямщик остановил лошадь у одного трехоконного дома, стоящего наискосок от церкви. Дом этот своею плаксивою наружностью ничем не рознился от других построек. Такая же высокая крыша, такое же большое полукруглое слуховое окно на чердаке, без рамы и стекол, такие же черные, с вырезками, ворота, такая же соломенная крыша на сарае, такие же в оконных рамах разбитые стекла, заклеенные бумагой или заткнутые тряпками, такой же на трубе горшок, положенный в опрокинутом положении для того, чтобы ветер не гнал дыма обратно в избу.

Ямщик постучал в одно окно. В доме как будто никого не было. Поэтому он пошел во двор и немного погодя вышел оттуда с девочкой лет десяти или двенадцати...

— Нету, ушла... — сказал ямщик.

— Так как же?

— Да надо подождать... Ты посиди, а я схожу... — Ямщик пошел и скрылся за церковью.

Четверо ребят подошли к телеге и с боязливым любопытством смотрели на меня. У меня была в узле городская булка, и я, желая расположить к себе ребят, показал им булку, но они долго боялись подойти ко мне. И когда один из них, мальчик побойчее других, взял хлеб, то другие окружили его, несколько минут ковыряли пальцами булку, шептались, пробовали, но не ели.

— Что ж вы не едите? — спросил я.

Они улыбнулись, хотели что-то сказать, но замялись и попятились назад.

Пока я думал, чем бы мне приласкать их, показался мой ямщик, идущий позади какой-то высокой худощавой женщины. Когда она подошла поближе, я старался как можно лучше рассмотреть ее.

Шла она глядя в землю, как будто что-то соображая. На ней был синий изгребной сарафан, на голове ситцевый голубой платок, ноги босые. На вид ей казалось годов сорок, но на продолговатом бледном лице не было ни одной морщинки. Нельзя сказать, чтобы лицо ее было красиво; не замечалось на нем и той бледности, какая бывает у отцветших красавиц; губы плотно сжаты, так что подбородок поднялся выше обыкновенного; нос широкий, толстый, глаза серые, лоб низкий. Но это было одно из тех лиц, которые, неизвестно почему, нравятся все более и более, по мере того как вы вглядываетесь в них. Несмотря на строгий взгляд серых глаз,

в выражении лица было что-то такое, что сразу привлекает и долго остается в памяти. Я снял фуражку и поклонился ей, когда она проходила мимо меня. Она косо взглянула на мою фигуру, поклонилась и крикнула девочке:

— Ты что тут, образина!.. Так разе вяжут?

Голос был здоровый, даже очень крикливый. Девочка юркнула во двор. За ней вошла и женщина.

Ямщик сказал, что эта женщина — тетушка Опарина, отворил ворота и ввел лошадей во двор, не очень длинный, но крытый, как на постоялых дворах, и могущий вместить в себе до десяти возов.

Вошли мы по лестнице сперва на крыльцо, потом в просторные сенцы, где было душно и куда свет проходил только из дверей. Налево вели двери в просторную избу с двумя окнами, выходящими на дорогу, и одним во двор; направо была небольшая горенка с одним окном.

Несмотря на то что с виду дом казался старым, внутри этого не было заметно: стены не покосились, половицы не скрипят, полати на вид крепки, на печке не заметно ни одной щели. Стены как избы, так и горенки бревенчатые; в избе очень весело, чисто, пахнет вареной капустой и только что вынутым из печи ржаным хлебом. Одно только неудобство в этой избе — много мух, но на них хозяйка не обращала никакого внимания.

Я сел к окну — и вдруг во мне появилось желание пожить несколько дней в этом доме. Мне все показалось в нем мило, даже самое село сделалось мне милее всяких городов. Хозяйка накрыла стол изгребной синей скатертью, принесла хлеба, ложек. По счету ложек я заметил, что она намерена была и меня угостить.

Ямщик уселся за стол. Хозяйка стала угощать его пивом и сетовала на нынешнее дождливое время.

— Ну, как у те урожай-то? — спросил ямщик.

— Слава Богу, ничего... А ты-то што сидишь? Садись! — сказала она мне.

— Не могу, нездоров.

— Поешь, лучше будет.

Я сел и показывал вид, что ем через силу, но между тем уплетал с аппетитом, ибо был голоден. Нас сидело за столом только трое; девочка в горенке пряла кудель. Ямщик, как видно, был коротко знаком с Опариной, но относился к ней как к женщине практичной и даже в некоторых случаях советовался с ней; она давала советы толковые и подходящие к крестьянскому быту. Ямщик говорил о своей жене:

— Не могу я, тетушка, способиться с ней. Такая бесшабашная — страсть... Теперича — я приезжаю домой... Ну, сама знаешь, с дороги и отдохнуть надо, и вздохнуть, и порядки поправить... Тоже, поди-ко, хозяйство, ребятишки... А она, штоб ее... говорят, в город ушла, как и о прошлую пору... Ну, не обида ли?

— Не надо бы жениться на ней.

— Да черт в ее душу-то поганую влезет, прости меня господи... Право, кусок нейдет в горло... Так мне все опротивело дома; так бы и не глядел ни на што. Только ребят-то и жалко, а то бы плевать...

— Ну и что ж, ты видел жену-то?

— Прожил я четверы сутки — явилась. Я ничего, молчу, — потому, что ж ее беспокоить, да и бить — руки не стоит марать. А она, тетушка, как есть, не поздоровалась со мной: семенит по домашности; только теща ворчит: «У, ты, говорит, такая-сякая!» А мне: «Что ж ты, разе чужой? Поленом, говорит, ее»... А мне сердце как будто ножом режет... Вышел я из избы — да к куму; тот употчевал лихо... Так на пятые сутки и уехал. И ума не приложу: што это с ней. Ведь и учивал я ее, да только толку-то нет.

Тетушка вздохнула и сказала:

— Ты бы ей хорошенько растолковал: мол, хоть бы для ребят-то старалась. Ну, сам посуди, каковы дети-то будут, коли мать такая? Разе они не понимают?

— То-то!

— То-то, мужчины вы, а смекалки у вас нет. Я те што говорила раньше — забыл? Теща-то у вас какова? Не от нее ли все эти штуки?

Ямщик почесал голову, причем кожа на лбу поднялась выше обыкновенного и образовала несколько морщин; глаза приняли соображающее выражение; он как будто говорил: и этого, мол, я не обдумал раньше.

Разговор об этом предмете скоро заменился примерами тетушки Опариной, которая защищала только одних женщин и доказывала, что в подобных делах виноваты сами мужчины. Однако ямщик не вполне соглашался с ней.

Отобедали, помолились на иконы, поблагодарили хозяйку. Ямщик пошел во двор, к своим лошадям; я за ним.

— Ну что, видно, ехать надо? — спросил я ямщика.

— Тебе, што ли? И не возьму... Хоть ты кому хошь жалься — не возьму.

— Но где же я буду жить? Ведь ты ей не говорил ничего?

— Не с бухты-барахты...

Я пошел к крыльцу.

— А ты, слышь, не ходи туды. Посиди на крылечке-то.

Просидел я с час. Ямщик между тем уладился с лошадьми и справил все, что следует для дороги, даже овса и сена взял у Опариной в долг. У амбарной двери ямщик разговаривал с Опариной, делая различные жесты руками, снимая шапку и утирая лицо грязным платком, лежащим постоянно в шапке. Хозяйка не делала

никаких жестов, но заметно было, что сообщаемое ямщиком было ей не по сердцу, так как она несколько раз порывалась тронуться с места и уйти. Что они говорили между собою, я не слышал. Только смотрю — ямщик отпирает ворота; хозяйка стала всходить на крыльцо.

— А ты што? — спрашивает она меня. Я понял, что вопрос означает: зачем я сижу?

— Нездоров я, тетушка.

— То-то — нездоров, а ел зачем не в меру?

— Обидеть не захотел.

— Кака болезь-то? Лиха немочь, што ли?

Я молчал.

— Приказей?

— Да, — сказал я тоном больного.

— Пачпорт-то у те наперво надо оглядеть... Ну-ко?!

Ямщик стоял у крыльца и что-то часто чесал голову. Он боялся ударить лицом в грязь, не зная, что я за человек. От моего паспорта зависело расположение к нему Опариной.

Мы вошли в избу.

Отдал я свой паспорт Опариной. Она поглядела на писание, на печать; подозвала ямщика, потом сказала: «Отойди!» И крикнула:

— Окулька!

Явилась девочка.

— Неси свечку.

Девочка не торопясь ушла и через несколько минут пришла с зажженной сальной свечкой.

Опарина взяла мой паспорт в обе руки и, держа его между собой и свечкой, стала глядеть на него. Вероятно, она хотела удостовериться, действительно ли бумага гербовая.

— Фальша! — сказала она; но в ту же минуту взяла свечку и ушла в сенцы; за нею вышли ямщик, девочка и я.

— Ербова?.. Гляди! — сказала она ямщику.

— Ербова! Цена — рупь... Цифру вишь?

— Вижу — ербова и палку вижу. Впервые... Окулька, гляди!

Девочка тоже стала глядеть и сказала: «Птица!»

Затем хозяйка, спрятав мой документ в карман сарафана, ушла в избу, из избы в горницу; девочка спустилась во двор и стала загонять к одному углу куриц, а ямщик тронулся.

— Счастливо оставаться, — сказал он мне.

Так как без паспорта я не мог ехать, то и не стал задерживать ямщика. Он даже не спросил с меня на полштофа, вероятно потому, что по расчету он должен бы был возвратить мне около двух рублей денег.

По отъезде ямщика я сел на крыльце.

Было очень скучно, в особенности с дороги, когда хочется спать. В другое время и при другом положении я уснул бы сидя где попало; но теперь, в незнакомом месте, мог ли я спать, думая: а вот-вот выйдет хозяйка, что-то она скажет?

— Ты што ж тут торчишь? — услышал я вдруг сердитый голос.

— Извини, тетушка... Ямщик не взял: я, говорит, боюсь, как бы тебе плохо не было дорогой.

— То-то, не взял! Чай, у те и пачпорт-то не настоящий... Ну, чего сидишь тут?

Я не знал, что мне делать: отправиться ли в избу или идти куда-нибудь.

— Окулька, постели кошму-то в сенях! — крикнула хозяйка девочке и потом сказала мне: — Ты ляг там, в сенях, тулупом оденься, взопрей... Ужо малины дам испить. — Она ушла в избу.

Немного погодя я уже лежал в сенях, на широкой скамье, куда принесли войлок, подушку и овчинный тулуп. Лежал я раздевшись, покрылся пальто, а не ту-

лупом, потому что в сенях было и без тулупа жарко. Хозяйка принесла мне чайник и чашку. Чайник был горячий.

— Вот пей, — сказала она и поставила чайник и чашку на пол.

— Покорно благодарю, тетушка... Как бы не ты, не знаю, што бы...

— Ну... завтра баню истоплю... Теперь только согрейся.

Хозяйка ушла в избу, и минуты через три из избы послышался крик хозяйки и плач девочки.

— Это што? Я тебя што заставила делать?.. Лодырничать? Вот! Вот!

Хозяйка била девочку.

— В угол, на колени! — кричала хозяйка.

Скоро я заснул.

Рано утром встала хозяйка, растолкала пинками девочку и заставила топить баню. Так как я лежал в сенях не против двери в избу, то и не видал, что делала хозяйка, только слышал, что она щепала лучину, шлепала тяжело ногами по полу, ругала кошку за то, что та вертится около ног, ругала кого-то чертом, что-то шептала, и когда воротилась девочка, она ее два раза ударила по чему-то и ругала за то, что та хлебную чашку не опрокинула, а просто зря бросила, не вымыла как следует деревянную чашку и т. п. Хозяйка стряпала, а девочка бегала взад и вперед то по избе, то по сеням, ругая шепотом хозяйку.

Не знаю, сколько времени я пролежал, переворачиваясь с боку на бок. Вдруг в сени входит крадучись невысокого роста мужик в зипуне.

— Здорово живете! — сказал он и снял шляпу, обращаясь к моему ложу. Вероятно, он принял меня за члена семьи.

Я промолчал.

— Дома тетушка-то, Степанида Онисимовна?

— Дома.

Крестьянин вошел в избу и не запер за собою дверь. После обыкновенных приветствий и расспросов с обеих сторон о здоровье настало молчание.

— А я к тебе, тетушка Онисимовна, со своим с горем... Ох!

— Какое у тебя опять горе? В кабак что заложил опять?

— Ох, не то, тетушка... Кабак што?.. А вот оно, горе-то, и не думал совсем... Кабы знал. Ведь лошадь-то пала.

— В самом деле?

— Истинным Богом говорю.

Настало опять молчание, только слышно было, как крестьянин всхлипывал.

— И думал ли я?.. И что это за год ноне: первую лошадь украли, а эта пала... А лошадь-то какая лядащая была... Ну, что я теперь за хрестьянин?

— Уж истинно год ноне такой. Сколько лошадей-то пало.

— И не говори... Все то же говорят: мор такой, што и не бывало такого... Так как ты думаешь насчет этова?

— Повремени маленько. Капитал-то есть ли?

— Ни... Вот одна надежда была: репы, мол, продам...

— Ну, на репу-то много не полагайся... Подожди овса... Это лучше.

— Да што овес...

— Как што? А ты продай мне ево! Сколько возьмешь?

— Не хотелось бы продавать-то...

— Да я не все.

— Надо хозяйку спросить.

Тетушка и гость снова замолчали. Первый прервал молчание крестьянин.

— Ну, а ты сколько назначишь насчет овса-то?

— Почем я знаю, сколько выдет? Надо на деле увидать, да потом и дать цену.

— Это ты справедливо... А вот я смекаю: Илька Козлов уж давно хочет пропить свою лошадь.

— Вот и покупай.

— То-то, што денег нету.

— Достанем. Только ты насчет овса решай дельнее да толком, штобы опосля ни тебе, ни мне не было в обиду.

— Всего-то жалко, потому прикупать не хотелось бы.

— Ну, там увидим.

Немного погодя крестьянин, поблагодарив хозяйку за совет, ушел, разговаривая сам с собою вполголоса.

Через полчаса после ухода крестьянина к моему ложу подошла девочка и робко сказала мне:

— Тетенька велит — баня поспела.

— Скажи, что я не могу так идти, — ответил я, указав на себя. — Она всю одежду обобрала.

Девочка ушла, но скоро воротилась.

— Тетенька так велит, — сказала она и ушла.

Я лежал.

— Ты што ж? Двадцать раз, што ли, тебя посылать-то?

— Дай хоть накинуть на себя что-нибудь.

— Да ведь я говорила девчонке, штоб ты шугайчик надел... Ах, штоб ее!.. Нисколько у ней нет рассудку. — И хозяйка дала свой шугайчик, который мне был до колен. В этом одеянии и босый я пошел в баню. Хозяйка, однако, воротила меня от двери в огород.

— Возьми... Да натрись камфорой хорошенько, по-

прей... Слышишь, што я говорю? — кричала она мне, держа в руках пузырек.

Я воротился, взял пузырек с камфорой.

Хотя вообще в этом селе огороды находились далеко за задними постройками, но у моей хозяйки по выходе из двора, за погребами, было устроено несколько парников, ничем не покрытых; большею частью в этих парниках росли огурцы и тыквы, стебли которых тянулись кверху по жердочкам. Невысокая, с небольшим отверстием в стене, черная баня, без крыши и предбанника, стояла около речки. В бане было и темно и жарко, пахло уксусом, вероятно потому, что его лили на каменку, для того чтобы не было угару.

Находившуюся в пузырьке камфору я до половины розлил на полу бани для вида и, само собой разумеется, не терся ею.

— Ну, што? — спросила меня хозяйка, когда я пришел из бани.

— Покорно благодарю. Ну уж, и жарко же...

— На то и бани... Легче ли?

— Немного легче.

— А што же это от тебя камфорой-то не пахнет? Терся ли ты? — вдруг спросила она меня.

— Тер много.

— А отчего же не пахнет?

— Может быть, у тебя нос заложило.

— Поговори еще... Поди ляг на свое место, а там увидим. Может, завтра и в путь можешь обратиться.

Это решение хозяйки мне очень не понравилось, но я думал, что упрошу ее дозволить мне пожить у ней сутки двои, трои.

Делать нечего, опять лег. Вдруг хозяйка кричит в избе:

— Это што за мода еще! Какое это такое дозволение ты получила в овечку мою палкой швырять?

На улице голосила женщина, но я не мог расслышать ее слов; хозяйка все более и более кричала, начала ругать женщину и с бранью выбежала на двор, потом на улицу. Сначала женщины кричали на улице, потом уже у крыльца.

— Ты уж шесть раз соборовалась, в седьмой околеешь! — кричала посторонняя женщина.

— Нечего меня болезнью упрекать — все под Богом ходим. А вот ты сама-то какой поведенции.

— Ты только с беглыми знаешься! Не знают, што ли, што у те и теперь беглый скрыт!

Ругань усилилась; женщины голосили очень громко, так и думалось, что они вцепятся друг в дружку, однако кончилось тем, что хозяйка выгнала женщину за ворота и потом долго ворчала в избе.

— Из-за чего это у вас вышло? — спросил я хозяйку, когда она стала что-то искать в сенях.

— Ну вот, сам посуди, гожее ли это дело: раз — кричать на улице, другой — обзывать меня всякими мерзкими словами. А за что? Какой я, к примеру, поведенции? Спроси хоть кого, все скажут обо мне, что я, может быть, в тыщу раз честнее ее. Теперь кто ко мне за советом ходит? Слыхал, поди, даве разговор-то?.. Всем надо угодить да помочь чем-нибудь, а ведь я тоже не богачка какая, золота ни одного разу не видывала... Да мало ли што?.. Меня и в городе все знают, потому у меня там торговля есть, хоть и не корыстная, а все ж не воровски торгую, слава те господи... А она обзывать? Да я ее после этого во всем селе обесславить могу, да и тут жалею, потому муж-то ее и так бьет.

Она подошла ко мне ближе, утерла правою рукою рот и, понизив тон, продолжала:

— И как бьет он ее, сударь ты мой, как бьет, просто не приведи царица небесная!.. Мой муж драчун был, да я справлялась с ним, да и то, когда это во хмелю,

ну а во хмелю всяк справится, умей заговорить или поблажку ему сделай, потому пьян и бесчувствен — вино ходит... Да и опять, мой муж, как проспится, бывало, прощения просит: прости, говорит, Онисимовна; ты, говорит, баба золотая, за тобой никаких примет худых нет. А уж коли муж говорит, могу ли я не гордиться! А это што? И рожа-то у ней блин... Провалиться! И сама спичка спичкой... И в девчонках была со всеми в ссоре, ни с кем не ладила; воровка была сосветная... Сколько раз стегали!.. Просто мать смучилась, насилу жениха нашли... Так нет. Иная бы все к дому, о хозяйстве бы попечение имела, а эта все из дому, да с солдатом и связалась.

— Отчего же у вас ссора-то вышла сегодня?

— Да это еще што — цветочки... Ссора ли это?.. Кабы я старосту позвала — ссора, значит, а разве она стоит того, штобы бросить для нее свое дело и бежать к старосте... Да я на нее и вниманья, што есть, не обращаю... Вот што!

— Она, кажется, твою овечку била?

— Ну, разве она не мерзавка после этого? Разве это хорошо — при людях пакости делать своему человеку? Да я, если бы племянницу свою застала за таким делом, будь тут скотина самого злющего моего ворога, я бы и не знала, што бы с девчонкой сделала... Потому — коли это не пакость? Ты как хочешь ругайся, — язык-то не на привязи, глотку-то не заткнешь, — а скотина христовая чем виновата?.. Да што и калякать об этом! А ты вот што прими в рассудок, потому ты приказей и эвти дела не хуже моего должен знать. Вишь ты: я теперь повитуха; окромя меня, никто этим делом не занимается. Ну, вот она и полезь в повитухи. Знашь, пришло время ее сестре рожать, вот она и сбей сестру: не надо, говорит, Опариху, я сама умею, видала... А надо спросить ее: где она видала-то? Разве я пока-

зываю кому? Разве я могу секрет рассказать? Не могу, потому грех.

— Почему же грех?

— Почему? А вот почему, я те скажу. Теперь я повитуха и знаю, как и што и с кем дело делать; опять — кто какой комплект имеет, это первое. А скажи я бабе: баба — дура и возьмет себе, што и она тоже смыслит. Ну и начнет и повредит што ни на есть... Кто в ответе, как не я, потому я допустила своей простотой до греха человека, потому может али ребенок, али мать помереть. Не так ли?.. Ну вот она и уважила сестрице: ребенка уморила, да и мать-то скорехонько умерла... Вот она что наделала.

— А доктора у вас нет разве?

— Хватился! За дохтуром-то надо в город ехать, да он еще и не поедет... Муж-то покойной и то уж жаловался становому, да тот его же обругал: зачем, говорит, казенную бабку не взял? Я, говорит становой, тебя же за это к суду потяну... Так и не взялся за бабу. А это все оттого произошло: становой-то на меня зубы точит от зависти. Приказывал сколько раз не лечить никого. Из молодых, ишь ты, холостой: кабы свою жену имел, не то бы заговорил; кутило — страсть! А все же сила не в нем, а в мужиках, потому, коли баба родить хочет, становова ли это дело?

— А казенной бабки разве у вас нет?

Опарина засмеялась и надменно проговорила:

— И к чему эти модницы?.. Не понимаю. Вот уж именно, што казна сорит по-пустому деньги; много у нее денег-то!..

— Да ведь они учатся, им эти места дорого стоят. Ведь они, тетушка, из бедных, и им нелегко было прожить то время, в которое они учились, да и место не скоро получишь.

— А ты на деле узнай да и толкуй. Я уж двадцатый год в город-то езжу и получше твоего знаю, — проговорила сердито Опарина и ушла в избу.

Обедать Опарина меня не пригласила, вероятно, на том основании, что больному человеку есть вредно; я не напрашивался. После обеда Опарина легла соснуть, проспала не более получаса и стала куда-то собираться. Теперь она была в хорошем настроении и даже хохотала, разговаривая с своей племянницей.

— Поди-ко, запряги бурка-то! — сказала Опарина девочке.

— Да я опять неладно...

— Ну-ну! Надо же ко всему приучаться. Слава Богу, с невесту ростом... Пошла!

Девочка пошла во двор и встретила там мальчика.

— Ты што тут ковыряешь стену-то, дурак?

— Сама дуя!

— Пошел, пошел!

— Да ты не деись. Сказу мамке-то... я... — Мальчик заплакал.

Вышла Опарина на крыльцо, закричала на детей.

— Я, тетуска... мамка послая... А она делется... Я разе...

— Ну?!

— Мамка лодит... послая.

— Родит, говоришь?

— К тебе послая... Посколяе, бает, помият тожно.

— А, штоб вас!.. Только баловать... Пошел проворней: приду!.. Черти! — И Опарина ушла со двора, девочки тоже долго не было.

Опять скучно, как и вчера... Делать нечего; изба и приют Опариной казались мне противными, так и хотелось скорее удрать отсюда; но что-то удерживало.

Опарина воротилась часа через три, запрягла лошадь в долгушку, положила в долгушку два лукошка

с чем-то, один небольшой бочонок и небольшую кадушку.

— Ну оставайтесь, благословясь... В город поеду, — сказала Опарина, совсем готовая к отъезду.

— Возьми меня, я совсем здоров...

— Да тебе там что за надобность приспела?

— Ведь ты не надолго, а я бы поглядел на город.

— Места нету: самой кое-как и то присесть. Завтра или послезавтра беспременно буду... А ты смотри, штобы все было в порядке, слышишь? Задеру, коли што... — говорила она племяннице.

— Сколько же тебе за житье-то, тетушка? — спросил я.

— А ты разе ехать хошь?

— Хочу.

— Так вот и пустили! — Она ушла во двор, а минут через десять поехала, говоря племяннице наставления.

Через полчаса племянница куда-то ушла. Она вернулась домой ночью, и как пришла, так и легла, не раздеваясь, на скамью. Во все это время я был хозяином в доме: щеголял в своем костюме, сидел у раскрытого окна с трубкой, хлебал щи, которые находились в печке, и даже читал Библию, которая лежала в горенке, на небольшом столике под иконами. Но особенно меня занимали небольшие тетрадки, найденные мною в том же угольном столике комнаты. Первые и последние листы были оторваны, прочие листы исписаны разными почерками — крупно, мелко, по-печатному, косо и прямо. Тут означались имена и фамилии, вещь и цена, например: «Никофору Яковличу сена 1 р. 15 коп.» и все вроде этого. Немного страниц было пустых. Уплачены ли деньги—ничего этого не показано и не зачеркнуто. В иных местах было написано чернилами, две-три страницы залиты чернилами, несколько пол-листов слиплись и пропитались салом, во многих местах ничего нельзя

было разобрать, потому что или карандаш стерся, или писано серыми чернилами, и хотя крупно, но не разборчиво, вроде таких слов: *„аляси казу бракуй“* — и т. п. Ни чисел, ни месяцев, ни даже праздников нигде не обозначено. Кроме этого, я обратил еще внимание на стену против окна, у которой стояла кровать с периной, вероятно, принадлежащая Опариной. На этой стене в нескольких местах начерканы углем палочки, косые и кривые, и крестики. Несколько палочек и крестиков были уже зачеркнуты. Я вывел то заключение, что Опарина грамоте не умеет и здесь, вероятно, что-нибудь на память записывает.

Вечером погода стояла хорошая, и я сидел большею частию у открытого окна, так как солнце светило на противоположные дома. Село было оживлено более обыкновенного, так что на улице играли ребята и сидело несколько мужиков кучками в разных местах; у своих или соседских домов сидели женщины с рукодельем или грудными ребятами. Веселы же были, надо сказать правду, только ребята, а мужики и бабы разговаривали между собою о чем-то не очень весело. О чем они говорили — я этого не слышал. Но вот из калитки противоположного дома вышел старичок в синей рубахе, опоясанный плетенным из красной шерсти поясом, в таких же синих с заплатами штанах и в лаптях на ногах. Лицо его было очень бледно, волоса и борода седые; сам он был сгорблен, и его немножко трясло. Отойдя немного от калитки, он сел на скамеечку, перекрестился и подпер голову руками.

— Дедушка Иван, подь в компанство! Чего сидишь один-то? — кричала какая-то женщина старику. Дедушка Иван посмотрел на кружок, заключавший в себе двух женщин и трех мужиков, и ничего не сказал.

К старику подошла молодая женщина, держа в левой руке пряжу, и, поглядев кругом, что-то шепотом

спросила старика; тот только рукой махнул. Женщина подсела к нему, и между стариком и женщиной начался разговор шепотом. Я несколько раз замечал, как женщина указывала рукой на дом Опариной, как раз на то окно, у которого сидел я, и старик только взглядывал по направлению руки, сжимал рот и никаких при этом особенных движений не делал.

— А ты слышал: прибыль Бог послал Анне-то Федосеевой, — проговорила вдруг женщина громко.

— Ужли родила? Когда? — спросил старик, широко взглянув на женщину.

— Никак в обед Бог дал — сынок... Опариха была.

— Да ведь уехала Опариха?

— Уж она свое дело справила. Была я сегодня у нее, у Федосеевой-то: хомяк мальчонко-то!

— Ну, дай Бог.

— Ты бы зашел бражки выпить! А? Заходи?

— Покорно спасибо.

Женщина отошла прочь и что-то часто глядела на мою особу.

Хотелось мне очень выйти на улицу, пройтись по селу; но выйти — значило нарушить беседы крестьян: они бы тогда перестали разговаривать, потому что я для них человек совсем посторонний. Кроме того, я еще не знал отношений крестьян к моей хозяйке Опариной. Так я и просидел до заката солнца, когда на улице уже не было ни души.

Я уже хотел затворить окно, как услышал мужскую брань и визг женщины. Разобрать сначала не было возможности, потом я из криков понял, в чем было дело. Крестьянин, изрядно выпивший, тащил в волость свою пьяную жену, которая украла у него последние два рубля, и он нашел ее в кабаке. Что там она делала — я не понял, но надо полагать, что что-то нехорошее. Муж тузил жену, жена ругалась и кричала: «Зарежу, вар-

нак, зарежу! Ты меня в гроб вколотил, — зарежу!» А так как в окнах показывались мужские и женские головы и оттуда слышались одобрения, относящиеся к обиженному мужу, то обиженный муж останавливался и кричал:

— Прислушайте, батюшки! Прислушайте, голубчики... осподи!

— Хорошенько ее... Она сегодня как Опариху при всем мире чествовала... Хорошенько!..

— Зарежу!! Спалю село... — визжала отчаянно женщина.

— Веди ее... Ничево!..

— Прислушайте ее речи... Будьте свидетелями... благодетели!..

Против церкви несчастную женщину уже тащило двое мужиков; она рвалась, билась, голосила; муж бил ее веревкой.

— Вот наказанье-то... осподи! — говорили, качая головами, зрители и запирали окна...

В одном окне, недалеко от церкви, показалась голова мужчины, с волосами, заплетенными в косу.

— Што ж ты ее бьешь, мошенник! — крикнуло лицо.

— Отец Василь... право...

— Пошел спать, свинья... а не то самого в волость запереть велю!

— Он меня погубил... истребил совсем... кровь! — выла женщина.

Я закрыл окно и хотел идти на улицу, чтобы защитить женщину, но мне пришла в голову мысль: могу ли я тут помочь ей чем-нибудь, когда и она пьяна, и муж ее пьян, и все соседи вооружены против нее?.. Так я и оставил свое намерение. Но эта сцена долго беспокоила меня. Хозяйка рассказала мне, что эта женщина испорченная; теперь я увидал, что в селе все против нее; муж ведет ее в волостное правление за кражу

у него трудовых денег, которые, может быть, составляли весь его капитал, и за какое-то другое прегрешение... Вероятно, не она сама дошла до такого положения, что все против нее и что заставляет ее быть такою, а довело же ее до этого что-нибудь и кто-нибудь? И что будет дальше с этой женщиной? Во сне мне мерещилась эта сцена, и казалось мне, что эта женщина горько раскаивается перед начальством во всех своих делах, просит прощения — и еще чего-то хотела бы она попросить, да не знает, чего бы такого...

Встал я при восходе солнца, разбудил девочку, взял по ее указанию наберуху и пошел за грибами. Но когда я вышел за ворота, то решительно не знал, в какую сторону идти. По счастью, из одних ворот выехал в телеге крестьянин. Я спросил его.

— По грибы-то, поштенный, неблизко: верст пять будет, да и тут ходьба-то через речку Малиновку.

— Не пойдет ли кто из ваших?

— Из моих-то двое ушли. А вон к половинкиновскому дому постучись, может, старуха Маремьяна подет. Она поздно уходит.

Я поблагодарил крестьянина и подошел к указанному дому.

Оказалось, что старуха, бабушка Маремьяна, страшная охотница до грибоискания, сегодня идти не может, к великому ее сожалению, так как у нее что-то очень неловко под сердцем, и она было посылала за попом, да поп уехал ночью в деревню Загибалиху. Молодуха сказала мне, чтобы я попросил Степаниду Игнатьевну, что живет напротив, чтобы она отпустила со мною своих парней. Я так и сделал. Оказалось, что парни сегодня поедут на покос и что если мне так желательно идти в лес, то я один могу идти, так как я не маленький, или бы мог взять с собою племянницу Опари-

хи, у которой я живу. Все это говорилось коротко и как-то неохотно.

Делать нечего, поплелся я наудалую. При выходе из села я увидал впереди женщину с лукошком на спине. Я ей крикнул раз, крикнул два, пустился в бег — кое-как женщина остановилась. Она была не молода; лицо ее было изнурено, глаза заплаканы. Я не стал тревожить ее и при входе в лес повернул от нее направо и ходил все больше по краю и редко-редко заходил вдаль, опасаясь потерять из виду пашни.

О своем похождении за грибами, о том, как приятно быть в лесу одному, говорить не стану: это предмет известный. Но вот я вышел из лесу и увидал, что у ржи сидела та же самая женщина. Ее плетеное лукошко было переполнено до того, что представляло собою два этажа, из которых верхний был гораздо шире нижнего, потому что в лукошко были воткнуты свежие прутья рябины, а меж них переплетались такие же прутья и служили продолжением лукошка, так что будь у этой женщины желание сбирать грибы целый день, то она, вероятно, увеличила бы лукошко аршина на два. Около нее, на траве, лежало десятка три красных грибов, которые, по всей вероятности, не входили в верхний этаж лукошка. Женщина была босая; толстая кожа ног была изранена во многих местах, и она теперь вытаскивала из левой ноги занозу... Я присел недалеко от нее и закурил трубку. На спрос мой, как она может ходить босиком в лесу, где почти на каждом месте лежат сухие прутья, сосновые иглы и т. п., она упорно молчала; также ничего не ответила и на замечание, что сегодня день жаркий. Поэтому продолжать какие бы то ни было вопросы мне было неловко, и я счел за лучшее идти домой.

День был действительно жаркий, тем более было мне жарко в моем длинном пальто, похожем на халат;

мне хотелось пить, а воды не было. Но все-таки здесь дышалось лучше, чем в душном городе. Идя между двумя пашнями, я вдруг потерял из виду село. Оказалось, что местность, по которой я шел, была низкая. Наконец выбрался я на ровное место. Церковь наискось, левее. Налево почти в ногу со мною шла неразговорчивая баба: я видел только ее голову, повязанную платком, и верх лукошка с плотно укладенными в нем грибами. Вскоре я потерял ее из виду, но когда вышел на только что унавоженную землю, увидал опять ту же женщину, сидящую у одного обожженного пня. Она упирала голову обеими ладонями и горько плакала.

— Тетушка! О чем ты плачешь? Аль болит что? — спросил я, подойдя к ней.

— Ох! — простонала она и пуще прежнего заплакала.

Мне хотелось узнать причину ее горя, но я не знал, что сказать ей. Вдруг она перестала плакать, дико взглянула на меня, отвернулась, минут с десять проглядела на одно место — и вдруг кинулась мне в ноги и проговорила:

— Не освободишь ли ты, кормилец, сестру-то мою, Дарью Егоровну? Спаси, кормилец, по гроб буду за тебя царице небесной молиться, матушке-то нашей!

Большого усилия мне стоило уговорить женщину сесть; я злился на то, что остался у Опариной, пошел по грибы — и теперь должен разыгрывать роль чиновника.

— Што, разе твоя сестра худое что сделала? — спросил я ее.

— Ой, ни в чем не повинна, как перед Богом истинным... Перед небом, што перед престолом, говорю... Все это от него, от мужа-варвара, да от злодейки Опарихи жизнь такая... Все он... Освободи ты ее... Стегать ее хотят.

— Если что могу — сделаю, только на меня ты много не полагайся: потому я человек не служащий, а живу здесь потому, что захворал дорогой, а раньше этого и вовсе не имел никакого намерения даже и мимо вашего села проезжать.

Женщина смотрела на меня тупо; она, казалось, ничего не поняла из моих слов.

— Он, муж-то ее, да злодейка Опариха все жилы, проклятые, вытянули из нас.

Мы несколько минут молчали. Я не знал, что говорить, о чем спросить ее, и вдруг сказал:

— Чем же он и Опариха обидели вас?

Женщина только охала. С большими усилиями рассказала она мне целую историю, которая, как я понял, была такова.

Отец их был волостным старшиной в то время, когда они, сестры, были молоды. Братьев у трех сестер, живших душа в душу, не было; а мать в то время, когда их уже прочили в невесты, то есть на пятнадцатом году, была не родная, но мачеха — и, само собой разумеется, не имела об них такого попечения, не любила их и не заботилась об их нравственности, как родная мать. Поэтому в доме часто случались драмы такого рода: мачеха заставляет падчериц что-нибудь делать — они вон из избы, к подругам, откуда мачеха нередко прогоняла их с криком, бранью и побоями, чем попало, — что, разумеется, немало бесило девушек, забавляло парней, а от этого взрослые люди села считали дочерей старосты за отпетых девушек, у которых будто бы не было ни стыда ни совести. Но все это была чистейшая ложь, потому что девушкам только и было радостей что у подруг, где они, и то только на вечерках, играли в разные игры с парнями. Отец был пьяница; он вполне верил жене и даже боялся ее по одному обстоятельству, которое рассказчица не хотела

выдать на свежую воду. До семнадцатилетнего возраста житье сестрам было каторжное. Не удалось им выйти замуж по своему желанию. Мачеха сказала своему мужу, что надо наперед столкать замуж старшую дочь, но не за кого-нибудь, а за ее хорошего знакомого, десятского, у которого в селе в то время был постоялый дом и который, независимо от своих служебных обязанностей, исполнял тогда даже почтовую гоньбу. Возражения и слезы Дарьи против этого не были приняты во внимание, и Дарью обвенчали насильно, но в первую же ночь молодой улизнул от жены, что весьма удивило поселян и разозлило старшину. Но каково было посрамление молодой! Над нею смеялись все девушки, все парни, и в особенности тот, кого она больше всех любила. Дарья, впрочем, долго не думала и сама стала пропадать из дому. Начались безобразные ссоры, брань, побои. Между тем все произошло вот отчего: десятский просил от старшины приданого тысячу рублей, на которые хотел расширить отправление почтовой гоньбы и прикупить несколько десятков десятин хорошей земли в таком-то месте. Старшина обещал выдать ему эту сумму тотчас после венчания, и так как между ними не было заключено никаких письменных обязательств, то старшина, по благословении молодых иконами, наотрез отказался от слова, отчего за ужином между тестем и зятем произошла драка, после которой десятский и удрал из села в город со вдовой Опарихой, а через неделю прогнал от себя жену и стал жить открыто с Опарихой. Потом он поссорился с Опарихой и взял к себе Дарью, и когда его сделали старшиной, он стал обращаться с ней ласково, говоря ей, что он доконал-таки ее родню тем, что отца за разные подлоги сослали в Сибирь, а мачеху он прогнал из дому, и она неизвестно куда потом скрылась. Все-таки Дарья уже не могла любить своего мужа. Сама рассказчица

замуж не вышла, потому что ее жениха сдали в солдаты и он неизвестно где пропадал несколько лет, и хотя потом и воротился на родину, но прежние привязанности и отношения называл глупостью и теперь на нее мало обращает внимания. Третья сестра тоже вышла замуж и жила довольно сносно, но назад тому три года умерла от родов. Так и билась Дарья несколько лет. Дела мужа ее пошли все хуже и хуже; продал он всех лошадей, стал пьянствовать, бить жену, наконец его сменили с должности, описали за казенные деньги все его имущество и посадили в острог. В это время Дарья и рассказчица жили где господь Бог приведет и где добрые люди позволят. Из острога муж Дарьи выпущен недавно; несколько месяцев занимался конокрадством и теперь кое-как занимается извозом. В селе у него нет ни кола, ни двора, ни пашни, ни покоса. Живет он у своего дяди, жене ничего не дает, и потому она бедствует ужасно, и кусок хлеба достается ей горькими слезами.

— А это неправда, что она вчера у мужа украла два рубля? — спросил я рассказчицу.

— Врет! Врет он, аспид. Какие у него деньги?

— Да ведь, ты говоришь, он извозом занимается, стало быть, у него деньги могут быть.

— Каки деньги, коли он приезжает пьян и побирается у дяди. А вчера приехал тоже пьян, ну и пошли они с дядей в кабак... тот тоже — не пролей капельку. Ну, оттуда приходят пьянее вина и давай искать Дарью, а Дарья только што в кабак нанялась за два цалковых, на своих харчах. Он ее и давай бить и потащил в волость. Заступись ты, родной! — прибавила в заключение рассказчица.

Я не стал больше расспрашивать эту женщину и не знал, кому больше верить: ей ли или тетушке Опариной. Мне все-таки казался этот последний рассказ более

правдивым, и я решил хлопотать за Дарью у Опариной. Мы пошли молча домой.

Опарина была уже дома, в горенке, и перерывала вещи в сундуке. Увидев меня и оставив незапертым сундук, она подошла ко мне с тетрадкой и, не обратив никакого внимания на грибы, сказала:

— Ну-ко, погляди, что тут наворакошено[1]?

Я взял тетрадку; тетрадка немного засаленная; в ней написано то же, что и в тех тетрадках, которые я видел вчера.

— «Огурцов кадка — пятьдесят семь копеек», — читал я.

— Ну, а сметаны?

Нашел сметану — два рубля.

— Как так?

— Так.

— Да ведь он писал: два двенадцать.

— Тут только два.

— Не врешь?

Я подтвердил. Она стала бранить того, кто записывал, выхватила книжку и ушла в комнату. Немного погодя мы опять стали сверять счеты — оказалось верно.

— Один раз отрежь, десять примеряй. Нельзя! — сказала хозяйка довольным голосом и завернула тетрадку в тряпку, которую завязала в старенький платок, как будто тут хранились деньги.

— Ты, тетушка, и торговлей занимаешься?

— Помаленьку... Бог милует.

— Я думаю, трудно одной-то за всем?

— Што делать-то? Вот и здешним-то нужно угодить, и в городе присмотреть. В городе-то у меня сестра торгует помалости, ну, а в ярмонки и я на базаре торгую чем случится.

---

[1] Написано. *(Прим. автора.)*

— Выгодно?..

— Мало... Потому мало, что тому да другому надо дать, подарить, значит. Одново разу с меня много затребовали; ничего не дала — прогнали... Я к начальству: какое, говорю, право нашли твои подначальные деревенских баб обижать? Я здесь не первый год, говорю, торговлей занимаюсь, все мной были довольны. Я, говорю, мол, и до царя дойду. Ладно, говорит начальник, подожди. Проходит день, проходит два, начальство ни шьет ни порет. Пошла опять; я, говорит, собираю... не знаю чего...

— Справки, вероятно.

— Ну-ну! «Я, говорит, постараюсь...» А ярмонка-то через двои сутки кончается. На другой день я опять пошла к нему. «Дома, говорят, нет, уехал...» Я через день к нему... «Што, говорю, ваше благородие, правда-то где у те!..» — «Я, говорит, все сделал, што ж ты, говорит, поздно пришла?» Ну, значит, надо всегды давать...

Хозяйка стала хлопотать об обеде, который состоял из грибницы и жарехи из грибов же, а я пошел в тот кабак, где, по рассказу женщины, сидела в последнее время Дарья.

Это была маленькая комнатка, с перегородкой и стойкой, имеющая вид лавочки, но пропитанная махоркой и водкой. Между стойкой и стеной, в углу, стояла полубочка с воронкой во втулке и с медным краном внизу бока. На полу стояло несколько бутылей, два-три полуштофа и несколько пустых косушек. Больше ничего не было. При моем входе в лавочке не было никого, и я, простояв минуты две, удивился простоте сельских жителей. Стал я кашлять — никто нейдет; отворил два раза дверь и хлопнул ею — тоже. Наконец я крикнул довольно громко: «Хозяин!»

Из-за перегородки показалась худощавая молодая женщина и, позевывая, спросила:

— Што тебе?

— Однако какие вы безбоязливые... Не боитесь, что у вас всю водку утащат.

— Не утащат!

Я попросил стакан водки и заговорил насчет городской торговли вином. Женщина уверяла, что у них, Бог милует, воров еще не бывало, а так как в это время почти никто в будни не приходит в кабак, то она и дозволила себе немножко прикорнуть, не запирая дверь, а если же когда кто и придет в кабак в это время, то не беспокоит ее, а дожидается и сам пить не смеет, потому что шила в мешке не утаишь. Только один кум ее пользуется тем правом, что он, приходя в кабак, начинает бражничать, но он бражничает подолгу и не один.

— Это за что же, тетушка, вчера бабу в волость увели?

— А Бог их знае. Напасть одна. Муж — пьяница, драчун... Ну и опять ему больше веры...

— Она у вас жила?

— Да где ж ей и жить-то больше, как не у нас, потому уж вся избитая... Все Опариха.

— Опариха, говоришь?

— Ты хошь и у нее живешь, а я все-таки ее не боюсь, потому как теперь я торгую водкой, так и она тоже торговка, и говорить я все могу. Што она прытка, это за ней пусть и будет, а што насчет ее лиходейства — шила в мешке не утаишь. Вот што... Все знают, што как муженек-то ее помер, она и давай примазываться за мужем Дарьи-то в та поры, когда он еще холостой был. Как ведь не примазаться: тогда достатки были у него, а она только домом и владела... Ну, да тот на деньги позарился, женился на Дарье, да Опа-

риха оплела его; так-таки и оплела. Чьи теперь у нее покосы-то да пашни? Олексея. Чья лошадь у нее? Ево же. Вот она какая! Ну, разе жене это не обида? Да она, я те скажу, — хоть ты передавай, хоть нет, — через нево и в люди-то вышла, и она же опять и разорила его; а как разорила, и знаться с ним перестала.

— Как же это она сделала?

— Как? Да так: как завидела она, что он на ней не женится, а на попятный двор от нее, она помалчивает, а потом и говорит: што же, говорит, Олексей Митрич, ты не зайдешь пивка попробовать? Тот зашел, стал плакаться на свое житье. Она его ласкать... Ну и пошло дело. Денег ли надо, она даст, да не зря, а записку возьмет и срок в записке покажет. Вот она какова!.. Тот все брал-брал, да как попал в беду, то она ему и дай еще денег под лошадь да под корову, а потом и предъяви записки куды следует. Ну, знамо, без денег не обошлося.

— Она, значит, капитал имела?

— Знамо, воровски жила... У нас-то украсть нечего, так в городе воровала, а в городе-то у нее сестра родная за солдатом замужем; ну и хоронили концы, тем и торговлю завели. Вот таким-то манером она и завладела покосом да пашнями. А уж насчет это... куды как речиста, заговорит. Вот Олексей-то Митрев и пришел к ней после острогу и давай корить ее; а она на одну речь ему сто речей, ну, тот и присмирел; у нее же и занял опять под расписку... Она ему и лошадь даже дала, да лошадь ту он сбыл, другую завел, значит, потерял — ищи! Знать не знаю, говорит: у меня такая лошадь, а в твоей записке другая... Ну, значит, маху дала... Так она, значит, и разорила ево. А уж про Дарью и говорить нечего: так-то ли она на нее зловредна — беда!

— А давно лошадь-то потерялась?

Женщина посмотрела на меня подозрительно и спросила:

— А тебе нашто?

— Нет, я так. Ведь мое дело стороннее.

— Да с месяц будет... Ты видел у нее лошадь-ту?

— Плохо.

— А лошадь отличная: рублей пятьдесят, надо быть, стоит, а она на ярмонке купила, говорят, за пятнадцать.

— Ямщики говорят, Опариха здесь в почете.

— Да мало ли дур-то да простофиль... Оно конешно, свое добро даром отдавать не приходится, только уж она плутовата больно. Вот хоша бы к примеру: Кузьма Залыжных взял у нее пять мер овса...

— Своего-то не было?

— То-то, што сбился деньгами и закабалил овес-то ей же прямо с пашни. Ну, она записку с него: заплатить, мол, к Паске. Паска пришла, а у того денег нет... Пиши, говорит, новую... Тот сдуру-то и напиши... Ну, значит, и вышло две записки... Вот какова Опариха-то!.. И ей все сходит, чтоб ее язвило!..

На этом мы и покончили разговоры. Опариха весьма заняла меня. Мне хотелось расспросить ее о ее жизни, и я стал выжидать удобного к этому случая; только случая этого не представлялось, а расспрашивать ее прямо, ни с того ни с сего, неловко.

По окончании обеда, когда Опарина наказывала племяннице, как какому-то крестьянину отмерить овса, так, чтобы было не в убыток Опариной, или, попроще сказать, обмерять, я вдруг спросил ее:

— У вас, тетушка, на каком основании наказывают розгами женщин?

— На том, што обучать уму-разуму следует всякого!

— Ну, а если бы, к примеру, тетушку Опариху?..

— Этова не будет: я законы знаю. Знаю, што ноне это отменено.

— Значит, коли отменено, наказывать противозаконно, а кто не исполняет закон, тот не должен ли отвечать?

— Да ты к чему эту историю подвел?

— Слыхала ты: хочут стегать Дарью Яковлеву?

Лицо Опарихи немного передернулось, глаза сверкнули.

— Откуда ты это слышал?

— Все говорят, — сказала племянница, перемывая чашки и ложки.

— Не тебя спрашивают! — крикнула хозяйка.

Я рассказал вчерашнюю сцену.

— Ну, этому не бывать!.. Вот еще новость!.. Какое они такое право взяли баб стегать?

— Да тебе-то тут што?

— Разе мне не обида? Разе это не обида всем бабам, коли над ними мужики будут командовать так и издеваться?

— Да ведь ты на нее сердита?

— Сколь сердита, столь и милостива. Ты думаешь, я без чувствия?

Хозяйка торопливо оделась и скоро вышла; она скрылась за церковью.

Вечером на поляне, перед домом Опариной, сидело несколько женщин; сидели они в различных позах полукругом, с работами, а у завалинки дома Опариной сидели девочки с грудными ребятами, заменяя своими особами нянек, около них же терлось штук шесть детей-малолеток. Молодое поколение говорило негромко, потому что занято было играми в клетки, потчеваньем друг друга глиняными лепешками и т. п. Нале-

во от молодого поколения лежали на поляне холсты и нитки. Женщины разговаривали, но не шумели по обыкновению, а вели себя чинно, вероятно потому, что тут ораторствовала Опарина. Она уверяла, что гораздо лучше утыка́ть дома куделей, чем мохом, потому что от этого в избах теплее делается; смеялась над одной соседкой, что она, не имея хорошего рассудка, вздумала положить паклю на каменку. Все это она разъясняла в течение получаса, останавливаясь только тогда, когда ее перебивали, и хотя в ее словах ничего не было нового и интересного, но женщины слушали ее, как я заметил, с удовольствием, часто отрывая глаза от работы; и когда она кончила, они не нашлись сделать какое-нибудь возражение Опариной.

— Бабы, не найдется ли у вас излишку пакли? — спросила вдруг Опарина.

— Тебе нашто?

— Надо. В город — один купец просил пуда с два. Так... на пробу.

Разговор перешел к пакле. Оказалось, что теперь пакли едва ли у кого можно найти. Одна женщина сказала, что у нее хотя и есть немного этого товара, но она дешево не отдаст, тем более потому, что у нее нет льну, а лен сеять они будут года через два, когда справятся. От пакли перешли к тому, что нынче торговля чем бы то ни было стала не в пример хуже прошлых годов, народ стал собака, полиция придирчивее, так что хоть и не езди в город. Только вот еще ярмонкой и можно кое-как биться, да и тут поганые татаришки стараются завладеть первыми местами, отбить их, бедных женщин, на задний план и продают гнилой товар, перекупают лучшее и их же, опытных торговок, ловко нагревают. Против этого Опарина смело возражала, что, если кто не умеет взяться за какое-нибудь дело, тот не должен и браться за него, потому что он сме-

шит народ и делает убыток своему карману. Женщины пытались было опровергнуть это своими примерами, но примеры разбивались Опариною различными доказательствами из своей практики; тогда женщины стали корить ее разными плутнями, и дело чуть не кончилось небольшой ссорой, но Опарина незаметно перешла к Дарье Яковлевой, показывая на нее как на женщину, не умеющую ни за что взяться, отчего из нее впоследствии нельзя ожидать ничего хорошего.

— Да виновата ли она-то? — возразила вдруг одна женщина.

— Сам плох, так не подаст Бог. Разе я не так же бедна была в молодицах-то? Разе вы тоже из богатых семей-то? Вспомните-ка прошлое время!

Несколько женщин вздохнули и вполне согласились с Опариной в том, что действительно Яковлева отчасти сама виновата; что она еще в девчонках избаловалась. Женщины три неизвестно почему стали гнать по домам своих детей. Затем Опарина что-то шепотом сообщила своим подругам, отчего одни из них вытянули лица и покачали головами, другие ударили по коленям. Заметно, что сообщенное Опариной известие женщинам пришлось не по сердцу. Вдруг они заголосили все, но я не мог понять смысла этого митинга, только слышал: «Врут они всё! Этому не должно и быть! На то разе мы дались им?»

По всей вероятности, суждение происходило насчет Дарьи Яковлевой.

За ужином, состоявшим, как и обед, из грибницы и жарехи, я расспрашивал хозяйку о жизни крестьян и о том, какую выгоду приносит им земля. По ее взгляду, жить в селе очень можно, земля хорошая, и главное — нужно не лениться. Положим, оброки и разные повинности ныне большие, но она о нынешнем времени умолчала, а говорила, что при прежних порядках

некоторые крестьяне сколачивали-таки капиталец и даже уходили в города, и как на факт указывала на одного купца, ушедшего из их села в лаптях и теперь ворочающего большими капиталами. «На все это, — говорила она, — нужны сметливость, терпение и ловкость, нужно испытать всякие лишения и неприятности, и когда дела будут идти в гору, не нужно зазнаваться или выходить из себя». Но при этом о самой себе она ничего не сказала, даже не указала на себя примером. Потом она круто повернула к тому, что их село, находящееся от города К. в двадцати верстах, может иметь выгодную торговлю с городом, если бы за торговлю принялись женщины. По ее понятию, мужчины должны работать в селе, например ухаживать за пашнями, прихватывать работников из разных праздношатающихся людей, которые целыми десятками шляются по миру, могут приучать детей к работе, а женщины должны торговать в городе, тем более потому, что земля дает с избытком то, что посеешь, только пользоваться этим, по мнению Опариной, мужики не умеют, потому что многие из них или находятся в кабале у кулаков, или ленятся и пропивают излишние деньги в кабаках.

— Вот, например, я; про меня все чешут языки, и все меня не любят от зависти. Особливо ни одна баба не скажет про меня постороннему человеку хорошего и приплетет непременно что-нибудь, чтобы осрамить меня. Есть вон и такие, которые даже яковлевской Дашкой попрекают, будто она через меня такая сделалась... Иной раз так до того разозлят в глаза, што даже заплачешь от такой напасти... Ну, значит, креплюсь. А не крепись я да думай, что они меня спалят или что худое над моим хозяйством сделают, — все вверх дном пойдет. Ей-Богу! А я на все плюю и им же добро сделаю, потому как бы худ ни был человек, а все же после пригодится и благодарность к тебе будет иметь. Ничего

нет хуже в жизни, сударь ты мой, как эта болезнь. Шесть раз я после мужа в лихоманке была, шесть раз соборовалась, а не померла... Видно, господь Бог терпит моим грехам и для какой-нибудь пользы длит мою грешную жизнь. А они што?.. Хоть бы одна пришла проведать... Вот только племянница и служит мне, да и ту сбивают: иди, говорят, к матери, Опариха тебя изурочит... А разе я ей добра не желаю? Што она в городе-то выживет? Чему научится? Еще, пожалуй, пельмянницей или калашницей сделается... Да и какие ноне нравы в городе! — Опарина перекрестилась, потом обратилась к девочке, которая вязала варежку:

— Поедешь в город-то, как бабы говорят?

Щеки у девочки покрылись румянцем, она робко сказала: «Нет...»

— Да ты у меня не смотри так-ту! Знаю я по себе: без меня на голове ходишь, а при мне — в угол. Поди-ко принеси пивка, да не копайся в погребе-то. Слава Богу, наелась, поди.

Девочка вышла.

— А хитрая девчонка! Нужды нет, што мала! Нужды нет, што я ее взяла полтора года, — все порядки переняла, все по-моему делает. Не беспокойся, лишнего не передаст!.. Ну, в город-то я ее не беру, потому дома надо кому-нибудь быть: иной раз мужики заезжают за овсом. Ну, и бережлива. Это когда чего-нибудь дашь ей — спрячет, так что я уж ей сундучок купила... А тоже ведь и любит меня она, нужды нет, что иной раз губы надует.

— Вы, тетушка, иногда уж очень сердиты бываете, — заметил я.

— А ты думаешь, так им и дай волю! Ты говоришь: принеси чашку, — а она сидит. Ну, разе так науку нужно производить? Какая она после этого мать будет?

— Лаской надо.

Опарина захохотала и сказала:

— Откуда ты это ласки-то найдешь? Разе меня лаской вспоили-вскормили? Разе меня топерь ласкают, коль не огорчают тебя на каждом шагу? Ласка што значит? — поблажка... А как сделал поблажку раз-другой да как будет дитятко чужих советов слушаться, тогда придется самой все делать. А я не так богата, штобы дармоедов держать; это, может, у богатых господ так принято... Но как рассерчаешь, тожно и не удержишься — и поколотишь, а потом и приласкаешь. Вот они и боятся и слушаются. К примеру, меня-то как приучали? Не забыть мне...

В это время девочка принесла жбан пива. Хозяйка налила мне полную глиняную кружку, выпила и сама залпом кружку пива. Девочка села недалеко от тетки. Ей тоже, как видно, хотелось или пива выпить, или послушать, что будет рассказывать тетка. Становилось уже темно. На улице никого не было видно; в домах огней тоже не видать.

— Ты што же сидишь, полуношница! Когды — так и за делом спишь, — проговорила обыкновенным голосом хозяйка девочке.

— Я... так... не хотца спать-ту, — проговорила девочка, закрывая рукою рот, который при последнем слове широко раскрылся.

— Пошла, дрыхни! — сказала строго хозяйка.

Пока девочка стлала себе постель в горенке, хозяйка и я молчали.

Хозяйка еще выпила пива и мне налила кружку.

— Что-то мне спать не охота! Оказия!

— Ты даве начала было о своем житье говорить, — сказал я с сочувствием.

— Это насчет воспитания? Истинно, воспитывать нельзя как строгостью: за всем надо самой присмот-

реть, потому кто припасает-то? Я припасай, а другой мытарь? Дудки!.. Вот, к примеру, мое дело. У родителев-то у моих семья была большая, а кажись, окромя меня, никому не было столько чижало. Вот перед истинным Богом! (Она взглянула на икону и перекрестилась, голос ее дрожал, как будто ей было обидно.) День и ночь... куды! Никогда не знала спокою с малолетства. Перво-наперво — ребята. Кого качай, с тем водись; то прибери, другое; то сделай, пято-десято. А жили некорыстно, дай им Бог царство небесно, хоша и считались за зажиточных, потому отец-то, не тем будь помянут, хоть и испивал малу толику, но все ж гоношил [1] по хозяйству. Свои пашни имели и ладненько продавали в городе; бывало, в зиму-то мешков десяток продаст и зашибет рублев тридцать, потому пшеничная-то мука в та поры была три с половиной али четыре за мешок в пять пудов, а топерь вон она по пяти и по шести скачет. А мать-то моя продавала тоже в городе яйца, масло и капусту, только не умела беречь деньгу: как выручит рубля три-четыре — и давай покупать ситцу али пряников... И колачивал же ее за это отец, крепко колачивал, хоть бы и не следовало, потому огород или скотинка и птица завсегды должны принадлежать хозяйке; опять надо и то в расчет взять — сам-то он испивал же от своих трудов праведных! Ну, а все же она тратилась не в меру, и мы по милости ее никогда, что есть, яиц не ели. Впрочем, что об этом и говорить? Бывало, поешь чего Бог даст, а я так до семнадцати лет и терпеть, что есть, не могла яиц. Нутро не принимало. Сперва я все с ребятишками нянчилась да дома управлялась, потому, когда мать в город уедет, все хозяйство на мне лежало. Мать говорила, что я к хозяйству больше торовата, а вот сестра Катерина-то —

---

[1] Старался. *(Прим. автора.)*

к торговле. Только я замечала, что сестра Катерина ни к торговле, ни к хозяйству не смышлена; а мне больно хотелось торговать, только мать не хотела. Ну, я и начала производить торговлю в селе. Уж больно мне смешно, как вспомню, как я глупа была в та поры. Мать уедет, я отделаюсь дома и бегу к подруге, или подруга ко мне прибежит, и говорю: давай меняться! Та тоже: ну, давай. А менять-то было што? Бусы, суперики[1], платок... да мало ли што?.. Ну, потом и говорю: сколь придачи? Так и менялись!.. А все эти придачи и другие слова я от матери переняла. Али пойдем в огород и давай рвать морковь, и давай меняться. Видишь ли, я уж очень репу любила, а подруга морковь... Потом мать начала меня брать в город, ну, там я и узнала, в чем суть. И толковать об этом нечево. А тут вышла я замуж, судырь ты мой (хозяйка вздохнула). И вижу, порядки там не те. Родня большая, каждый в свою сторону да в свой карман тянет, а толку мало, бедность обуяла всех... Ну, дело молодое, хочется повеселиться, ан нет — делай. Хочется самой быть полной хозяйкой — нет, тут все хозяйки. Обида просто берет, а муж смирный, олух; только когда пьян, тогда и боек, тогда и драться лезет... Так я и промаялась восемь годочков, и эти года я была совсем пустяшный человек, потому ровно ничего для себя не сделала; даже торговлей заняться не могла — нечем было торговать-то. А сестра в то время вышла замуж за вахтера. Ну, а как помер муж-то, я словно воскресла. Перво-наперво же — своей коровенки нет. А от мужа мне досталось десять рублев: в шапке нашла — зашиты были; ну, я и не знаю, куды мне деть деньги, што с ними делать. На ту пору и подвернись Олексей Яковлев. Он раньше на мне жениться собирался, да потом надул. Пришел он ко мне,

[1] Перстень. *(Прим. автора.)*

братец ты мой, в дом. А я жила тогда в своем доме, сам муж строил, только тогда одна изба была, а уж это я все после состроила сама. Ну, я его пивком, он — так и так, говорит, лебезит... Ну, дело молодое... Прошло... На духу все прощено... Вот я ему и дай под расписку денег, никак, шесть рублев. А тут дело подошло к лету, поспели огурцы, я в Т., да одна, на яковлевской лошади... Уж и наималась же я страстей!.. Воры напали, да видят — огурцы, хотели лошадь взять, да уж только Никола-святитель спас... Двои сутки прожила в Т., кое-как продала: только три целковых и выручила. Ну, все ж хоть и немного, а я была больно рада и стала потом ездить в город: почти все, что было в огороде, перевезла в город и деньги копила; только вот Яковлев и высасывал их. Так я и сделалась торговкой, и это нашим-то не больно сперва нравилось, а потом и бабы стали поручать мне продавать яйца, масло, капусту. Так што иной раз я с тремя возами катила в город с одними мальчишками. Купила я корову, овечек, куриц, свиней, ну, тогда дело пошло еще лучше, только, случалось, воровали скотину. И все же, гляжу, возни много, одной так трудно, што не приведи Бог, а прибыли мало, потому не я одна торгую, да и крупного товару у меня нет. Стала я подумывать, как бы мне постоянно торговать в городе. Ну и нельзя: в селе у меня все хозяйство, а в городе надо начинать сызнова. Так ничего и не выдумала и маялась много лет. Наши-то бабы много мне доверяли, и я без обмана исполняла порученья. А это много значит, и они еще больше стали располагать мной да на меня надеяться: нет у кого муки, ко мне бегут, потому отчего не дать своему человеку — не обманет, отдаст; а если и муку не возворотит, я сеном возьму, али овсом, али чем иным. Тоже, например, мужику нужен хомут, а денег нет. Ну и плачется. Я говорю: ничего, подожди, на ярмонке де-

шевле купим, а ты мне только расписку пиши, после сквитаемся. Ну, а как не заплотит, и другим возьмем. Да, сударь ты мой, много возни нужно с нашими мужиками! Когда нужда, он и божится и плачет, што, вот как только поправится, со сторицею возвратит. А когда станешь просить свое, он же и обижается. Ну, подумала-подумала я: што, если я все таким манером буду упускать свои выгоды, не получать долгов, эдак сама обеднею. Положим, нуждающемуся дать нужно, только он-то зачем обманывает да кривит душой? Ну, думаю, не буду я вам больше в зубы смотреть. Нашла я через сестру в городе человека: судейский столоначальник. Вот коли кто мне не платит денег, я расписку столоначальнику, мужика и потянут. Ну, тот и пишет условие: поквитаться на овсе или ржи. Оно хотя и убыточно это для меня, потому я не могу определить, сколько измелется ржи, — все ж таки что-нибудь да стоит, и мужик уж зимой меня не проведет: покою не дам, как начнут молоть. А тут я и пашни и покосы приобрела себе, и, слава те господи, прибыль есть.

— Как же ты одна-то управляешься? — спросил я.

— Как? Ведь разе ты не знаешь, мы наши работы справляем помочами; ну, а мне многие должны, многие и не откажутся, потому грех; вот я и приглашаю: кои должны, долги зачитаю работой, а кои не должны, тех удовлетворяю деньгами, поденно. Да деньги што! Помочи нужно только справить хорошенько: угощение надо сделать. Ради одного угощения пойдут. У меня, что есть, и сеют и пашут даром. Вот што! И на это есть тоже своя причина. Видишь ли, мать моя лекарским искусством занималась, а мне этого искусства не передавала, а я все-таки знала названье трав и знала, какую она траву откуда берет. Знала, што лечить нетрудно, а тоже за леченье ей платят. Ну, как померла она, я и принялась за леченье скоро. Захворала баба —

по всему селу стало известно, а мне особливо; свекровь ее приходит и спрашивает: нет ли, говорит, у тебя, Опариха, травки какой? Ну, я взяла травки и пошла. А я слыхала из разговоров от матери, какая трава от какой болести пользительна. Выздоровела баба. Ну, с тех пор и стали меня звать во все дома, и стала я для всех нужна. А тут вскоре и повитухой я сделалась. Тоже трудности нет большой; ничего худого не случалось, миловал Бог. Вот они все и знают чувствие, видят, што у меня мужа-то нет, и пристают к мужьям: надо, говорят, помочь Опарихе-то. Да и мужья знают это, потому все мною от лихих болестей облегчение имеют. Ну, и вспашут и посеют.

— Своим посеют?

— Дожидай! Нет, мужик тоже плут: мы, говорит, вспахать — вспашем, не большой расчет, а засеять неможно, свое семя подай. Ну, да это так и следует.

— Ну, а как же ты кровь-то пускаешь? Ведь это вредно.

— И!.. Кровь — с жиру али с застою. От чего болесть? С крови. Выцедил ее — и легче. Да мне, сударь ты мой, сто раз выпускали кровь-ту!!

— То-то ты и худая.

— А разе... А тучный человек как помират?.. Нет, самое главное — это кровь... Опять же: у мужа Катерины фельшар есть — друг-приятель, — так он мне лекарствия дает. У меня, кажись, пузырьков тридцать есть... Я ведь тоже и лошадей пользую.

— Много же у тебя дела-то, — сказал я после минутного молчания.

— Беда! И не поверишь, за все мои хлопоты и старания они мне все злом платят. Иной раз пьяный мужик так и грохочет на все село: пиявка Опариха!.. А бабы все только до случая, чего-чего не говорят!.. А как кто захворает или горе какое, идут, просят пияв-

ку Опариху. Вот какой крестьянский-то народ! — заключила Опариха и громко зевнула. — Эк я — как расселась-то! Темень-то! — сказала она и встала.

Было действительно темно.

Опарина зажгла сальную свечку и стала делать себе постель на полу избы.

— Ну, летом ты торгуешь овощами, а зимой чем? — спросил я Опарину.

— Зимой-то? А зимой я продаю муку, лен, масло, яйцы — да мало ли што?.. Продаю и сита. Только этим больше занимается сестра. У нее в лавке все есть — только одной живой воды нет.

— И сено есть?

— Пошто сено? Сено ближние крестьяне продают, и я сеном не занимаюсь.

— Ну, а на ярмарке что продаешь?

— На ярмонке? Продаю орехи и пряники: потому деревенские гораздно падки до этого товара. Да и ярмонка-то што? Только быками да лошадьми и торгуют, да вот разе еще поганые татаришки старый да гнилой ситец продают... А ты иди — спи! Не цельную ночь сидеть для тебя, — прибавила она сердито.

На другой день утром мы пили чай, — я за столом, против хозяйки, племянница ее поодаль, на лавке. На замечание мое, зачем ее племянница не сидит за столом, она сказала, что девчонка еще мала и должна сидеть только тогда, когда будет совершенною невестою.

— Но ведь ты говоришь: без мужа жить лучше?

— Никогда и никому я этого не сказывала. Потому сам ты рассуди, какое житье девке? Хоть где ни живи девка, а веры ей той нет, как бабе. И хорошего будь поведения, и тут насчет поведения сумлеваться будут, и надзору за ней больше. Да и какое житье девке одной? С кем она посоветуется? И опять: разе возможно устоять девке от соблазнов? А баба не то: куды ни

приди, везде всем равна; никто тебя пальцем не ткнет, и веры тебе больше. Тоже и вдова... И вдова тоже баба, потому замужем была...

Опарина силилась объяснить положение вдовы, но у нее ничего не выходило, кроме того, что вдова была замужем и потому ей более должно быть доверия.

Шел дождь. По улице шел полупьяный десятский и, остановившись перед домом Опариной, сказал что-то негромко.

Опарина отперла окно и крикнула:

— Куда ты?

— Скликать! Дашку стягать хочут.

Опарина с негодованием хлопнула окном и стала скоро убирать со стола чашки.

Я спросил у нее, где волость, и пошел туда.

За церковью стояло еще несколько домов, и из них особенно выдавались два дома: один, пятиоконный, стоял на площадке против церкви. Дом был построен недавно и по новому фасону. У окон были расписные ставни, две трубы обелены. Наискось этого дома, через дорогу или улицу, был дом старинного фасона, старый, черный, с провалившейся до половины крышей. Над окнами с разбитыми стеклами болталась обеленная доска, держащаяся на одном гвозде, с надписью — *волостное правление*. В доме был гам и крик. Ворота были растворены, да они, как надо полагать, с давнего времени и не запираются, потому что половинки их держатся только на верхних болтах и подперты. Во дворе амбар с двумя дверьми. В этом амбаре, как я узнал после, содержатся виноватые, в одной половине — мужчины, в другой — женщины. Окон ни в том, ни в другом отделении нет. Во дворе грязно, воздух тяжелый, гнилой... Вошел я по небольшой лесенке на крыльцо, потом вошел в темные сени, из которых ведут двери вовнутрь, справа и слева. Направо двери отворе-

ны. Там, в небольшой комнатке с одним окном и с облупившеюся и заплесневевшею во многих местах штукатуренною стеною, стоял небольшой стол простой работы; на столе и на окне сидели в рубахах крестьяне, двое из них курили махорку. Я поклонился им, спросил: здесь велостное правление? И получил утвердительный ответ. Никаких украшений в этой комнате не было, кроме одной рамки между печью и дверью, которою я вошел в комнатку, — рамки с разбитым стеклом. В рамке ничего не было, и я не мог понять, для какой именно цели повешена она; да, надо полагать, и крестьяне об этом не знали.

Другая комната, в три окна, довольно просторная, но узкая, с такими же ощипанными и заплесневевшими стенами и потолком, с черным от грязи полом, только и отличалась от первой что простором да двумя столами и четырьмя стульями, стоявшими у столов. За одним столом сидело два человека в сюртуках, с длинными волосами и с плутовскими физиономиями, за другим сидел солдат и писал грамотку двум крестьянам. Этот солдат, как я узнал тут же, принадлежал к составу канцелярии волостного правления. А узнал я это из того, что вышедший из угловой комнаты, писарь, молодой, бойкий господин, в легком летнем пальто и скрипящих сапогах, приказал ему переписать какую-то бумагу. В этой комнате было человек до тридцати крестьян, большею частью в рубахах и шапках. Половина из них сидели на полу у стен, половина, собравшись в небольшие кучки, о чем-то горячо разговаривали. Некоторые курили табак. Здесь происходил такой говор, что разобрать решительно ничего невозможно; никто не стеснялся ни крупными выражениями, ни языком, ни руками, все равно как на улице; всяк как будто бы чувствовал себя в своем доме; только из того, что при появлении волостного писаря в этой комнате или при

проходе его в первую комнату народ немножко утихал, а некоторые даже вставали с полу, можно было заключить, что они у начальства.

Третья комната отличалась от первых двух тем, что кроме табачного дыму в ней пахло еще и водкой. Действительно, я увидел на окне полуштоф с жидкостью, деревянную солонку, чайную чашку и редьку. В этой комнате стояло два шкафа, окрашенных на скорую руку красною краскою, и посередине большой стол. За столом у стены стояло три стула, из коих один, крайний к окну, имел подушку, обшитую кожей. На столе были разбросаны бумаги, паспорты, две какие-то книги; писарь сидел на краю, противоположном той стене, у которой стояли шкафы, и что-то писал; перед ним стояли трое крестьян.

Простоял я с четверть часа, а начальство не являлось. У меня от дыму начала болеть голова. Крестьяне на меня не обращали внимания, только писарь, проходивший мимо меня, косился.

Наконец явился старшина: низенький человек, лет сорока, с лысой головой и большой черной бородой. Он был не толст и не тонок и не щеголял костюмом: на нем был надет черный зипун, опоясанный красным кушаком. Физиономия его выражала тупость и дикость. При входе он крякнул, вытащил из-за пазухи ситцевый грязный платок, отер им лицо и, протолкавшись в толпу, пробасил:

— Васька, падле-ец! — Затем он начал тузить одного крестьянина, стоящего ближе всех к выходу.

Народ захохотал.

— Илья Петрович... — произнес получивший удар.

— Зашибу! Зашибу!!

— Гляди, Кузьму за Ваську принял? — сказал, смеясь, молодой крестьянин.

Народ опять враз захохотал.

— Аль Кузьма! Ку-узьма!.. Ах ты, ешь те леший... Кузьма?.. Ну, просим прощения, — говорил старшина и при последнем слове низко поклонился Кузьме.

— Ничего; зачти за недоимку.

— Целуй! Друг! — говорил старшина и стал целовать Кузьму.

— С похмелья аль пьян? — спросил старшину народ.

— Видно, грех попутал — пьян, никак... Смотри не грохнись, — острил молодой крестьянин.

Народ захохотал.

Старшина мотнул головой и пошел в третью комнату.

— А, Василь Васильч!.. Сто лет здравствовать, три пьянствовать... Водка-то есть ли? — И старшина ткнулся животом в стол, причем произнес: — Василь?.. Как бы таво-сево?

— Есть мне когда с тобой раздобаривать! Садись на свое место да пей водку, вон! — проговорил писарь, указывая рукой на окно.

— О-о! Ах ты, сорока-белобока... Та-та-та! Та-та-та! — Старшина, схватив полуштоф, сел на стул с кожаной подушкой.

— Якцм! Подай-кось лохань-ту! — сказал старшина мужику, стоявшему у двери.

— Раненько бы... тово... — начал было Яким и почесал себе затылок.

— Ну! Не тебя — себя угощаю.

Мужичок подал старшине чайную чашку, редьку и солонку.

— Вот!.. И потолкуем тожно... Важно! — произнес старшина, выпив чашку водки.

Старшина стал закусывать редькой и начал разговор с мужичком насчет лесу.

— А што ж, старшина, Яковлеву-то? — спросил писарь.

— Веди!.. Эй, Гаврило! Веди Яковлеву! Живо веди, черт те дери! — кричал старшина.

Немного погодя в большую комнату была введена женщина лет тридцати пяти. Это была измученная женщина, с посинелым лицом, подбитыми бровями, босая, в изорванном сарафанишке. Всякий поглядел на нее и с состраданием, и с отвращением.

— Што?! Опять ты меня в правленье! — кричал ее муж, подошедший к ней с кулаками.

— Не трожь!.. Разберем коли, тогды и бей, — унимали мужа крестьяне.

Тот отошел и начал ругать свою жену. Его кое-как уняли.

Вышедши из присутствия, то есть третьей, угловой, комнаты, старшина сел на стул у одного стола, крестьяне стали во всю длину стены, женщина очутилась между крестьянами и старшиной. Я стоял за крестьянами.

Старшина встал со стула, подошел к крестьянам и стал осматривать их: он то поднимался на цыпочки, то заглядывал сбоку, причем голова его с половиною туловища описывала полукруг, что смешило крестьян, которые хихикали.

— Аль Прокопья нет?! Как же это, робята? — проговорил вдруг старшина.

— Хотел быть, да, видно, ногу сломал.

— Ишь ты... А ты, Пашка, не зубоскаль много-то. Ей-ей... в некруты сдам, — проговорил старшина, обращаясь к молодому крестьянину.

— А ты, Илья Петрович, не раздобаривай, пущай коли домой, — произнес кто-то недовольно.

— Пущу, пущу!.. А ведь надо бы тово, четвертуху?.. А?.. Робя!..

— С Яковлева бери.

— Васюха?! Васька? Ва-сю-ха!!! — прокричал стар-

шина, обратясь к третьей комнатке; последнее слово он произнес по-кошачьи. Народ заговорил. Все роптали на старшину.

— Счастливо оставаться! — сказал вдруг один крестьянин и стал надевать шляпу.

— Стой!.. Кто выдет — гривна серебра штрафу... — сказал строго старшина.

— Это-то небось помнит, на это трезв... — роптали крестьяне.

— Сичас, робята... Никифор, тащи-ко писаря-то за волосы! — сказал старшина и мигнул одному чернобородому крестьянину обоими глазами. Однако писарь явился сам, с пером во рту и какой-то бумагой в руках.

— Подписывай!

— Поди ты от меня! Плевать!

— Так я печать твою приложу.

— А вот! — И старшина показал писарю здоровый кулак.

Писарь было пошел, но старшина крепко ухватил его за фалды сюртука.

— Постой-кась... Не уй-де-ешь!! Я... Я тебя не пущу-у!! Олексейко, говори!

Из толпы выдвинулся муж Дарьи и, почесываясь, начал рассказывать о поведении своей жены.

— Врешь! Врешь! — озлобленно говорила Дарья.

— А ты говори дело. Воровала она у тебя? — спросил писарь.

— Перед истинным Богом говорю — воровала: около трех цалковых унесла... Заставь Богу молить...

Женщина поклонилась в ноги старшине и стала выть.

— Ну!.. Што кричишь-то!! А ты, парень, ноне разбогател тожно. А што ж подать-ту! — спросил старшина Алексея Яковлева.

— Батюшка Илья Петрович... сколотырил было три цалковых. Ну, думаю, слава Богу, завтра представлю в волостное правленье... Хвать, она и вытащила... И хоть бы грош!

— Што-о ты? — сказал старшина, растягивая.

— Провалиться, не вру!

— Вася? Врет Олексейко али нет? По-твоему, как?

— Конешно, украла.

— А вы, робята? — обратился старшина к народу.

— Известно... Нам што...

— Ну, значит, украла, и конец делу...

— Ну-ко, Дарюха? Што ты скажешь, матка-свет? — обратился к обвиненной старшина.

Обвиненная вдруг начала браниться и неизвестно почему назвала и старшину подлецом.

— Постой, постой, сорока! Ты скажи, зачем деньги украла?.. А за ругань я еще взыщу... Гово-ри! — крикнул вдруг старшина так громко, что многие вздрогнули.

Дарья ничего не отвечала.

— Писарь! — Старшина держал все еще писаря за одну только фалду сюртука. — Каки твои законы?

— Стегать! — одно.

— Робята, как? — спросил старшина крестьян.

— Мы ништо... Нам што, — проговорили тупо крестьяне.

— Степанко, а Степанко!

Из первой комнаты вошел тот солдат, который раньше здесь занимался.

— Кашка-то у те есть ли? — спросил его старшина, ухмыляясь.

Оказалось, что всю «кашку» увез с собой становой на следствие по какому-то делу, а что веники есть.

— А впрочем, — добавил усердный солдат, — можно виц нарезать и у хмельниковского дома.

Старшина согласился и послал Степанка за вицами. Публика не расходилась, а стала дожидаться, какое будет наказание бабе — тяжкое или легкое. Старшина потребовал водки, принесли четверть; несколько крестьян выпили по чайной чашке, только закусить было нечем. Говор усилился. Кажется, все позабыли о происходившей недавно сцене, да и о предстоящей никто не говорил ни слова, только хвалили старшину, — вероятно, вследствие угощения, — что хотя он и пьян, да два угодья в нем.

Вдруг вбегает Опарина.

Все крестьяне разом смолкли и удивленно смотрели на нее.

— Где старшина?

Внезапно ли наставшая тишина или громкий голос Опариной заставили старшину выйти в эту комнату.

— Вон! Глядите! Опариха! — кричал старшина, кусая редьку.

— Я давно Опариха... Ох ты, пьяница ты горькая! И какой тебя дурак старшиной-ту делал? — кричала Опарина и при последнем слове чувствительно дернула старшину за бороду.

— Нет... ты... па-стой, — размахивая рукой, говорил пьяный старшина.

— Моли Бога, што ты пьян, а то я бы тебе глаза выковыряла.

— Ой ли? Выковыряла бы?

— Ну-ко, скажи, каков твой суд насчет Дарьи?

— Стегать.

— Вот тебя бы постегать-то!

Народ захохотал.

— А вы-то што, олухи царя небесного... Вы-то што стоите, точно подохлые?.. Для того, что ли, вас позвали сюда, штобы табачище проклятый курить да хохотать!.. Ах! глядите, они водку лакают! Ну и суд!..

— Да мы ништо... Наше дело што? Коли бы... — загорланили крестьяне.

— Вы-то што! Вы и слов сказать хорошенько не умеете! — Потом, обратясь к ошеломленному старшине, который тупо глядел то на народ, то на нее и почесывал спину, Опарина крикнула: — Подавай писаря!

Писарь вышел сам.

— Ты што кричишь-то, калашница? Не твое дело — пошла вон!

— Как! Меня вон?! Да я у самого губернатора была, лично с ним разговаривала, да он и тут не гнал меня. А ты што за фря такая?

— Говорю тебе, пошла вон! — закричал писарь.

— Ан и впрямь здесь кабак, только одного и недостает — бочки нет. Поглядите-ка, православные, старшина с писарем лыка не вяжут.

— Ребята, гоните ее! — крикнул разозлившийся писарь диким голосом. Но никто не трогался с места, все переглядывались друг с другом, улыбались и шептали: «На-кась! Эво как!» Человека три, впрочем, делали эти восклицания вслух.

— А на столе-то не кабак! Ну-ко, старшина, скажи мне, каков твой суд?

Старшина и писарь не хотели отвечать.

— А вот подожди, увидишь.

— За вицами Степанко ушел, — проговорили негромко в толпе.

— И впрямь стегать?!

— И тебя выстегаю! — сказал важно старшина.

— Руки коротки! Дурак ты, дурак! Вот и видно, што своего ума-разума нету... Ты спросил ли муженька-то ее, за что он ее искалечил? Глядел ли ты, пьяная рожа, что лицо-то у нее все искалечено?

При последних словах Опарина подвела к старшине обвиненную и сказала:

— Видишь?

— Так и надо! — проговорил старшина.

— Не твое дело! — сказал писарь.

— Ах ты, чуча ты эдакая! Не по моей ли милости женушка-то твоя вылечилась? — сказала писарю Опарина.

— Ну, дак што?

— Дурак, сидел бы уж, лопал водку-то! А вот, поди-ко, пиши паспорт Дарюхе.

— Э-э! Сорока-то што, а?.. Виц несите-ко, робята! — крикнул старшина.

— Это не меня ли уж, ваша милость? — передразнила старшину Опарина.

— Известно.

— Покорно бла-го-дарю! — Опарина низко поклонилась старшине, потом обратилась к писарю: — Ну-ко, скажи, умница: приказано баб стегать?

— Приказано.

— Кажи закон!

— С дурой и говорить нечего.

— А вот я хоть и дура, а доподлинно знаю, што бабы получили от самого царя избавленье от виц, и ты это должен знать!..

Народ громко захохотал разом.

— А вот попробуем, как не велено, — сказал, смеясь, писарь.

— На-кась, читай, да вслух! — крикнула Опарина писарю, подавая ему какую-то записку. Писарь начал было прятать записку в карман пальто, но народ загалдил:

— Читай, читай! Нече прятать-то... Вор!

— От отца Василья записка-то, — сказала Опарина.

— Читай!! — заревел народ и окружил писаря, старшину, обвиненную и Опарину.

— «Илья Петрович!» — начал писарь чтение и, пробежав письмо про себя, остановился.

— Читай!!

— Да ничего нет: отец Василий просит выпустить Яковлеву.

— Читай!!! — заревел народ пуще прежнего.

Писарь, видя, что ему отвертеться от чтения нет возможности, и не находя слов сочинить что-нибудь сию минуту, начал продолжать письмо:

— «Всем уже давно опубликован царский указ об избавлении женщин от телесного наказания, и потому, сожалея о тебе, прошу помнить это на всяком месте, потому что за нарушение этого закона, который должен быть известен писарю...» Забыл... кажется, нет... — соврал писарь.

— Читай! Читай! Нечево...

— «...ты будешь тяжело наказан. Священник Василий Феофилатов».

— Эвона, штука-то! Баб не велено стегать! А мы-то што? Чудно! — галдели крестьяне, расходясь по комнате. Все заговорили, разобрать ничего было нельзя. Старшина долго ничего не мог понять. Писарь толкнул его в бок.

— Спишь ты!

— Как же... А? Указ! А мы тово!..

Писарь увел старшину в третью комнату и стал что-то шептать ему, но старшина вдруг разразился ругательствами на писаря. Опарина, разговаривавшая с Яковлевым и ругавшая его на чем свет стоит за кражу лошади, вдруг вошла в присутствие, то есть в третью комнату.

— Ну, што ж вы народ-то маете? Отпускайте бабу-то.

— Да мы ужо... Где же этот закон-от? — ворчал старшина.

— Да што с вами толковать! На вот трехрублевую, пиши пачпорт Яковлевой на год во все города, — проговорила Опарина писарю.

Писарь призадумался.

— Три мало, пятитку — и пиши, Василь, — проговорил старшина.

— Бога бы ты побоялся! Откуда у Яковлевой-ту деньги взялись? Будет с вас и этих — пропьете, — сказала Опарина.

Крестьяне стали расходиться, недовольные старшиной и писарем и удивленные известием об отмене телесного наказания женщинам. Скоро комнаты опустели, только писарь писал паспорт крестьянской жене Яковлевой, а старшина, сидя рядом с Опариной, разговаривал с ней о поповском жеребце, подаренном недавно старостою священнику. Теперь между старшиной и Опариной не было несогласия. Я стоял около Опариной, потому что она рекомендовала меня старшине и писарю за своего хорошего знакомого, приехавшего к ней из города лечиться. Старшина сделался так любезен, что неотступно просил меня выпить водки и прийти к нему запросто откушать чего Бог послал. Писарь подал старшине паспорт для подписания; старшина кое-как подписал.

— И из-за чего ты, Степанида Онисимовна, хлопочешь-то? Ведь она не исправится, — сказал писарь.

— А постегать надо бы! Жалость!.. — проговорил со вздохом старшина.

— Ты говоришь: для чего? Да знаешь ли ты, мне от нее житья нет, то и дело ругается да баб наших мутит. По ее милости мало ли што говорят про меня?.. Ну, а как в город-то свезу, и лучше.

— Это истинно! — заключили старшина и писарь.

Опарина и я распрощались с начальством и вышли.

Яковлева сидела на крылечке и, как только увидала Опарину, бросилась ей в ноги.

— Прости ты меня, тетушка Онисимовна... прости-и! — причитала Яковлева.

— Ну, полно, дура. Говорила я тебе: не плюй в колодец, пригодится... Ставай, подем ко мне.

Яковлева не знала, что сказать, однако пошла за Опариной.

Дорогой я спросил Опарину: неужели у них всегда такой суд? Она сказала, что в волостном правлении еще и не то делается: старшина и писарь что захотят, то и делают.

— Ну да, — прибавила она, — и старшине достается. Это в волости-то ничего, терпят, а попадется пьяный на улице старшина или писарь, так отдубасят!.. Поубавят-таки веку — и поделом! Одново раза даже писаря выстегали, и жаловаться не посмел.

Назначила Опарина отправиться в Т. в субботу утром. Я тоже налаживался с ней, а Яковлеву Опарина отпустила к сестре до субботы. После обеда к Опариной приходила женщина с просьбой попросить батюшку окрестить младенца завтра, потому что послезавтра отец младенца, кум и кума уедут на покос.

— Я, — говорила женщина, — ходила к нему, да он обещался в воскресенье; да и нам без тебя, тетушка Опарина, нельзя крестить, потому ты принимала.

Вечером Опарина сходила к священнику и получила от него разрешение принести младенца завтра утром в церковь.

Я удивлялся тому, как Опарина везде успевает и все ее просьбы исполняются.

— Нечего и удивляться тут. Всякий может успеть, коли дело правое и рассудок имеет, — отвечала она мне и рассказала, как она раз одного крестьянина от рекрутчины избавила. Дело состояло в том, что у одного

старика был сын двадцати двух лет. Были дети у старика и кроме этого сына, но все померли. Сына поставили в очередь, о чем он даже и не знал. Объявили набор и потребовали сына в рекруты. Надо заметить, что старик был слепой, а жена его постоянно хворала, так что сыну приходилось одному прокармливать родителей. Ну, вот Опарина и подала просьбу губернатору, началось дело, освидетельствовали отца и освободили сына от рекрутства, а писаря и старшину предали суду.

В субботу мы, то есть тетушка Опарина, Яковлева и я, тронулись в путь, но нам пришлось идти, а не ехать, потому что Опарина нагрузила телегу капустой. Но идти все-таки было весело, потому что Опарина занимала нас смешными анекдотами из деревенской жизни, вроде того, как она вылечила одну бабу от глухоты тем, что поставила бабу под колокол и что при этом у церкви стояли почти все жители села и т. п. Вечером мы пришли в Т. и остановились у ее сестры Катерины.

Эта женщина была вполне торговка. Все ее манеры и слова изобличали в ней женщину, толкущуюся постоянно в публике и старающуюся различными способами приобрести себе хоть копейку барыша. У нее была лавочка на рынке, и торговала она разными вещами: посудой, лошадиной сбруей, смолой, дегтем, орехами, ягодами, пряниками, табаком и тому подобными вещами. Внутренняя обстановка квартиры сестры имела вид городской; сама она и муж ее, открывший недавно заведение «распивочно и навынос», приняли нас любезно. Яковлеву муж Катерины обещал посадить в питейное заведение.

В воскресенье Опарина стояла со своим возом на рынке. Нельзя сказать, чтобы капуста ее была самая лучшая, но покупатели были, и она не зазывала их к себе криком, не говорила, что ее капуста лучшего сор-

та, а только заламывала большую цену: за сотню вилков полтора целковых; ей давали восемь гривен, и она потом отдавала за рубль.

В полдень я навестил ее на рынке и отдал ей три рубля денег.

— И, што ты, сударь ты мой! За што это? Будет и рубь.

Я настаивал, чтобы она взяла все деньги, но она дала мне сдачи два рубля и сказала:

— Если считать по-божески, так дешевле рубля выйдет. Потому двои сутки нужно вычесть: раз ты хворал и не ел, другой — мы твои грибы ели. А што до другова, так я те скажу, моя сестра нахлебника держит за пять рублей в месяц.

Я не стал возражать и простился с ней...

НИКОЛА ЗНАМЕНСКИЙ

Рассказ доктора

...Прежде всего я должен сказать вам, господа, что Никола Знаменский, мой достоуважаемый родитель, вовсе не выдумка, но лицо действительное. Я знаю, что всякий из вас скажет, что этот рассказ небывальщина и в настоящее время пошлая вещь; но я вас предупреждаю: многие из вас таких людей, может быть, не видали, да и по одной наружности нельзя судить о человеке. Мне, изъездившему и прожившему в разных захолустьях разных северных губерний, приводилось видеть и после смерти моего отца людей покрасивее его. А надо вам заметить, мой отец умер, кажется... кажется, назад тому лет тридцать. Знаю я также, что многие из вас вовсе не бывали в наших северных губерниях и не имеют никакого понятия о тамошнем климате и жителях. Когда я, по окончании курса в семинарии, поступил в академию, то над моей походкой и произношением долго смеялись товарищи, удивляясь в то же время моему телосложению и силе. Да! Та ли еще была бы у меня сила, если бы я был Никола Знаменский... И самому мне, когда я вспомню прошлое, особливо сельскую жизнь, как будто не верится, а между тем такие люди были, и люди эти честные, добрые, но устроившиеся под влиянием забиенной среды. Когда я прежде, бывши мальчишкой, вспоминал отца, мне смешно казалось. Даже раз я за обедом вдруг захохотал, что удивило инспектора и за что я получил хорошую кашу из березы. Но теперь я думаю так, что отец нисколько не был виноват в том, что на наш взгляд был смешон; я был бы в тысячу раз виноватее его, если бы

последовал его примеру. Впрочем, обо мне начальство позаботилось.

Родитель мой, по бумагам благочинного, назывался «иерей Николай Сидоров Попов», а в деревнях, в Знаменском селе Березовского уезда Холодной губернии, назывался Никола Знаменский; так же как и дед мой, вероятно потому, что в селе нашем была Знаменская церковь. От этого при поступлении моем и брата моего Ивана в семинарию вышло недоразумение, потому что отец мой никак не хотел согласиться, что он Попов. Когда ему говорили: «Да ведь ты Попов?» — он говорил: «Знамо, поп, а парнишки што за попы? Эк, како слово сказано...» Так меня назвали Поповым, а брата Ивана — Знаменским. Он и на бумагах подписывался просто: поп Никола Знаменский, на что, впрочем, благочинным мало обращалось внимания.

Лицом, походкой, одеждой и словами мой родитель нисколько не отличался от крестьян Березовского уезда. Лицо у него было желтое, глаза большие, с большими рыжими бровями, которые росли в разные стороны и потому придавали лицу угрожающий вид; нос широкий, а когда он хохотал, то ноздри делались очень широки, оттопыриваясь кверху; борода и волосы на голове были пепельного цвета, большие, как у крестьян, и никогда не чесались. Отец мой не любил больших волос и всегда смеялся над теми, которые носили косички. «Черт не черт, чучело не чучело...» — говорил он и плевал в сторону. Роста он был среднего, но мужчина здоровенный; говорил басом, и его пьяного далеко было слышно. У него была только одна ряса из зеленого сукна, доставшаяся ему от тестя. Эту рясу он надевал только в Пасху, в Троицу, в Николин день, в Рождество да когда ездил в город к благочинному, а в остальное время она висела в чуланчике, где крысы порядочно

ее портили каждый год, и моей матери, забывавшей о ней в обыкновенное время, было немало хлопот законопатить ее, что она исправляла посредством холста или просто тряпок. Носил он лапти собственного изделия и крестьянскую шапку, сшитую из бараньей шкуры с шерстью, и эта шапка, ношенная им не один десяток лет, была очень тяжела от починивания и была ему очень дорога. Другого одеяния на ноги и на голову отец не имел. Зимой и летом он носил длинный полушубок, состоящий из телячьей, овечьей и козлиной шкур с шерстью, с тою разницею, что зимой шерсть была внутри, а летом снаружи. Этот полушубок был ужасно тяжел для нас, восьмилетних мальчуганов, и мы удивлялись, как это отец может носить такую тяжесть. Был у него и коричневый армяк, но он был отцу дороже рясы и надевался очень редко.

По этим описаниям вы можете представить фигуру моего отца. Но этого мало: отец никогда не снимал с себя портретов, никогда не рисовался, а постоянно хлопотал. Представляйте себе его сидящего в кабаке, в полушубке, опоясанном веревкой из лыка, с рукавицами или без рукавиц, в лаптях, с перевязанными до колен штанинами лычной бечевочкой, и рассуждающим с мужиками о разных разностях, а преимущественно о ловле зверей и птиц; или представляйте его отправляющимся с дьячком Сергунькой в лес в такой же одежде, только у отца на спине болтается мешок с хлебом, солью и ножиком, в правой руке чугунный лом, которым он подпирался как палкой, а за веревку, опоясывавшую полушубок, вдет топор с топорищем — это он идет бить медведей; или идет отец с Сергунькой, концы толстой палки у того и у другого на плечах, и на этой палке висит убитый медведь, лом затянут за веревку, топор заткнут за опояску дьячка Сергуньки; представляйте его, пожалуй, ругающимся с мужиками или зво-

нящим в колокола на соборной колокольне в губернском городе Холоде, вместе с дьячком Сергунькой... Но все-таки имейте в виду то, что он умер назад тому тридцать лет...

Уезд, в котором жил мой отец, один из самых бедных в Холодной губернии, каких уездов еще очень много в других губерниях, а народ и теперь еще там дикий. Хлеб от холода не растет. Поэтому крестьяне занимаются звериным промыслом и зверей продают в ближайшем городе Березове купцам, которые так ловко надувают простаков, что они всю жизнь не могут выйти из кабалы и долгов купцам. Например, крестьянин привозит к купцу лося, купец дает за лося четвертак или пуд ржаного хлеба и просит крестьянина привезти ему двух оленей. За это он дает крестьянину вперед еще пуд муки. Крестьянин три месяца гоняется за оленями и, привезши оленей или их шкуры, получает от купца выговор, что не исполнил поручения в срок; а так как крестьянину нужен хлеб, то он исполняет на купца за пуд муки какую-нибудь работу, например работает в кожевенном заводе. Или из-за хлеба крестьяне нанимаются рубить лес для березовского купца и этот лес весной сплавить по реке Бурой к такому-то месту. Купец подряжает знаменского старосту или состоятельного крестьянина так: за пятерик дров дает ему рубль, за десять бревен полтинник, а этот крестьянин подряжает крестьян уже на свой счет и дает половину. За сплав летом купец давал одному человеку восемь или пять рублей, если больше пятисот верст, а подрядчик половину. Но часто бывали несчастия такого рода, что от прибыли воды дрова и бревна уносило водой или разбивало плоты в бури, и тогда крестьяне становились рабочими подрядчика на всю жизнь, так же как и подрядчик купцу. Другие жители пробиваются тем, что продают в Березове кадки, мас-

ло, яйца, телят и т. п. — с большими убытками, потому что в город наезжает всегда в базарные дни много бедных крестьян, у которых горожане всегда покупают с бесстыдным выторговыванием.

В нашем Знаменском селе в то время, когда мне был восьмой год от роду, было двадцать домов, в которых жило двадцать пять мужчин, пятьдесят девять женщин и пятьдесят один человек молодого поколения. Мужчин сравнительно с женщинами было мало потому, что они жили в разных местах на заработках. Это население впоследствии постоянно убывало, и теперь, когда я был там в прошлом году, там состоит налицо только восемь домов с тридцатью человеками всяких возрастов. Причина этому та, что люди в голодные годы мешали в муку кору или ели одну кору, хворали и умирали, а иные разошлись на работы в другие места. Жители при мне были крещеные и некрещеные: к первым принадлежали православные государственные крестьяне, которых было только шесть семейств; а ко вторым — тептери и черемисы; из них было, впрочем, несколько и крещеных, но они все-таки по-своему молились своим богам; у них были свои обряды, свои понятия.

Само собою разумеется, отца нельзя назвать развитым человеком, потому что все его способности тратились на то, как бы ему угодить благочинному, убить медведя, настрелять глухарей, как бы достать больше хлеба и как бы лучше обругать дьячка Сергуньку или сделать так, чтобы Сергунька и все люди повыше его не ругали его. Раз он, хмельной, пьяному Сергуньке обрезал косу за то, что тот упрекнул его тем, что он в лесу с дороги сбился.

Отец мой, как я вам уже говорил раньше, был здоровенный мужчина. И было от чего! Возня с медведями, которых он любил больше всего на свете, подвиж-

ная жизнь придавала ему бодрости и силы: он никогда не хварывал, не жаловался на слабость зрения, пил пиво и брагу целыми жбанами, ел за трех, спал подолгу и так крепко, что его трудно было разбудить. Один раз он, хмельной, за что-то избил восемь черемисов, и все черемисы нашего прихода боялись «знаменского Микулы».

Отец его был дьячком в том же селе, обучавшийся чтению и письму дома и неизвестно каким образом сделавшийся дьячком и как справлявший службу. У этого дьячка, моего деда, которого, однако, мне не привелось видеть, было два сына: Николай, мой отец, и Семен — да еще дочь Матрена. Они кое-как выучились писать и читать по-церковному у священника, и на этом закончилось их образование. Когда умер мой дед, отца сделали на его место дьячком.

Вот что говорил об этом назначении Никола Знаменский своим приятелям:

— Сеньке в та поры, кажись, было двадцать первой али двадцать два года, а мне пошел десятнадцатый (то есть 20-й), не помню... Сорвиголова был этот парнишко! Ну, вот, теперича, как есть помню... Сидим мы за столом на поминках; поп Олексей и бает: а кто, бает, из вас теперича, робята, дьячком хочет сделаться?.. Ну, а нам, мне да брату, обоим хотелось дьячками быть, потому, сам знаешь, подати с дьячков не просят, жизнь легкая, а што насчет оранья — наше дело: заорем так-то ли што... Поп Олексей и бает: двоим негоже, одному нужно... Ну и велел ехать мне да брату в город, к самому благочинному, и грамотку обещал дать — это к благочинному, знаешь... Ну, поехали. Я да брат по лукошку яиц взяли, ругаться стали дорогой. Сенька бает: ты, бает, чупарый, тебя не сделают, а меня, бает, сделают, потому у меня, бает, в лукошке два ста десятнадцать два яйца, а у тебя только два ста...

Ну, пришли к благочинному, рыжий такой, просто разодет так, что и не бай! «Што?» — спрашивает это нас... Так и так, баю; а я нужды нет, што Сенька был сорвиголова, а я все-таки был не в пример бойчае его. «Вот те, баю, грамотки от нашего попа Олексея, дьячком велел тебе меня сделать. За это я тебе, батшко благочинный, лукошко яиц привез». Смешно ему што-то стало. А Сенька как взглянет на меня по-коровьи и скажет благочинному: «Врет Миколка. Я два ста десятнадцать два яйца привез, а он только два ста...» Ладно, бает благочинный. Ну, и заставил он нас читать — прочитали гоже; петь заставил, а я по-церковно-т немного смыслил... Благочинный и бает: ты, бает, петь не умеешь, а тоже в дьячки суешься. Ну да, бает, ладно: будь дьячком в селе, а ты, бает брату, останься в городе, я тебя в собор поставлю. Я, бает, отпишу к архирею и скажу, колды тебе приезжать постригаться... Ладно, думаю, и диво меня взяло: за што это волосы стричь? Не дам. Нашто из-за этого с попом Олексеем дома подрался маленько... Пошли мы с Сенькой в кабак, Сенька дразнится: што, бает, я в город, а ты в село... Ладно, баю, в городе медведев нет, а ты меня хоть зарежь, не пойду в город. Потом он стал калякать: я, бает, теперь старше тебя, начальство... За это слово я его больно хотел побить, да на радостях прощенье сотворил.

Город от нашего села был в пятидесяти верстах, и туда отец ездил часто с зверями, птицами и рыбой, которые он продавал одному купцу, или, проще, получал от купца муку, крупу, соль и порох с дробью. Дядя Семен, проживши в городе год, значительно пообтерся: носил суконный подрясник, сапоги, помахивал своей головой и косичками, за что отец стал называть его пучеглазым чертом. На другой год дядя женился на некрасивой причетниковской дочери и поселился в доме

тестя, который, кроме жены, имел еще трех дочерей, ужасно глупых женщин, которых мой отец не мог терпеть и называл кикиморами. Особенно он ненавидел их за то, что они называли его неучем, сельским дьячком; а со стороны он слышал, что они называют его колдуном, потому что он будто бы посадил им по киле; у них было по грыже под подбородком — местная болезнь, происходящая там и теперь от нечистоты и влияния климата.

Церковь в Знаменском селе была открыта при моем дедушке с целью обращения язычников в христианство. Первый священник был молодой, ученый настолько, насколько в то давнишнее время можно было ожидать от человека; но народ не понимал его слов и в церковь не ходил, и он, промаявшись в селе кое-как год, уехал в другое место. После него священником был отец Алексей, при котором мой отец сделался дьячком; он был старик и скоро умер, а на место его приехал отец Василий Здвиженский из Рязанской губернии, где он был дьяконом на причетническом окладе. Он думал, что в нашем краю жить хорошо, но ошибся.

Вот что рассказывал про него мой отец:

— Первым делом поп Василий остановился со своей женой и дочерью Настькой у меня и стал думать, как бы ему дом выстроить, да большой, в пять горниц... Ну, потом и бает мне: «Поди-ко завтра — кличь крестьян в церковь». «Зачем?» — баю. А по то, бает, нужно... А сам бает не по-нашему, а инако, смешно, подковыривает как-то... Ну, утром я и скликал всех. Пришли... Ладно. А поп обедню служит. Тожно вышел на амвон и бает што-то по бумажке. Поглядели на него мужики да бабы — и драло. Поп догадался. Вдругоредь велел мне двери запереть, да народу-то пришло помене, куды как мало, больше ребятенки... Вышел опять поп и стал по

бумажке сказывать, изгиляется, и голос другой... Уж как это он изгилялся — и рукам, и ногам, и головой... Ребятенки хохочут, а я им грожу; не способился; не одного за волосы отвозил. А кои постарше были, те пошли к дверям, а я не пущаю и баю: поп не велит пущать, ему кланяйтесь. Ну, да они меня боялись... Так поп ничего и не сделал. А с этих пор ни один мужик и ни одна баба не стали ходить в церковь. Только ребятенки и бегали помалости. Ну, поп-то был придурай тожно: пошто, бает, риза холщовая, надо серебряную — стал сбор с мужиков делать, а у тех и самих-то шиш. Надо, бает, старосту церковного — выбрали первого, што есть, во всем мире плута... Ну, мужики и не залюбили ево, прятаться стали от него. Ну, да он и не больно-то ласков был: брезговал мною. Ну, стал поп жаловаться благочинному, да ничего не взял: потому благочинного нужно поблагодарить, а у попа шиш; попу мужики ничего не дают... Вот мой поп и рассердись на благочинного, и поезжай в губерню к архирею, а тот на него осердился: стричь, бает, больно буду... С тех пор поп славный стал и мужикам полюбился, стал со мной в лес ходить на промыслы, и попивали мы с ним пиво и водку, как ни один мужик не пивал... А то, когда найдет на моего попа благой стих, позовет меня да старосту, и пойдем служить обедню: я часы кое-как прочитаю, он эктению скажет через два в третий, Евангелие прочитает, «иже херувимы» пропоем... Он придурай, што ли, был — не знаю: как я запою: «отложим попечение...», он и плачет, и плачет — што есть, жалко его... Я и баю: чево ты нюни-то распустил. Вылезай, баю... Ладно, што людев-то не было, окромя старосты, да и тот едва мизюкает[1]... А поп через три года, как в село приехал, половину-то обедни позабыл,

---

[1] Дремлет.

а книжки одново раза подлецы черемисы, со всеми иконами, ризой, поповской рясой, коя в алтаре висела, и сосудами, растащили, и виновных не нашли...

Захотелось отцу жениться на поповской дочери. В это время поп жил уже в своем домс.

— Красивая была эта Настька в та поры, — рассказывал отец. — Ну, да это што... А то мне любо, што не скалила так зубы, как городские девки; девка, одно слово, работящая. Ну, вот я и пристал к попу Василью: отдай, баю, Настьку за меня! Поп и бает: ты и пальчика, што есть, ее не стоишь. Врешь, баю. Без меня, баю, ты бы кору глодал да пальчики облизывал. А я тебя стрелять научил. Отдай Настьку, не то плохо будет. — Я, бает, за попа отдам. — Ну, а я в та поры баской был, и Настька сб мной ласкова была...

Жена священника скоро заметила, что ласки ее дочери зашли уже очень далеко, и это привело ее в отчаяние, а священника в ярость... Священник как-то был хмелен, обрезал дочери волосы, прибил и выгнал ее; дочь убежала к отцу, а у того в это время был уже свой дом, заключавший в себе одну избу.

— Пошел я к попу, — говорил отец, — топор для страха взял. Прихожу к нему, он жену за косы теребит. Вот я как крикну: видишь это! — и показал ему топор; у попа руки опустились и язык высунулся. А жена его выбежала на улку и кричит: «Ой, попа режут! Ой, попа режут!» А я тем временем схватил попа и кричу: коли Настьку за меня не отдашь, косички твои обрублю... Поп испугался и кричит: «Отдам! Отдам!» — «Врешь?» — баю. «Вот те Христос!» — бает. Ну, и начали же мы плясать с ним! Народ было собрался в избу, да мы его брагой угостили. А Настьку, как следует по божьему закону, я к отцу привел и на-

казал до свадьбы не обижать ее, а то, ей-Богу, мол, косу обрублю и попу и попадье.

Мой отец долго вспоминал про свою свадьбу.

— Уж так-то мы всем селом тешились — и не говори! В первый день восемь корчаг пива, да шесть корчаг браги, да полведра вина высосали... Всю посуду, какая у попа была, перебили... А уж што это сажей лицо ему мазали, и не говори!.. Пляски были — страсть! Уж нигде не было и не бывать такой свадьбе, какая была у Миколки Знаменского!..

Тетка Матрена вскоре после этой свадьбы вышла замуж за городского дьякона, а так как отец любил компанию, то он, сломав свою избу, пристроился к дому попа, так что из двух домов образовался, по внутреннему устройству, один дом, потому что из кухни попа были двери в избу отца.

Прошло три года после этого. У отца было уже два сына, Иван и я, Николай. После нас еще рождались дети, да умирали.

Отец очень хвалился крестинами:

— Уж я николды так не рявкал, как на Ванькиных крестинах! Уж я эту «верую» лучше всех откатал, а пел так баско, что опосля того и придумать не мог: на какой это я манер пел толды? На што жена нездорова была, и та хихикала от радости и баяла: экой ты у меня петушок... А как у меня другой сын родился, поп и я хмельные больно были. Поп и дает ему свое имя... — Нет, баю, поп, давай мое! — Нет, бает, не хочу. — А ты, баю, своего парня наживай и давай ему свое имя, а этова парнишку я сам назову... Так поп ничего и не сделал со мной. Сперва было учнул сказывать: крещается раб божий Василий, да я крикнул: не Васька, а Колька! Колька в отца пойдет. Ну, значит, Колька у меня и сделался. После было хотел я это

имя дать Ваньке, а Ванькино Кольке, да поп метрики услал к благочинному.

Вскоре после моих крестин умер и знаменский священник: он объелся грибов. Отец сильно запечалился, как он говорил. Он жил дружно с священником, и священник в ссорах всегда уступал отцу. Привез отец из города благочинного, который в наше село никогда дотоле не заглядывал. Подивился благочинный тому, что в селе церковь деревянная, похожая на часовню, нет колокола, образов всего только восемь, риза одна холщовая. Стал благочинный служить обедню с соборным городским дьяконом: на клиросе пели мой отец и дядя, только дядя службу знал хорошо и больше заставлял отца молчать, что отцу очень не нравилось. Церковь была полна народу, сошедшегося больше из любопытства. После похорон, за обедом, отец стал просить благочинного сделать его попом.

— Да ты, что есть, и часы читать не умеешь, — сказал благочинный.

— Умею... А уж я тебе как много буду благодарен. — И поклонился отец в ноги благочинному; а это нравилось благочинному.

— Ну, приезжай в город; брат поучит тебя.

— Брат! Да я ему все волосы выдергаю... Штоб ему меня учить! — горячился отец. Дядя стал подсмеиваться над отцом, а когда теща отца дала благочинному тридцать рублей на ассигнации и благочинный сказал отцу: ты будь в надежде — все сделаю, — то дядя сказал благочинному: вы неправильно это, не по закону...

— Што? — спросил сердито благочинный.

— Это место по закону мне следовает.

— Ишь, какой забияка! Так вот те приказ: быть у брата в дьячках.

— Упаси меня мать пресвята богородица, штобы я

с таким лешаком да в одном селе стал жить! — закричал отец.

Когда благочинный лег спать, то дядя подошел к отцу и, сказав ему: подлец! — вдруг ударил его по лицу. Это отца привело в ярость, но он сдержался и вытолкал дядю на улицу, сказав: хоть хуже тебя буду, а знаться с тобой не хочу после этой оказии.

С той поры отец не мог без злобы говорить о брате, и между братьями была во всю жизнь такая вражда, что когда отец в городе попадался навстречу брату, тот плевал чуть не в лицо отцу и обходил его стороной, а отец пугал его кулаками. Семейства отца и дяди не кланялись друг другу и всегда со злобой рассуждали друг про друга. Тетку Матрену тоже довели до того, что она перестала ходить к дяде, а соборный дьякон, муж тетки, так давил его, что он принужден был переехать в горный завод, где он женился и умер на сорок пятом году дьяконом.

Месяца через два после смерти знаменского священника потребовали отца в город Подгорск, отстоящий от Березова в ста верстах. Благочинный сказал отцу, что его требует архиерей на посвящение его в священники. Отец очень обрадовался этому, поклонился в ноги благочинному и два дня брал уроки у мужа тетки, но запомнил очень немного. Он никогда не видел архиерея, и его ужасно пугало то, как он предстанет перед такое лицо. Съездил он в село за рясой, забрал все деньги, какие у него были, взял с собой лукошко яиц, кадушку с топленым маслом и поехал в Подгорск, о котором он знал по слухам.

Воротился он домой через месяц и вот что рассказывал нам и чем хвастался всю жизнь:

— Из Березова в Подгорск поехали со мной один кутейник, востроглазый такой парень, да еще какой-то

поп. Смеются они надо мной, зачем на мне армяк надет, шапка мужицкая и лапти... Ну, да я их пугнул. Всю дорогу они пугали меня архиреем, а у меня у самово все нутро всю дорогу ворочало так больно, так больно... Потом, как приехали в этот Подгорск, я диву дался: город больше Березова, а церквей сколько!.. А я допрежь думал, только на свете и есть один город Березов... Кутейник позвал меня к себе, ну, я и поехал, а у него в горнице пятеро кутейников было да один дьякон какой-то. Тут я с ними баско назюзился, потому они мне понравились и вино у них лучше березовского. А утром меня растолкали: архирей приехал; иди, покажись ему... Баяли, как он приехал ночью, во все колокола звонили. Ну, просто душа в пятки ушла! Стал запрягать лошадь — так не велят. Взял кадушку масла да лукошко яиц — забранили: он те, бают, даст за это... Однако я-таки понес, а он жил у тамошнего благочинного. Ну, просто душа в пятки ушла! Полезаю в избу: — А где, баю, владыко?.. — А меня уж научили, как архирея называть, только я первое-то слово не мог выговорить. Ну, там спросы пошли, хохотали сколь надо мной. — Поди, бают, к набольшему дьякону. — И дорогу показали. Я пошел... Сердитый такой, хайло у него побольше моево... — Што, бает, тебе? — Я, баю, Никола Знаменский. — Кто? — спрашивает. Кое-как растолковались... — Отчево, бает, ты без рясы? — Я баю: — А пошто ряса? — Он как закричит; я ему хотел было дать масла — так не берет: — Мы, бает, эту дрянь не берем, нам, бает, девать ее некуда. Давай деньги. — Ну, дал я ему десять рублев — и спасибо не сказал. — Ну, бает, я иду к самому владыке, айда со мной... Мурашки забегали, просто беда! И я кое-как опамятовался, как очутился в хорошей горнице. Вот горница! И нигде такой я отроду не видывал, а этих дьячков да попов — и! беда!! А большой дьякон даже и не поклонился им,

так и ушел в другую горницу. Вот забился я в уголок, боязнь маленько прошла... Дьячки и попы шепчутся, крякают, бумажки читают, деньги считают, а какие-то баские парнишки то и дело бегают по горнице; какие-то кутейники, высокие и невысокие, руки в боки, глаза в потолки, ходят и покеркивают... Ничего я такого отроду не видывал. Уж дивился я, дивился, об архирее позабыл — больно уж баско стоять-то было. Только вдруг выходит из дверей небольшой дьякон и как гаркнет — куда те медведь какой: — Николай Попов! — Я вздрогнул. Поглядел на него; а он опять: — Иди сюда... — Ну, я просто убежать хотел. Уж не помню, как я очутился в пребаской комнате: пол это, знаешь, светлый, как лед, а стены — и сказать не умею... Только вдруг выходит откуда-то монах с большим дьяконом и спрашивает: — Который? — Этот, — указывает на меня большой дьякон и машет мне рукой, а я трясусь, тронуться с места не смею, а он машет... А владыко идет ко мне, я и бух в ноги ему... — Встань, — говорит мне владыко, а я стукаюсь лбом об пол, а он бает: — Встань... — Нечего делать, боязно, а встал, он меня перекрестил... — Умеешь служить? — спросил он меня... Все, баю, умею, а сам промеж себя думаю: не спрашивай ты меня, ради Христа. Господи Иисусе, спаси-помилуй; большому дьякону все деньги отдал... А он глядит на меня, большой дьякон мне глазами мигает, а я ни жив ни мертв. Уж я, кажись, сколько медведей видел, а никогда так не было боязно, как тут. — Сколько у вас в селе прихожан? — спрашивает владыко; я плохо понял и сбаял: — Чево? — Владыко рассмеялся, а мне легче стало, я уж бойчае стал. — Кто у вас прихожане? — У нас-то? — Да. — А всяки... кто их знает... — Потом он говорит большому дьякону: — Знает ли он службу? — Знает, — сказал тот и назвал его первенством. — Приготовь его... А ты завтра будешь посвя-

щен в дьяконы... — Я и баю: — А што ж благочинный баял: в попы? — А большой дьякон и глазами, и ртом, и всяко изгиляется, так что мне смешно стало. Владыко и бает: — Што с тобой? — Да вон, батюшко-владыко, большой дьякон уж больно смешно глазами да ртом изгиляется. — Поглядел на большого дьякона владыко сердито и сказал: — Завтра ты будешь дьякон, а послезавтра поп... — Я ему опять в ноги... А как вышел отголь, совсем ровно другой стал: весело не весело, а так уж што-то особенное, што и сказать не умею. А эти дьячки и попы, как вороны, стали лезти ко мне: што, бают, ничего?.. Што сказал? А кои напросились вина выпить.

Уж больно я был весел, так што и об масле да яйцах позабыл. Только у квартиры и вспомнил об них: видно, большой дьякон взял.

А в этот день меня славно напоили. Утром опять пинками разбудили. Пошел в церковь, народу тьма-тьмущая. У двери стоят архаровцы[1] с большущими ножами[2] и то и дело толкают народ да бьют их кулаками. Меня тоже один ударил, да я его так треснул, што он будет помнить Николу Знаменского. Спасибо, попы заступились и втащили меня в церковь. Попы, знаешь ты, бегают, дьячки и дьяконы тоже, а на них кричит большой дьякон. На клиросах это молодые парни — эконькие и экие — стоят, эконькие мальчуганы в ризках. Диво! Ну, надели на меня ризку (стихарь) и поставили в угол... Просто страсть... Вдруг попы и дьякона похватали, кто чево мог, и побежали вон из алтаря, и я за ними, только ничего в руки не взял... Меня было один дьякон чуть не ударил за то, што я его больно толкнул, а другой велел мне смирно стоять в алтаре... Да я думал: это он брезгует мной... Не ус-

[1] Казаки.
[2] Саблями. (Пояснение автора.)

пел я опомниться, как вдруг запели... Ах, как баско! Я и рот разинул, только гляжу это на клирос, меня и тянет за рукав дьячок, а владыко уж посреди церкви стоит, одевают его... И риз-то этих сколь... А я стал в алтаре в угол к дверям и гляжу это в щелку, как одевают, а большой дьякон с другим дьяконом кадят. И диво же мне все, и понять не могу, што певчие поют, а пели так баско, так баско... (и отец при этом крякал). И никак я ее не мог понять вот какого пенья: пошто там пели: с полатей на полати — и много раз, да так баско, особливо как эти ребятки в ризках... (и отец опять крякал, как бы желая дать понятие о пении исполатчиков).

Вот молодые дьякона, што архирея одевали, повели меня, грешного человека, на середину церкви, да сперва один, потом другой, и давай толкать меня в шею. Я смотрю на них и дивлюсь, а они зовут меня в алтарь. Ну, как я пойду, колы в большие двери попы ходят? А большой дьякон стоит в больших дверях и машет меня. Ну, перекрестился и пошел... Не огляделся я, как большой дьякон подвел меня к архирею, а он сидит... Ничего потом не помню, окромя того: как вдруг большой дьякон рявкнет: ахти, вошь! Ну, я, брат, больно испугался... А штучки-то эти у меня-таки водились. Помню еще, што волоса мне стригли; ну, да это куда ни шло.

После обедни владыко бранил-бранил меня и все-таки обещал завтра попом сделать, а от большого дьякона просто покою не было... На другой день меня с дьяконами поставили, ектению заставляли сказывать... Спасибо, дьякон, што рядом со мной стоял, сказал, да и певчие скоро пели... Не легко, братец ты мой, попом сделался... Владыко опять бранил меня и большого дьякона, зачем он не выучил меня, а певчие толковали, што-де потому меня большой дьякон не выучил, што

я мало дал ему денег... Мало? Десять-то рублев, да кадушку масла, да лукошко яиц?.. Певчие да дьякона эти разные всё просили у меня денег — да где я их возьму?

После этого меня две недели учили, да плохо я понимал. Маялись-маялись и послали домой.

Нас, ребят, не видавших никогда архиерея, очень занимал и удивлял этот рассказ.

Из Подгорска отец привез в Знаменское село дьячка Сергуньку, который служил тоже в каком-то селе этого уезда и который архиерея тоже видел в первый раз. Ему давали стихарь, и так как отец жил с ним на одной квартире, то они сошлись, а так как Сергунька был холостой человек, то отец сманил его к себе. «Мы вместе в лес будем ходить», — говорил отец Сергуньке, любившему стрелять птиц.

Свою обязанность отец знал плохо, а по книжке читал еще того хуже; дьячок хотя и знал свое дело, но ленился, и если когда служил с отцом, то кричал: не так! Но отец его не слушал.

С самого начала отец объявил крестьянам, что он поп, и просил их идти в церковь. Крестьянам хотелось посмотреть, что будет делать в церкви Николай Знаменский, которого они любили и нанесли ему всякой всячины понемногу: кто морошки, кто соленых груздей, кто яиц и т. д. Каждый, принесший что-нибудь отцу, спрашивал:

— Так идти?

— Как хошь. А я петь стану. Баско спою, как у набольшого попа поют. — И он рассказывал архиерейскую службу, насколько понял.

Церковь была полна, отец читал громко, пропуская

то, чего не мог разобрать. Когда он кланялся народу или кадил, то кто-нибудь кричал:

— А мне што не кланяшься?

— Погоди, и тебе будет. Не всяко лыко в строку, — отвечал отец.

На другое воскресенье в церковь пришло человек пять, а третье и четвертое воскресенье отец пробыл в лесу.

К нашей церкви было причислено пять деревень, и ни отец, ни дьячок не получали никакого жалованья, поэтому приходилось жить приношениями; но приношения делались только в таком случае, если отец гнал народ в церковь или приезжал к крестьянам с крестом и святой водой да придирался к тому, зачем язычники обряды по-своему справляют. Впрочем, отец служил только в большие праздники, которые чтил сам.

Он ужасно не любил черемисов за то, что они воруют, и потому сильно налегал на них, требуя, чтобы они молились и справляли обряды по-христиански, и делал с ними штуки такого рода.

Приходит он один раз к черемису и спрашивает:

— Где образ?

— А тебе што?

— А ты крещеный?

— Крещеный.

— Ах ты ватаракша! Куда ты образ дел? Сейчас позову старосту... В острог он тебя свезет.

А отец и сам не знал, что такое острог. Он только слыхал, что острог — нехорошая штука.

Черемис видит, что одному ему с отцом не справиться, достает из-под лавки образ и нехотя весит его в угол.

— Ну, молись!

Черемис не молится.

— Вот так молись, — перекрестился отец и поклонился.

Черемис улыбается.

— А! Ты так? пойдем к старосте!.. Тебе святой лик калечить? За что ты глаза-то ему скулупал? Айда! — И отец тащит черемиса.

Черемис боится старосты, который отдует его и заставит работать на себя. Обещался он отцу молиться и поросенка дал.

На другой день отец условился с дьячком, чтобы тот стал у угла дома на улице и отвечал на его слова. Барыши они условились делить поровну и пошли вечерком.

Стал дьячок неприметно у угла избы, а отец входит в избу и видит: черемис весит образ в угол.

— А, обманывать?! Ты думаешь, я не знаю, что ты снимаешь образ? — кричит отец.

— Упал.

— Врешь, собака! А вот я спрошу образ...

Черемис улыбается.

— Што, смешно? Ты не веришь, што он бает?

Черемис хохочет.

— Так вот же те сказ: коли образ баять будет, я всех твоих чучел спалю, а ты должон всю жизнь молиться ему.

Черемис хохочет.

Отец ударил черемиса по лицу и сказал:

— Так ты, образина ты эдакая, над святым ликом хохотать?.. Никола дождики дает, Никола здоровье дает, Никола хлеб дает, Никола тебя сичас громом убьет...

— Не убьет.

А дьячок между тем провертел в углу в пазах дыру, как раз около иконы, и кричит: «Убью!!!»

Черемис испугался.

— Што? — сказал сердито отец и кричит: — Скажи, батшко Микола-угодник, пошто он тебя снял?

— Своим богам молится, нашу веру не любит. Скажи ему, что я ему большую болезнь пошлю, коли он своих богов не сожгет сичас.

— Слышишь?

Черемис в землю, стал молиться и шепчет: не жги моя бога; моя бога лучше твоя бога...

— Только ты скажи одно слово, раздавлю тебя. Никола, поберегись... — кричит дьячок.

— Ай-ай! — закричал черемис и побежал за чучелами. Когда он приносил чучел, то отец топтал их ногами, так как они были глиняные. Потом черемис дал моему отцу двух свиней.

После этого чуда бедный черемис долго глядел на икону, осмотрел ее со всех сторон, лепетал что-то по-своему и повесил опять на стенку; потом он стал молиться и спрашивать икону, даже кричал, да икона не давала ответа. Пошел черемис с жалобой к отцу, что образ говорить не хочет; отец взял с собой дьячка, и образ опять заговорил. После этого черемис не снимал образа и даже стал ходить в церковь, думая, что поп Микола с образами разговаривает; его примеру последовало несколько черемисов.

В Пасху, в Рождество, в Троицу и в свои именины отец ездил в деревни славить, за что ему давали кто птиц, кто ягод, кто просто поил пивом и брагой. За требы крестьяне тоже платили яйцами, ягодами или давали то, что не могли сбыть в городе.

С крестьянами мой отец жил дружно: барства в нем никакого не было, и за простоту все любили его, да и понятия его нисколько не разнились от крестьянских понятий. Он, так же как и крестьяне, говорил, что на другом конце живут люди с рогами, что в луне си-

дят Каин и Авель, и он ни за что бы не поверил, а обругал бы того, кто стал бы доказывать ему, что земля шар и т. п. Больше всего крестьяне любили отца за то, что он выручал их тогда, когда с них требовали подати.

— Батшко Микула... Подать надо, — говорит крестьянин чуть не плача.

— Поди продай коровенку, — советует отец.

— Кому продать-то? Город-то далеко, а староста больше рубля не даст.

— Ладно ужо.

Пойдет отец к сельскому старосте, занимавшемуся бойней животных, выделыванием кожи и имевшему большую лавку в городе. Отец ему всегда продавал крестьянских животных выгодно для крестьян: если бы староста брал корову от крестьянина, то дал бы рубль, а отцу давал пять и шесть рублей, и эти деньги отец вносил сам за крестьян за подати и другие повинности, избавляя их от хлопот и от излишних трат: отец писарю ни копейки не давал, а поил пивом или водкой до бесчувствия.

Или бывало так: придет к отцу крестьянин или черемис.

— Што, братан? — спросит отец.

— Беда бульша: хозейко подох. Лапша подох; ись... кору глодал, брюха бульна...

Даст ему отец муки с полпуда и схоронит покойников даром.

Отец часто путался насчет постов и праздников, о чем он постоянно справлялся в городе у тетки Матрены, которую очень любил.

— А што, сестра, тожно што: пост али молост?

Та смеется и спрашивает:

— Мясопуст или мясоястие тебе?

— Все одно: пост али молост?

— Теперь молостные дни-то.

— Экой я дурак! Я ведь, сестра, капусту ем да редьку хлебаю.

— Через три недели масленка будет. Приезжай ужо.

Или спрашивает:

— А Петро-Павла скоро?

— Еще неделя.

— А теперь што?

— Пост.

— А я уж отгулял Петро-Павла.

— Ах ты греховодник!.. Поди к благочинному, покайся.

Пойдет отец к благочинному и даст ему лукошко яиц.

Он знал, что бывает именинник весной, но которого числа — не помнил. Дьячок, находясь с ним по месяцу на охоте, тоже путался в днях, староста грамоте не знал и с Рождества до Ильина дня жил в других местах, писарю отец не доверял. У отца выходило так: стаял снег, появилась трава — это значит Вознесенье, а тут скоро и Никола, а за Николой и Троица. Спрашивать он не любил, а его спрашивали крестьяне.

— А што, Микола скоро? — спрашивают крестьяне.

— Как снег стает да первый дождь будет, тут, значит, и Микола.

— А скоро?

— Да видишь ты, все снег. С гор-то снег стаял, а у нас нет.

А если на другой день пойдет утром дождь, он, не справившись в городе, служит обедню.

Впрочем, если бывал в селе староста, он у старосты справлялся, но староста был раскольник, и ему отец мало доверял.

Метрики вел волостной писарь, так как они отсыла-

лись благочинному два раза в год. Получивши от благочинного новые книги, отец нес их писарю.

— Гляди! Баско как.

— Што, опять? — говорил писарь.

— Опять. Ты возьми и пиши тут.

— Да я почем знаю!

Так как писарь в книги ничего не вносил без указаний отца, то за месяц перед тем, как ехать к благочинному, он брал с собой дьячка и писаря с книгами и вписывал в них, что нужно было, в домах обывателей, причем, конечно, обыватели даром не отделывались, и барыши делились на писаря, отца и дьячка, который, впрочем, все отдавал отцу. Благочинный очень много брал за метрики, так что отец ворочался иногда из города без копейки и без хлеба.

Дьячок Сергунька жил в нашем доме, в той избе, в которой жил отец до посвящения в священники. Он был пьяница, буян, драчун и при всем этом трус, глуп и бессилен, но человек зато честный. За это и за то, что он помогал отцу, отец любил его; без него не ел и не пил водки, пива или браги, тогда, когда Сергунька был налицо. Сергунька даже и в город постоянно ездил с отцом. Если у обоих были деньги или много пива или браги, то они сзывали обывателей к себе в дом и поили их на славу; с своей стороны, и обыватели по мере средств своих угощали их.

Отец даже обещался Сергуньку сделать попом вместо себя и просил об этом благочинного, но тот говорил: — Посмотрим. Да и к тому же ты еще не умер... А впрочем, — прибавлял он, — нынче едва ли твоего дьячка посвятят в священники, потому что ныне на эти места определяют ученых.

Мать у меня была смирная, забитая, простая женщина. С крестьянами она траву косила, ходила к ним,

и те ходили к ней вечеровать. Соберется эдак женщин шесть, сидят около зажженной лучины, прядут кудель, что-нибудь говорят или песни поют. Мать в детстве хорошо читала; вычитала она много о житии святых и эти жития рассказывала женщинам. Теперь же она ничего не читала, потому что нечего было читать.

Случается у кого-нибудь беда, идет к ней женщина и воет:

— Васильевна!.. сам помират... ох!.. ох!..

Погорюет с ней мать и запечалится.

— Эко дело, Сидорыча-то нет... А то ужо возьми ключ-то от церкви да свези его туда.

— Боязно тожно будет.

— Без этого нельзя. Начальство узнает — две беды вам будет, и Сидорычу беда будет.

— Нет, уж мы как-нибудь.

— А не то, свезите на кладбище, поп после отпоет.

— Матушка ты моя! — скажет женщина и поклонится матери в ноги.

Она давала крестьянкам муки, хлеба, семян для огородных овощей, а главное — лечила их травами и деревянным маслом. Иногда больные выздоравливали.

Отец часто колачивал мать ни зá что ни прó что. Бывало, дерутся отец и дьячок. Так и кажется, что который-нибудь из них зашибет другого. Подойдет мать и слезно упрашивает их перестать — поколотят и ее.

Так, когда отец был дома, она постоянно ходила в синяках. Плакала моя бедная мать много и только крестьянкам высказывала свое горе, но и у них нелегко было на душе...

Трезвый отец ее не бил, а при гостях или в гостях, наливая ей рюмку водки, говорил весело:

— Ну-ко, Настька, цып-цып!

— Убирайся ты, пьяница! — говорила мать.

— Ну, пей, молодуха; не то под порог брошу!

— Убирайся ты, олень большорогой!

— Ой ты, курочка-мохноножка!

Мать выпивает рюмку, кашляет, отец подходит к ней и любезно колотит ее в спину, приговаривая:

— Подавилась попадья, подавилась, а мы укладываем.

Это забавляло гостей, они говорили: «Какой совет у попа с попадьей!» Несмотря на жестокое обращение отца с матерью, мать, кажется, любила отца. Это я заключаю из того, что, бывало, когда нет дома отца недели две, она вся измучится: долго сидит по вечерам, долго не спит и охает: «Где же это Сидорыч? Уж не заели ли его медведи? Ведь не говорила ли я: не ходи, не ходи; скоро сорокового убьешь: на сорок первом несдобровать... А то вон в какую грозу ушел пьяный. И Сергуньки-то нет ведь». И чуть только заслышит она песню или голос, ей думается: это Сидорыч... И она будит нас. Но отец часто приходил после этого недели через две.

Дьячка Сергуньку она не любила: она говорила, что он расстраивал отца и отец до его приезда был ласковее с ней.

На девятом году мать стала учить меня и брата грамоте, как умела. Я быстро понимал, но с братом она долго возилась. Дьячок учил нас петь, но в пении я был плох, и когда я пел неладно, он, теребя мое ухо, говорил: учись, учись, попом будешь.

— Нет, уж я не буду. Пусть он будет, — говорил я, указывая на брата, и злился почему-то на дьячка.

Наступил мне десятый год. Летосчисление мое считалось с именин, потому что ни отец, ни мать не помнили, которого числа я родился. Время было летнее, жаркое. Я играл с ребятами на улице, а отец ходил по

грибы. Приходит домой отец с грибами, а дьячок хлебает уху из карасей.

— Гляди-ко, Сергунька, грибы-то! Не в пример лучше твоих толстопузиков.

— Не хвастайся — поганых принес.

— Ох ты, пучеглазый!

Дьячок соскочил с лавки, швырнул на пол наберуху, грибы рассыпались по полу. Он хохотал и скакал на грибах. Это до того разозлило отца, что он долго таскал дьячка за волосы и за бороду. Однако через полчаса отец смирился; мать принесла ему жбан пива, и он, отпив половину, стал хлебать уху, и по мере того, как его разбирало пиво, он начинал ворчать все более и более, говоря, что он еще в первый раз получил такую непростительную обиду, потому что грибы были его любимое кушанье. После обеда отец и дьячок были уже порядочно хмельны и перекорялись друг с другом; мать мотала на клубок шерстяные нитки, а я держал перед ней моток.

— Уж молчал бы! Хорош поп, читать не умеет, — кричал дьячок.

— Поговори ты еще, собака! Кабы я службы не знал, не сделали бы попом.

— Ох ты! Да тебя вовсе не посвящали; тебе мерещилось, а ты и взаправду... Тебя расстригали.

— Ах, будь ты проклят... Собака, как есть, собака! Коли ты хороший человек, зачем ты у меня в услужении находишься? Чуча! Уж над тобой не споют с полатей на полати!

— Ну, как ты не дурак, коли сполать называешь полатями.

— Врешь! Все хорошие люди бают: коли человек заслуживает, ему большое повышенье дают... Вот меня, значит, и повысили: прямо из мужиков попом сделали. А тебя не сделают...

— Да ты што больно-то расхвастался! Сколько живу, ты всего-то два медведя убил!

— Сорок три убил!

— Два, а те я...

— Ты? Да ты, што есть, хоть бы в ляжку попал. А вот я так ломом прямо по башке.

— Два!!

— А ты и вот ни на эстолько.

— Два!!!

Отец вцепился в дьячка, дьячок не уступал. Вступилась мать, но ее не слушали. Я держался за мать. В это время вошел в избу городской дьячок, которого я никогда не видал.

— Здорово. Што вы это, ребятушки?

Отец выпустил дьячка; оба они запыхались и с удивлением смотрели на дьячка в подряснике, сапогах и шляпе.

— Который из вас священник Попов?

— Я, — сказал отец.

— Нет, я! — сказал дьячок.

Отец выругал Сергуньку и спросил:

— А што?

— Благочинный приехал.

Отец струсил, а Сергунька захохотал.

— Што? Он те задаст!! Он те зада-аст!!!

Отец посмотрел на Сергуньку сердито и спросил приезжего дьячка весело:

— Батшко Олексей?

— О! Отец Алексей перед Петровым днем умер...

Отец вздохнул, перекрестился и, удивляясь, спросил:

— Кто же то, коли умер?..

— А у нас теперь благочинный новый, молодой, щеголь такой, сердитый...

— Вре?!

— Да он там, у твоего дома, в повозке сидит.

— Настька, добудь-ко балахон-то! — сказал отец матери.

— Да скорей, — торопил приезжий дьячок отца.

— А ты погоди ужо, я скоро, а ты бы его звал в горницу... Настька, волоки жбан пива... Эко дело, вино-то все выпили... Это все подлец Сергунька слопал.

— Ах, беда!.. Нажил ты, поп, беды... Гляди, благочинный-то в шапочке вышел из короба-то, — говорила мать, глядя боязливо в окно.

Дьячок отворил немного окно и дивился.

— Гляди, поп какой молодой.

— Да не кричи, болван! — горячился отец, суетясь.

Отец, надевая рясу, тоже глядел с нами. Он уверился в том, что это благочинный, потому что он всех священников в камилавках и скуфьях, которые он называл шапочками, считал за благочинных... Все мы, глядя боязливо в окно, удивлялись: благочинный был молодой человек, здоровый, краснолицый и, как видно, очень важный господин: мать говорила, что он важнее станового пристава, дьячок — важнее старого благочинного... Приезд его привлек на улицу много обывателей разных возрастов, которые стояли против повозки у домов, удивляясь и боясь подойти ближе.

— Эй, православные! — сказал он вдруг обывателям.

Половина из них вошли во двор, бабы глядели друг на дружку, дети глядели на него с разинутыми ртами и держались за баб.

Отец, помолившись Богу, пошел на улицу с приезжим дьячком. Сергунька, мать и я с братом глядели из окна.

Отец подошел к благочинному, низко поклонился ему и подошел под благословение. Благочинный важно запахнулся и сказал:

— Ты, што ли, священник Николай Попов?

— Тошно так, батшко: я Микола Знаменский.

— Што?

Отец стоял смиренно.

— Я слышал, што ты сегодня обедню не служил.

— Я-то?.. А пошто ее служить-то? Разе праздник какой?

— А ты разве не знаешь этого?

— А поцем мне знать-то... Вон я вцера из лесу пришел с Сергунькой. Медведев-то ноне маловато, а рябков да глухарей — это благодать.

— Ты стреляешь? Разве дозволено священнику проливать кровь?

— Эко слово сказал! Да я всегды этим занимаюсь, потому кору бы глодал. Зачем! А ты, батшко благочинный, залезай в избу-то, я те пивком попотшую да глухарей дам.

— Предоставляю это вон ему, а мы отправимся в церковь, — сказал гордо благочинный, указывая на приехавшего с ним дьячка.

— Пошто?

Дьячок Сергунька, услыхав это, схватил ключ, лежавший на божнице перед иконами, и, не говоря ни слова, выбежал из избы на улицу и, не поклонившись благочинному, побежал к церкви.

— Куда ты, шароглазый? — крикнул ему отец.

— Обедню служить, — прокричал дьячок, не останавливаясь.

— Сергунька?! Да разе топерь служат обедни, свинья ты этакая! — кричал отец горячась и сказал благочинному: — А ты, батшко, не спесивься: вот Христос, пиво у меня всем пивам пиво. Пей не хочу, да и с дорожки-то ушки бы похлебал. Сергунька славных карасей наловил.

— Кто этот Сергунька?

— А дьячок. Бестия такая, што беда, а ни на кого

не променяю; нужды нет, што он поперек в горле сидит. Подем... А?

Благочинный, как я заметил, хотел есть, но ему не хотелось согласиться на приглашение отца. Дьячок, приехавший с ним и без стеснения ходивший около него, ругавший лошадей неприличными словами, укладывавший вещи в повозке, насвистывая, с достоинством глядя на народ, собравшийся изо всех домов, и желавший посмеяться над отцом вслух и тем показать нам, что он в хороших отношениях с благочинным, залихватски спросил благочинного:

— Ваше высокоблагословение, прикажите лошадей распречь?

— Не твое дело! Я скажу, — сказал благочинный, сердито взглянув на дьячка, желая этим доказать дьячку, как он ничтожен. Дьячок присмирел.

— Пожалуй, — сказал благочинный и, к великой радости отца и ужасу матери и нас, вошел в избу. Мать подвела нас под его благословение. Отец ввел благочинного в горницу, засуетился.

— Ты не хлопочи, — сказал благочинный и потом, затыкая нос, прибавил: — Как здесь душно, грязно...

— А што, батшко!.. Прежние благочинные никогда не ездили сюда, а ты и грамотки, што есть, не послал. Уж я бы припас про те много. А то што: уха!

Отец и мать суетились до того, что позабывали, что им нужно. Отец был в восторге, что он угощает самого благочинного, а мать сердилась на отца, упрекая его тем, что он не позаботился раньше об угощении и вылакал с дьячком все пиво и брагу.

Уха благочинному не понравилась; пива оказалось немного; он расспрашивал о прихожанах, зевал. По-видимому, он был голоден, дожидался хороших кушаний, но отец угощал его пивом, которое мать достала от старосты. Большого труда стоило отцу заставить благочин-

ного пить пиво, которое он пил как будто с отвращением, но все-таки захмелел.

— А ты бы, батшко, тово... поспал бы маленько. Поди-ко, растрясло, — говорил отец.

— Пожалуй, не мешает. Позови дьячка.

Дьячок толковал о чем-то с мужиками, энергически растолковывая им что-то; те хохотали.

Лошадей и повозку втащили во двор. Дьячок втащил в горницу все вещи из повозки и положил на отцовскую кровать перину и подушки. Благочинный лег спать, приказав, чтобы его не тревожили, а отец, накормивши и напоивши дьячка, пошел с ним в церковь. Там Сергунька, читая какую-то молитву, чистил полой армяка оклады на иконах.

— Уж я читал-читал часы, а вас нет... — говорил недовольным голосом Сергунька.

Отец захохотал. Скоро они вышли из церкви, взяли у соседей пива и долго протолковали в избе Сергуньки. Приезжий дьячок уверял, что благочинный ужасно строгий человек и помаленьку не берет.

На другой день утром когда проснулся благочинный, то потребовал умываться. Отец подавал ему воды, за что получил благодарность. Умывшись и помолившись, он приказал поставить самовар; но так как у нас не было ни самовара, ни чайной посуды, то благочинный потребовал метрики.

— Батшко, я сбегаю к Ваське. Он — писарь и все метрики баско ведет.

Благочинный дожидался отца с час. Отец принес белевые книги, в которых ничего не было написано.

— Что это такое? — спросил удивленный благочинный.

— А што?

— Отчего тут не вписаны родившиеся, умершие и т. п.?

— А пошто их писать-то? Опосля впишу.

Благочинный раскричался, отец струсил и не знал, что говорить.

— Я об этом высокопреосвященному донесу!

— Батшко, не жалуйся! — сказал отец, кланяясь в ноги благочинному, который стал кричать громче прежнего и долго что-то говорил непонятное для нас.

— Я желаю видеть твою службу, — сказал вдруг благочинный и пошел вон из нашего дома на улицу.

Пошел отец в церковь с благочинным и дьячка Сергуньку взял. Облекся отец в холщовую ризу и начал обедню. Церковь была полна любопытными. С самого приступа благочинный заметил отцу, что он врет, и потом, вдруг приостановив службу, оделся в привезенные из города облачения и стал сам продолжать службу с своим дьячком. Отцу было стыдно; Сергунька сердился. Народ, видя, что служил не Никола Знаменский, вышел из церкви.

По окончании обедни благочинный сказал отцу: «Приказываю тебе непременно явиться ко мне вместе с дьячком в город», — и, не выходя из церкви, велел своему дьячку запрягать лошадей. Сколько отец ни уговаривал его отобедать у него, он пошел к старосте, который пригласил его. Отцу было обидно, что благочинный пошел обедать к его врагу и этот враг не пригласил отца.

Отец злился на дьячка, дьячок смеялся над отцом, и общим советом было решено накласть повозку благочинного глухарями, яйцами, рябчиками и маслом. Без сбора дело не обошлось.

Благочинного провожали отец с Сергунькой, мать, мы — два брата, староста и несколько обывателей. Когда благочинный сел в повозку, то сказал отцу:

— Непременно приказываю тебе ехать в город вслед

за мной и явиться ко мне с дьячком и детьми, которых я желаю отдать в училище.

Приезжий с ним дьячок был очень пьян и кое-как сел на козлы; но староста рассудил сам исполнить должность кучера, и благочинный уехал.

«Пошто меня зовет в город благочинный?» — думал отец, и это его весьма опечалило. Ему думалось: зачем приезжал этот новый благочинный в село? Посоветоваться было не с кем, потому что мать ворчала, Сергунька дразнил отца и больше растравлял его, а старосту он ненавидел. Отцу хотелось подарить благочинного, но чем?.. Нового сбора с крестьян он не хотел делать, идти в лес тоже не хотелось, потому что хотелось скорее съездить в город. И он поехал один. Через две недели он приехал назад.

— Благочинный топал-топал на меня ногами, просто беда! — рассказывал отец. — Я, бает, што тебе велел? Я, бает, тебе велел явиться с дьячком и сыновьями. Поезжай назад и привези их. А там увидим. Уж я ему кланялся-кланялся — сердится. Прогнал, што есть. А ничего не сказал, пошто мне с робятами приезжать.

Мать очень опечалилась: она любила меня, да она и боялась оставаться в доме одна. Решено было ехать в город и ей. Поехали.

Представились благочинному; он сказал отцу:

— Тебя и дьячка твоего преосвященный требует к себе в губернский город. Изволь ехать.

Это было сказано таким тоном, что отцу, дьячку и нам показалось, что благочинный на отца ужасно осердился. Он с нами даже и говорить не хотел и скоро ушел в комнаты.

Отец спрашивал своих городских знакомых, что́ бы означало это приказание, но они говорили одно: не знаем. Может статься, что он перевести вас с дьячком хо-

чет. А впрочем, не набухвостил ли (не пожаловался ли) благочинный.

Губернский город от Березова находится в четырехстах верстах; в нем ни отец, ни дьячок никогда не бывали и даже не знали туда дороги. Денег у отца было около рубля на ассигнации, а у дьячка никогда не водилось денег. Запечалился отец крепко, попросил денег у мужа тетки Матрены, тот за несколько пар глухарей и лукошко яиц дал десять рублей на ассигнации и, кроме того, взял с него расписку, что он деньги уплатит. Вся наша семья была печальная, как будто все находились в большом несчастии; но все-таки отец с дьячком казались веселыми и перекорялись друг с другом. Встретилось еще затруднение: когда благочинный был в селе, то велел отцу привезти к нему детей, а когда мы были у него, то он на нас не обратил даже внимания. Что делать с нами? Муж Матрены советовал пожить нам с матерью, до его возвращения, у него, дьякона, но благочинный вдруг потребовал отца и спросил:

— А ребят ты привез?

— Привез.

— Вези в губернский; там возьмут их в семинарию.

Отец хотел было возражать, но благочинный ушел.

Итак, мы поехали, а мать осталась у тетки Матрены.

О нашем путешествии говорить не стоит, потому что ни для кого нет интереса. Достаточно и того, что мы четыреста верст ехали две недели.

Всю дорогу отец был задумчив; дьячок, по мере приближения к городу, становился все веселее и старался рассмешить отца чем-нибудь.

— Поп, а поп?

Отец молчит.

— Вот оно што: в гости сам архирей зовет... Только я мекаю, не обман ли это?

— А што?

— Што? А то: может, нас стегать будут за то, што мы обедни не умеем служить. Чуешь?

— Будь ты проклятой! Чево ведь он и не скажет!..

Приехали к городской заставе. Я сидел на передке и спрашиваю:

— Тятька, куды ехать?

— Куды?! Валяй к архирею... — сказал отец.

Поехали прямо. Попалась навстречу женщина. Отец снял шапку, остановил лошадь и спросил ее:

— А куды-ка к архирею надо ехать?

— А тебе нашто? — спросила та улыбаясь.

— Звал.

— Да топерь позно...

— Вре?!

— А вы поезжайте прямо, потом направо, тут в улице желтую колокольню увидите, там спросите.

Поехали. Отец дивился, глядя на дома.

— Вот так город! А архирей, поди, в таких горницах живет, што...

— Нет, ты вот что скажи: што он ест?

— А он, поди, уж ест не нам чета. Поди, и жена у него инакая.

— Дурак ты, поп: сказывают, архиреи не женятся.

— Толкуй! Как, нето, без жены-то?

С такими разговорами подъехали мы к архиерейскому дому. Были уже вечерни.

— Ну, ты, слезай, — говорит отец дьячку.

— Нет, ты, ты старше меня.

— Слезай, баю!

— Не слезу! Умру, а первый не слезу.

Нечего делать, слез первый отец, за ним Сергунька, потом и мы; но нам отец велел сесть.

— Ты, поп, один поди туда... — говорит Сергунька.

— Нет, вместе.

— Ну уж, меня не затащишь.

— Сергунька! Али мы не вместе по медведей ходим, али мы не товарищи?..

— То иное, это иное, — боязно.

Подошел отец к воротам; ворота заперты. Недалеко от ворот стояли два семинариста и разговаривали друг с другом. Отец подошел к ним, снял шапку и поклонился.

— Поштенные, а откуда к архирею залезать?

Это удивило семинаристов, они захохотали.

— Да ты кто?

Отец сказал.

— Он еще не приехал: он в уезде. Впрочем, завтра ждут.

— Да как же он звал?

— Мало ли что звал! И месяц проживешь...

— Какой месяч?

Семинаристы захохотали, стали расспрашивать отца; выговор отца смешил их, отец не понимал их и, думая, что они издеваются над ним, плюнул, обругался и пошел к лошади.

Оставивши нас караулить лошадь и телегу, отец с дьячком пошли разыскивать ход к архиерею, но воротились назад через час с каким-то дьячком, который велел нам ехать за ним.

На квартире мы прожили с неделю. Дьячок и отец познакомились со многими семинаристами и дьячками, которых он угощал водкой и которые тоже угощали его. От них он узнал об разных порядках: узнал, что есть консистория, архиерейский письмоводитель, когда и как нужно являться к архиерею, к письмоводителю его и в консисторию и т. д. Узнал он также, что за разные справки нужно давать деньги.

Приехал владыка. На другой день отец и дьячок поплелись к нему с двумя дьяконами, а мы остались

дома, потому что отцу сказали, что он должен поместить нас в семинарию на казенный счет.

Воротились отец и дьячок печальные. Отцу приказано было в субботу прочитать в крестовой церкви шестопсалмие, а дьячку звонить на колокольне. Отец запечалился над тем, как он будет читать при владыке, а учить некогда, потому что завтра суббота; дьячок ругает отца:

— Это все от тебя, потому ты дурак... Какой ты теперь поп, когда тебя в церкви читать заставляют? Теперь ты дьячок, а не поп.

Хотя отцу и говорили, что читать шестопсалмие священникам не редкость, и даже в соборе один протопоп в большие праздники, по своему желанию, читает шестопсалмие, но отца трудно было уверить; он думал, что он теперь дьячок.

Пошли мы в крестовую и стали с дьячком около клироса, около которого псаломщик читал часы; отец стоял около псаломщика и дивился тому, что это он скоро читает, так, что ничего не разберешь. Певчие поддразнивали отца и подсмеивались над ним; отец стоял как на иголках.

— Ступай, — сказал отцу вдруг псаломщик.

— Куды? — спросил громко отец, не привыкший еще говорить шепотом; народ поглядел на отца.

— Ступай, ступай! Бери книгу, — говорил отцу дьячок.

Певчие хохотали, стоявший с ними на клиросе протодьякон шептал отцу сердито:

— Што ж ты стоишь? Иди скорее.

Отец пошел, но не в ту сторону; псаломщик остановил его против царских дверей и, указав на место в книге, ушел.

— Господи благослови... Благослови, владыко, — на-

чал громко отец, но, верно позабывшись, сказал громко: — Эка оказия!

Народ хихикнул, певчие зашишикали, из левых дверей вышел эконом...

Отец пошел вон из церкви.

Он говорил, что с тех пор, как он встал на середину церкви, ничего не помнил, что происходило вокруг него. Сергунька, сначала хохотавший, по уходе отца сказал нам:

— Подемте, ребята. Беда! Экой ведь он, вправо... Ну, нет, штобы меня попросить...

На другой день потребовали отца в консисторию и там объявили, что ему запрещено исполнять всякие службы, что он теперь даже не дьячок, а расстрига и отдан под суд. Сколько отец ни валялся в ногах — ничего не помогло. К владыке его не допускали.

После этого он прожил в городе еще две недели: в это время он хлопотал за нас, звонил на колокольне с Сергунькой, и когда нас приняли, он поехал домой с Сергунькой, которого тоже расстригли и отдали под суд, как и отца, за метрики.

После этого мне и брату Ивану не приходилось видеть отца и Сергуньку, потому что мы не имели возможности ездить в Знаменское село. Отец жил только год. Вот что рассказывала мне тетка Матрена.

— Николаха сказывал, что уж он теперь не поп, а хуже дьячка. Ну, говорил, ничего... Уж он, верно, много об этом передумал. Когда он приехал в село, крестьяне говорили, что они стосковались о нем. — Не поп уж я теперь, — говорил он им, — и не Никола Знаменский, а хрестьянин. — Но как ни уверял он обывателей, те не хотели верить... Покойников и родившихся прибыло много, а так как отец не хотел справлять требы и прочие службы, то крестьяне не отходили от его дома. Уж

неизвестно, как он отделывался от крестьян. Церковь была заперта месяца четыре, и когда приехал новый священник с дьячком, крестьяне объявили им, что у них есть поп Микола и дьячок Сергунька. Как ни бился священник, только ни один человек не шел к нему ни за чем. Священник стал жаловаться начальству, начальство посадило отца в острог, потому-де, что он бунтовщик. В остроге отец и умер, а Сергунька через год после того утонул в реке. Мать умерла у тетки Матрены.

И теперь наши знаменские крестьяне помнят отца:

— Не бывать уж такому доброму попу, какой был Никола Знаменский.

А так как крестьяне ничего не давали священникам, священники часто менялись, а начальство ничего не могло сделать с крестьянами, то приход перевели в другое село; церковь недолго стояла; она сгорела от молнии...

ПРИМЕЧАНИЯ

СТАВЛЕННИК

Впервые: Ставленник. — 1864. — № 3—5, с подзаголовком «рассказ». Перепечатано в прижизненном издании «Сочинения Ф. М. Решетникова». — СПб: Изд. К. Н. Плотникова. — 1869. — Т. 2, с подзаголовком «повесть».

Благочинный — священник, управляющий несколькими церквами города или небольшой округи.

Духовные академии — высшие духовные учебные заведения в России. *Академист* — слушатель академии.

Единоверческая церковь — церковь, где было разрешено старообрядцам служить по правилам, существовавшим до церковной реформы Никона, но подчиняющаяся церковному управлению православной церкви.

Епархия — единица церковно-административного областного деления России, совпадающая с губерниями и областями.

Иподьякон — помощник дьякона, прислуживающий архиерею во время службы.

Кавыкать — вероятно, взято от грамматического значка «кавычка». Оно произносится навеселе, как слово хитрое — эк, ты накавыкался, то есть напился. Оно больше произносится при слове «привыкать». Если кому в жизни не везет, то он говорит: э, уж, не впервые привыкать-кавыкать. Стерплю, мол, еще. (Пояснение автора.)

Камилавка — почетный головной убор, который носили священники, награжденные церковной властью; имела вид цилиндра, расширяющегося кверху, делалась из фиолетового или черного бархата.

Келейные, келейники — здесь: прислужники при игумене, архиерее, иеромонахе.

Клобук — головной убор православных монахов в виде высокой цилиндрической шапки с покрывалом.

Кондиции — место временного домашнего учителя, репетитора.

Консистория — учреждение при епархиальном архиерее с административными и судебными функциями.

Коровница — железный или оловянный горшок, в который доят молоко.

Мировой посредник — чиновник, назначенный правительством для контроля за выполнением условий реформы 1861 года в уезде.

Митра — позолоченный и украшенный головной убор епископов и заслуженных священников православной церкви, употребляемый во время богослужения.

Пономарь — низший церковный служитель в православной церкви; псаломщик.

Причетник — общее название младших служителей в церкви (дьячков, пономарей). *Причт* — духовенство и церковнослужители какой-либо церкви, одного прихода.

Протодьякон — дьякон высшего чина.

Протопоп, протоиерей — священники высшего чина.

Регент — здесь: дирижер церковного хора.

Риза — парчовое, тканое золотом или серебром служебное облачение священника. Холщовая риза — признак крайней бедности церкви.

Ряса, подрясник — выходное и повседневное одеяние священников и дьяконов.

Семинария — учебное заведение по подготовке священнослужителей, в ней учились прошедшие курс духовных училищ, которым предшествовала начальная школа. Семинария, как и духовное училище, имела четырехлетний курс обучения. Между собой семинаристы называли учеников по годам обучения: первый — уездники, второй — словесники, третий — философы и четвертый — богословы.

Скуфья, скуфейка — остроконечная черная или фиолетовая бархатная шапка, которую носили рядовые священнослужители.

Становой — становой пристав, полицейский чиновник, возглавляющий стан. В уезде обычно бывает два-три стана.

Стихарь — длинная с широкими рукавами, обычно парчовая одежда дьяконов и дьячков, надеваемая при богослужении.

Тик — плотная льняная или хлопчатобумажная ткань, обычно полосатая.

Фискал начальства — государственный чиновник, осуществляющий надзор.

КУМУШКА МИРОНИХА

Впервые: Искра. — 1865. — № 42. Перепечатано в прижизненном издании «Сочинения Ф. М. Решетникова». — СПб: Изд. К. Н. Плотникова. — 1869. — Т. 2, в составе цикла «Добрые люди». Печатается по тексту этого издания.

Варнак — каторжный.

Кренолинко — от *кринолин*, платье с широкой юбкой, на упругой подкладке из конского волоса или на обручах.

ТЕТУШКА ОПАРИНА

Впервые: Современное обозрение. — 1868. — № 3. Перепечатано в прижизненном издании «Сочинения Ф. М. Решетникова». — СПб: Изд. К. Н. Плотникова. — 1869. — Т. 2, в составе цикла «Добрые люди». Публикуется по тексту этого издания с исправлением явных опечаток.

Изгребной сарафан — из изгребной ткани, получаемой из толстых льняных ниток, которые скутся из «оческов» волокна.

Казенная бабка — акушерка, состоящая на государственной службе.

Соборовалась — совершала православный обряд, готовясь к смерти.

НИКОЛА ЗНАМЕНСКИЙ

Впервые: Отечественные записки. — 1867. — № 9. Перепечатано в прижизненном издании «Сочинения Ф. М. Решетникова». — СПб: Изд. К. Н. Плотникова. — 1869. — Т. 2, в составе цикла «Добрые люди». Печатается по тексту этого издания с некоторыми исправлениями по журнальной публикации.

Ахти вошь — так воспринял Никола возглас: аксиос (греч.) — достоин.

Ектения — совокупность религиозных текстов, читае-

мых во время богослужения дьяконом или священником от имени верующих.

Изгиляться — здесь: корчить, представлять кого-либо, изгибаться.

Ильин день — отмечался церковью 20 августа.

Кутейник — народное бранное или ироническое прозвище церковнослужителей или их детей.

Метрики — здесь: метрические книги, как называли церковные книги для записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших.

Молост, молостные дни — дни, когда правилами церкви разрешалось употреблять в пищу мясо и молоко.

Назвал его первенством — вместо первосвященство, как обращались к архиерею.

Петро-Павла скоро — праздник Петра и Павла, по православному календарю 29 июня.

Постриг — христианский обряд обрезания части волос на голове верующего, посвящаемого в священники или принимаемого в монахи.

Расстрига — бывший священнослужитель, лишенный сана священника или дьякона.

С полати на полати — испорченное выражение исполла эте деспота (греч.), то есть хвала тебе, господи. *Исполатчики* — певцы хора, поющие исполать.

Троица — один из так называемых двунадесятых церковных христианских праздников, отмечавшихся на сорок девятый день после Пасхи.

Часы читать — от *Часослов*, собрание молитв по дням церковной службы, читать текст Часослова.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИКАМЬЯ

Федор Михайлович
Решетников

СТАВЛЕННИК

Составитель *И. А. Дергачев*

Редактор *А. Зебзеева*
Художественный редактор *С. Можаева*
Технический редактор *В. Чувашов*
Корректор *Г. Борсук*

ИБ № 2141
Сдано в набор 23.01.91. Подписано в печать 05.08.91. Формат 70Х90 1/32. Бум. офсетная № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 12,87. Усл. кр.-отт: 13,2. Уч.-изд. л. 15,319. Тираж 10 000 экз. Заказ № 36. Цена 2 р. 50 к.
Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

Решетников Ф. М.

Р 47 Ставленник / Сост., вступ. статья, примечания И. А. Дергачева; Худож. Е. И. Нестеров. — Пермь: Кн. изд-во, 1991. — 349 с. — (Литературные памятники Прикамья).

ISBN 5-7625-0097-7

В книгу включены повесть «Ставленник» — о быте среднего духовного сословия России XIX века — и рассказы, рисующие оригинальные народные характеры.

Р $\frac{4702010101-55}{М152(03)-91}$ Без объявл. ББК 84 Р7—4